

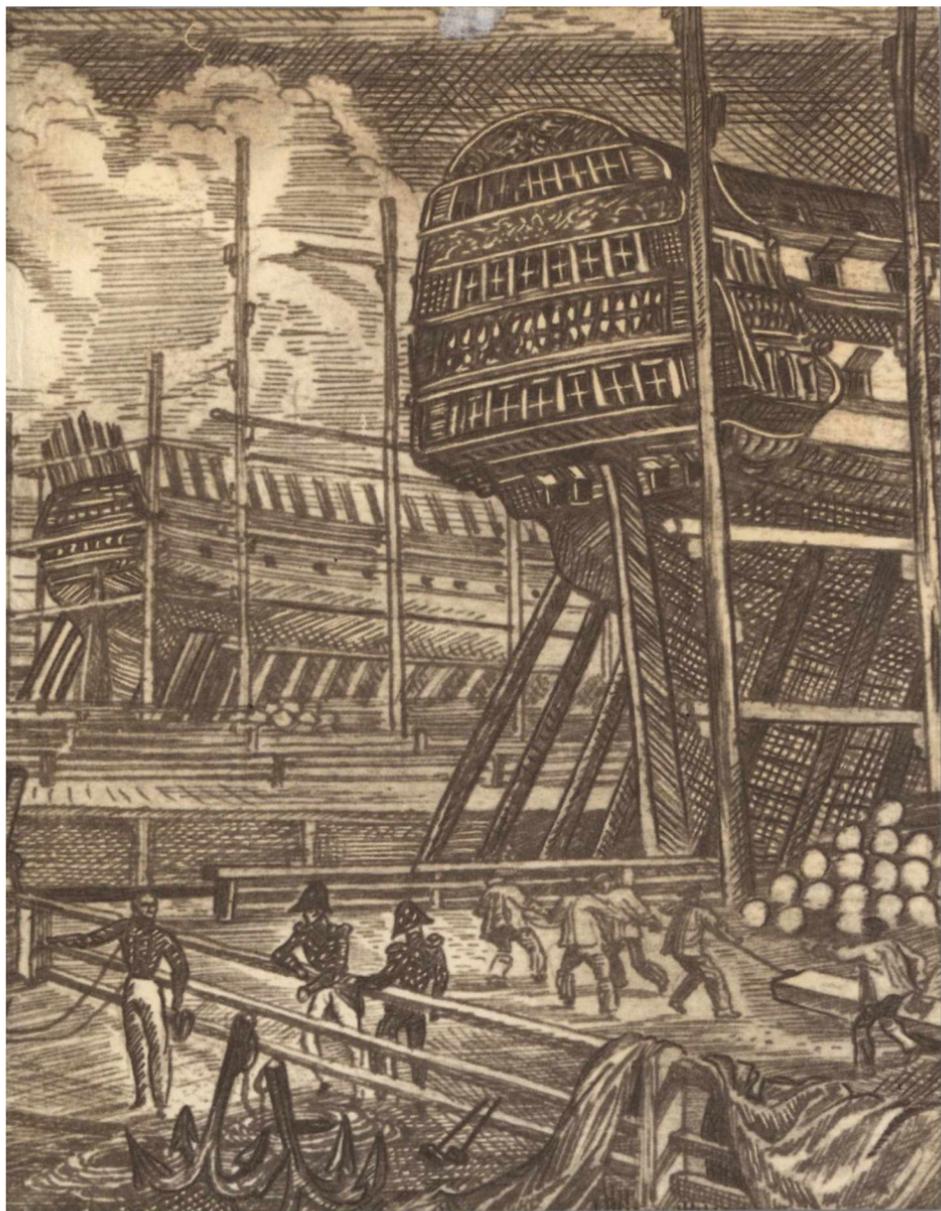
Д2
Кл4755

ОЛЕГ ГЛУШКИН

НА
БЛАГО
РОССИЙСКОГО
ФЛОТА











ОЛЕГ ГЛУШКИН

НА
БЛАГО
РОССИЙСКОГО
ФЛОТА



Повесть

Калининградское
книжное издательство
1984

P2
Г 55

Рецензенты: С. В. Мироненко, канд. исторических наук,
научн. сотрудник института истории СССР АН СССР;
А. А. Богданов, член Союза писателей СССР.

Художник Л. М. Непомнящий

Глушкин О. Б.
Г 55 На благо российского флота: Повесть. — Ка-
лининград: Кн. изд-во, 1984. — 302 с.

Главный герой повести О. Б. Глушкина «На благо российского флота» капитан-лейтенант К. П. Торсон — мореплаватель, участник декабрьского движения 1825 г. Автором убедительно показана борьба К. П. Торсона за осуществление прогрессивных предложений по совершенствованию флота, раскрыто участие морских офицеров в декабрьском восстании, ярко нарисованы образы целеустремленных пламенных людей, жаждавших свержения царизма и отдавших все свои силы на благо Отечества.

Г 4702010200—021 19—84
М144(03)—84

P2

© Калининградское книжное
издательство, 1984 г.

От автора

Декабристы — участники первого организованного революционного движения против царизма в России — вписали яркие страницы в историю. Подвиг их вызывает законную гордость и восхищение. «...Их дело не пропало, — отмечал В. И. Ленин, — ...лучшие люди из дворян помогли разбудить народ».

Немало декабристов выдвинул из своей среды флот. В числе 3000, стоявших у Сената в грозных рядах восставших, 1100 были моряки гвардейского экипажа. К декабристскому движению причастны 32 морских офицера. Среди них такие известные и деятельные участники, как Н. А. Бестужев, А. П. Арбузов, А. П. Беляев, П. П. Беляев, М. К. Кюхельбекер и главный герой этой книги — Константин Петрович Торсон.

Они были талантливейшими представителями своей эпохи и внесли достойный вклад как в само движение, так и в развитие науки и культуры, в географические исследования, им принадлежат многие нововведения на флоте.

Кораблестроительные проекты и предложения К. П. Торсона, хранящиеся ныне в Центральном государственном архиве Военно-Морского Флота, убедительно доказывают глубину и совершенство его технических идей. Нельзя не поклониться перед его на-

стойчивостью в достижении целей и всей его деятельностью. «Торсон был баярд идеальной честности и практической пользы: это был рыцарь без страха и упрека на его служебном и частном поприще жизни», — писал в своих воспоминаниях М. А. Бестужев, очень точно характеризуя старшего товарища и наставника. Столь же похвально отзывались о Торсоне и другие его современники.

К сожалению, архив К. П. Торсона потерян. Не сохранилось и его портретов. Осталось несколько его писем к братьям Бестужевым, его рассуждения о конституции, служебные записки.

Казалось, время стерло многие его следы.

Но с каждым годом растет число новых находок и исследований, открываются новые факты его жизни и деятельности.

Провалились попытки царских сатрапов вычеркнуть из истории имя моряка-декабриста.

Остров, названный его именем и переименованный после восстания в остров Высокий, вновь обретает свое истинное название на географических картах. Мыс в Антарктиде, открытый участниками советской экспедиции, назван мысом Торсона. В Бурятии, в Новоселенгинске, где находились на поселении Николай и Михаил Бестужевы и Константин Торсон, открыт музей декабристов.

Художественных произведений о моряках-декабристах создано немного, но в мемуарной литературе, исследованиях историков деятельность их нашла широкое отражение: труды И. В. Егорова и С. Я. Штрайха «Моряки-декабристы», В. М. Пасецкого «Географические исследования декабристов», И. С. Зильберштейна «Художник-декабрист Николай Бестужев». В серии «Литературные памятники» изданы «Воспоминания Бестужевых». Опубликованы следственные дела декабристов (дело К. П. Торсона — Восстание декабристов,

т. XIV). О деятельности К. П. Торсона упоминают в своих работах известные историки декабристского движения М. К. Азадовский, Н. М. Дружинин, М. В. Нечкина и другие. В Улан-Удэ увидела свет историческая монография А. Б. Шешина «Декабрист К. П. Торсон».

Все эти источники, архивные материалы, воспоминания и письма декабристов, собственные знания корабельного дела и морская практика позволили написать повесть, охватывающую жизнь К. П. Торсона в 1824 — 1826 годы.





Лейтенант флота Торсон был поражен непривычной тишиной на кронштадтских верфях. Не слышно бойкого перестука топоров и молотков, застыли помпы, перекачивающие воду из доковых каналов. Все замерло. И это в то время, когда следует спешить, чтобы успеть приготовить корабль к летней кампании, где на практических плаваниях и стрельбах доказать, какую пользу несет российскому флоту исполненное на нем переустройство.

С набережной Торсону хорошо был виден его корабль. «Эмгейтен» стоял в сухом доке и там не потерялся среди других кораблей — он выгодно отличался от них стройными классическими обводами и изящным вздернутым бушпритом. Даже в застывшем на клетях корабле угадывались стремительность и надежность. То, что многим сановникам казалось утопией, что существовало только на синих картонах в чертежах и прожектах, ожило в дереве и парусине. Уменьшенный, облегченный рангоут увеличил остойчивость, плавные обводы устранили резкую качку, 84 орудия разместились не только по бортам, но и в корме и в носу; обтянутый заранее такелаж прочно раскрепил мачты. Обшить днище медью — и можно вытягиваться на рейд.

Что-то, видимо, произошло вчера, пока он, Торсон, весь день в орудийных мастерских налаживал крепления для талей, с помощью которых полагал прицельно действовать артиллерией даже при свежем ветре. Тали получились отменно. Можно устанавливать.

Но с кем?

В поисках корабельных мастеров Торсон быстрыми шагами обошел стапеля. В крытых эллингах никого не было. На набережной тоже было пустынно. Торсон решил подняться на «Эмгейтен» и там все выяснить. Он направился к переходным мосткам и увидел, что со стороны доков к нему спешит Михаил Бестужев.

— Хорошо, что вы здесь, Константин Петрович, — кинулся к нему Бестужев, — знайте, новый камень бросают нам под ноги адмиралтейские крысы! Приказ начальника порта: снять мастеровых и матросов со всех кораблей! Что может быть пагубней!

— Чем вызвано сие распоряжение? — спросил Торсон.

— Какие-то сверхважные работы при штабе...

— Будьте здесь, Михаил, я все узнаю, и без меня, прошу, не принимайте никаких мер!

Бестужев был незаменим в деле переоборудования «Эмгейтена», но его всегда следовало сдерживать — он полон мальчишеской пылкости, и ему порой не достает выдержки и терпения.

По деревянным ступеням, мимо замшелых крепостных бастионов Торсон поднялся на взгорье и оттуда напрямик вышел к причалам Главной гавани. От быстрой ходьбы слегка заныла правая нога, сказывались пули в голени — след войны двенадцатого года.

Весенний ветер порывами дул с моря, распахивал шинель, трепал пышные бакенбарды. Торсон натянул фуражку на лоб. Решил, прежде чем идти в штаб, разузнать обстановку у кого-либо из офицеров.

В гавани и на набережной было суетно. К бортам кораблей подгоняли плотики, на берегу бродили матросы флотских экипажей с ведрами. Слышались звонкие команды офицеров.

Среди матросов ластовой * роты, сгружавших зеленые пласты дерна, Торсон заметил унтер-офицера с «Эмгейтена».

— Что случилось? Почему вы не на корабле? — спросил Торсон.

Унтер-офицер подошел к нему, отер пот со лба:

— Набережную приказано устилать, ваше благородие. С вечера приказ поступил! Для улаждения глаза...

— Надо было прежде всего доложить мне...

— Я искал вас. Но сказали, что здесь никто не волен. И соваться не след. Все бегают, словно ужаленные! А мы, ежели не выполним наряд, спиной ответим! Чего уж тут...

— Есть неотложные занятия на «Эмгейтене», надобно было сказать сие. Никто бы не посмел отвлекать вас от корабля без моего ведома, — объяснил Торсон.

Матросы прекратили работы, прислушиваясь к разговору.

— Соберите своих людей — и на корабль, — приказал Торсон унтер-офицеру и, резко повернувшись, зашел к высокому зданию Кронштадтского Адмиралтейства.

В Адмиралтействе никого из старших офицеров не было. Торсону сообщили на вахте, что все на плацу, во флотском экипаже.

— С утра у нас такая суета! — сообщил дежурный, розовощекий мичман. — Через неделю ожидается прибытие императора. Известие сие вчера только получено. Времени для подготовки в обрз! Сам вице-адмирал Моллер лично проверяет фронт!

* Пояснения слов, помеченных *, см. в примечаниях.

Надо срочно найти начальника порта и вернуть мастеровых, решил Торсон. Царский визит — событие, конечно, важное, но стоит ли вводить императора в заблуждение, услаждая его зрение свежей краской и зеленью травы, не лучше ли доложить об истинном положении, показать, до какого состояния доведен флот, коли нет ни одного корабля, годного к выходу, а чтобы снарядить очередной фрегат к плаванию — мачты с одного корабля переносят на другой. Узнав истину, император многое бы мог переменить!

...На плацу выстроились роты флотского экипажа в парадных мундирах, в киверах с высокими волосяными султанами, ранцы за плечами. Только по болотному цвету мундиров можно отличить матроса от пехотинца. И закреплены они не по кораблям, а по береговым экипажам. Для муштры весьма удобно, а вот на кораблях нет постоянной команды. Лишь на «Эмгейтене» Торсону удалось сохранить экипаж. Но какой ценой! Сколько пришлось писать записок и рапортов, сколько надо было затратить сил, чтобы доказать пользу сего.

Матросы под непрерывный бой барабанов и взвизгивания флейты печатали шаг. Начальник кронштадтского порта вице-адмирал Моллер, в парадном мундире, при лентах и орденах, следил за исполнением команд. Рядом с ним стоял командующий эскадрой седовласый адмирал Кроун, чуть поодаль — многочисленная свита штабных офицеров.

Моллер, недовольный выправкой моряков, обмахивал пухлое, вспотевшее лицо адмиральской треуголкой... Его бесило, что в Кронштадте не терпят экзерциций*, что командуют не по уставу, будто бы в наместку: «По-прошлогоднему заходи! Валяй, братцы, по-вчерашнему». Этот дух отрицания фрунта надо было срочно искоренять.

— Совсем распустились! Службу забывать! Где есть память, что строй — основа всего! Привыкли спать в каютах! — выговаривал он офицеру, командовавшему экзерцициями.

Незадачливого флотского офицера сменил штабс-капитан, сухой и подвижный, он прыгал вдоль рядов матросов и сипло выкрикивал команды.

— Вот, вот, поучите их! — одобрил Моллер.

— Смотри веселей! — выкрикнул штабс-капитан. — Больше игры в носках!

Начать разговор под его выкрики было невозможно, надо было ждать перерыва в этих бесконечных построениях.

Матросы старательно вытягивали носки, пятили грудь, напряженно дышали. Высокие, наглухо застегнутые воротники теснили шею, тугие ремни сдавливали грудь. Мичманы, стараясь показать усердие, суетились, команды подавали противоречивые. Один из матросов, не успевший вовремя выполнить поворот, растерялся и выронил ружье.

— Болван! — накинулся на него штабс-капитан. — Смирно! Как стоишь? Почему ворон ловишь? Да не горбись! Голову выше! Ягодицы сожми — ровнее будешь!

Моллер расстегнул мундир, насупился — он был явно не в духе.

— А, это есть вы, — заметил он Торсона.

Торсон почувствовал неприязнь в его взгляде.

— Не представляю, как вдолбить этим баранам суть! — продолжал Моллер, глядя в пространство над головой Торсона. — Узрит государь — будет нам попадать на орехи! А вы, лейтенант, тоже не тратьте время, пройдите на «Торнео» тем путем, каким будет двигаться императорская яхта, доложите, что обзревается на сей дистанции. Надо срочно красить борта кораблей, которые будут видны государю!

— Ваше превосходительство, не извольте беспокоиться, — вмешался один из штабных офицеров, — я уже распорядился. А склады, корабельные магазины, видные из гавани, обносят заборами. Полагаю, заборы покрасить в зеленый цвет, они при сем весьма выгодно сольются с деревьями летнего сада, и будет преотменный вид!

— Я попросил бы, ваше превосходительство, — обратился Торсон к Моллеру, — вернуть мастеровых на «Эмгейтен». Работы по переустройству корабля можно закончить к визиту императора. Думаю, это будет лестно воспринято и благословлено монаршей милостью...

— Это есть дело, — неожиданно согласился Моллер. — Забирайте мастеровых, «Эмгейтен» мы выведем в центр гавани! А вы, адмирал, — он повернул голову к Кроуну, — распорядитесь о спуске корабля из дока...

— Осмелюсь доложить, ваше превосходительство, — вмешался Торсон, — днище еще не обшито медью — до сих пор не доставлено медных листов. И поспешный спуск будет пагубен...

Моллер недовольно передернул плечами и отвернулся, давая понять, что возражения излишни...

Торсон подошел почти вплотную к вице-адмиралу: нельзя было упустить выгодный момент, следовало настоять на своем.

— Не советую вам ничего затевать, — сказал Кроун, пристально глядя на Торсона, как бы желая предупредить излишние вопросы, — в Кронштадте нет меди...

— Вы слышали, лейтенант, это действительно так, — моментально подхватил Моллер.

Следовало бы напомнить Моллеру, как всего несколько дней назад государственной медью обшивались иноземные купеческие шлюпы. Но Торсон сдержался: идти на столкновение с Моллером значило повредить делу.

— Хорошо, ваше превосходительство, — сказал Торсон, — но если я сам доставлю медные листы из Петербурга, вы дадите в мое распоряжение медников?

Моллер захохотал.

— Вы есть слишком притки, господин лейтенант, — сказал он, вытирая лоб платком. — Учтите, я официально вам рескрипт на сие не даю. Вернетесь ни с чем, сорвете вывод «Эмгейтена» — будете отвечать. И не надейтесь на начальника Морского штаба и его благорасположение к вам! И хотя вы есть его старший адъютант, в Кронштадте — я ваш командир!

В том, что начальник порта приведет свои угрозы в исполнение, можно не сомневаться. Он уже давно жаждал случая выставить Торсона в невыгодном свете перед своим всесильным братом — начальником Морского штаба контр-адмиралом Антоном Васильевичем Моллером, который теперь, в связи с затянувшейся болезнью Морского министра маркиза Траверсе, фактически стал полновластным хозяином адмиралтейских департаментов.

После полудня плотники и матросы были возвращены на «Эмгейтен». Задымились потухшие костры, закипела смола в чугунных котлах. Засверкали топоры и пилы. Повсюду раздавались громкие голоса. Матросы, освобожденные от ненавистного фрунта, бойко растягивали такелаж.

Торсон, сделав необходимые распоряжения Бестужеву, поспешил к причалу.

Паровое судно «Елизавета», курсировавшее два раза в сутки между островом и столицей, уже отчалило. Ветер был западный, попутный, и Торсон решил воспользоваться штабным галетом * «Торнео». Этот небольшой двухмачтовый корабль находился в его распоряжении. Начальник Морского штаба, назначив Торсона командиром «Эмгейтена», не освободил его от

обязанностей своего старшего адъютанта, и приходилось почти еженедельно бывать в Петербурге.

Команда «Торнео» привыкла к внезапным отплытиям, беспокойный адъютант не давал застаиваться на якорях. И хотя матросы быстро и ловко разбежались по реям и команды выполнялись точно и почти мгновенно, Торсону казалось, что слишком медленно разворачивают паруса, и он несколько раз вынимал большой брегет, прикидывая, хватит ли времени, чтобы добраться в столицу до закрытия корабельных магазинов и застать в Адмиралтействе кого-нибудь из исполнительных экспедиции.

Торсон был уверен в удачном исходе затеянного предприятия. Он не сомневался, что уже завтра доставит в Кронштадт медные листы и что предстоящий визит императора не только не сорвет работы, а напротив, ускорит их. Теперь и оба Моллера, и Кроун будут стремиться во всем помочь ему, ибо и для них лестно показать царю настоящий боевой корабль, а не какие-то полусгнившие фрегаты!

Прошло время, когда к предложениям его, Торсона, относились с недоверием. Даже самые завязые рутинеры поняли разумность его прожектов. И высокое общее собрание Адмиралтейства признало, что они заключают пользу и сберегают государственные интересы. Голоса разумных флотоводцев, таких, как генерал-интендант Василий Головин и вице-адмирал Гавриил Сарычев, возымели верх под сводами Адмиралтейства.

А сколько для этого пришлось писать, сколько весьма важных особ полагали, что не след идти на поводу у лейтенанта, не имеющего ни высоких родственных связей, ни поместий. Деятели из Адмиралтейства упорно подсовывали для переоборудования развалившиеся фрегаты, не хотели рисковать, желали провалить задуманное предприятие. Тогда он официально написал

начальнику Морского штаба Антону Васильевичу Моллеру: «Выполняя лестное для меня препоручение Ваше, я прибыл в Кронштадт и здесь узнал имена, назначенных в кампанию кораблей и фрегатов, но они уже были прошедшим летом в кампании, такелаж у них вытянулся, сделался тоньше почти на два дюйма...» Речь шла о кораблях готовившейся для похода в Балтийское море эскадры адмирала Кроуна. Старый адмирал требовал сохранить прежнее расположение парусов и артиллерии. Свои требования были и у других адмиралов. Приноравливаться к вкусам каждого из них значило погубить дело. Торсону не раз доводилось убеждаться: самое нелепое предприятие — множество начальствующих. Делает один, а с указаниями — сотни, и отвергнуть их приказы не так легко, ибо те, кто диктуют условия, носят адмиральские эполеты.

«Позвольте, — писал Торсон начальнику штаба, — провести работу под надзором только директора порта, чтобы избежать затруднений убеждать многих разного мнения, а потом, когда комиссия увидит в натуре все, легче будет доказывать удобность». «Вы слишком многого хотите, лейтенант, — сказал тогда начальник Морского штаба Моллер, вызвав его в Адмиралтейство, — но пусть будет по-вашему, пусть будет исключение, пусть имеет решать Ратманов».

Ратманов понимал, сколь искренне рвение Торсона, сколь необходимо осуществление предложенных нововведений. Но вскоре Ратманова перевели генерал-аудитором в департамент, и место его занял брат начальника Морского штаба — вице-адмирал Моллер, который понимал только то, что лично ему приносило выгоду.

«Юноша, лейтенант будет диктовать нам построение кораблей!» Он и знать не хотел того, что Торсон вложил в свои проекты весь опыт прошедшей жизни,

что ему, Торсону, уже тридцать лет и что опыт этот включает в себя и морские баталии, и длительные вояжи, среди которых более двух лет изысканий южного материка на шлюпе * «Восток» под командованием Беллинсгаузена.

Новоявленный начальник всех работ в Кронштадте с превеликим удовольствием прекратил бы переоборудование «Эмгейтена», если бы не решение Адмиралтейской коллегии. Он и сейчас хотел бы вывести корабль из дока, не обшив днища! «Сия работа наружного вида не украшает!»

Только бы успеть застать чиновников в Адмиралтействе! Как медленно идет галет, преодолевая течение Невы.

Но вот уже впереди по курсу величественный и строгий силуэт столицы. Дворцы на набережных, сады за узорчатыми литыми решетками, золотые купола церквей. Блестит мрамор, искрится гранит, сияют кресты и шпили.

За роскошными особняками, в просветах домов можно разглядеть и Галерную улицу. Там, при казармах восьмого флотского экипажа, в желтоватом доме под зеленой крышей, его, Торсона, квартира, там всегда ждут его мать и сестра. Сразу за Галерной начинаются верфи Главного Адмиралтейства. Они почти пусты, лишь один недостроенный корпус фрегата виднеется на стапелях. В Адмиралтействе, в центре столицы, все реже теперь закладывают корабли. Сенаторы и чиновники не выносят стука топоров и визга пил.

Пустынно и на якорной стоянке подле Адмиралтейства. Галет плавно развернулся, заскользил по инерции с зарифленными парусами.

— Ложись на якорь! — звучно повторил команду Торсона боцман.

...У входа в Адмиралтейство часовой, матрос гвардейского экипажа, лихо сделал на караул и вытянулся.

Торсон быстро поднялся по широкой мраморной лестнице.

В здании было пустынно. Двери помещений многочисленных экспедиций и коллегий закрыты. Торсон разыскал дежурного офицера, и тот объяснил, что начальника Морского штаба нет ни здесь, ни в здании министерства, а из начальников экспедиций у себя в кабинете, кажется, только Головнин.

Генерал-интендант Головнин — начальник исполнительной экспедиции, ведающий кораблестроением, — был именно тем человеком, кто мог быстро и без задержек все решить.

Овеянный легендами, совершивший кругосветные путешествия, чудом вырвавшийся из японского плена, он прошел хорошую морскую школу и теперь жаждал возродить величие флота.

Василий Михайлович Головнин сидел за массивным столом, часто обмакивая перо в фигурную литую чернильницу, и что-то торопливо писал. Седина заметно тронула его волосы, кустистые брови нахмурены, генеральский мундир распахнут. Головнин был недавно назначен начальником экспедиции, но его деятельность уже успели почувствовать в Адмиралтействе. Чиновники, снятые им после ревизии, проведенной в корабельных магазинах, искали заступничества у начальника Морского штаба, строчили жалобы на неугомонного генерала. Истинные мореплаватели возлагали на Головнина свои надежды. Даже скупой на эмоции Фаддей Беллинсгаузен заявил: «Сим флотоводцем будет наконец-то сокрушен застой в департаменте!»

Торсон слышал, что Головнин собирается объединить многочисленные экспедиции Адмиралтейства — а их здесь развелось великое множество: и исполнительская, и казначейская, и счетная, а сверх того еще и контрольная. Чем занимаются в этой контрольной экспедиции, Торсон никак не мог понять, но видел,

как курьеры регулярно относят туда бумаги и толстые пакеты. Если бы Головнину удалось сломать этот важный обряд — для дела весьма реальная польза!

Головнин встретил Торсона приветливо, встал, подвинул кресло, но видно было, что день у генерала выдался не из легких — весь он был напряжен, в глазах усталость.

— Смотрите, господин Торсон, что хотят сотворить с нами! — сказал Головнин и раскрыл позолоченную папку. — Вот просвещенное резюме так называемого председателя комитета по развитию флота — графа Воронцова. «По многим причинам, физическим и локальным, России нельзя быть в числе первенствующих морских держав, да в том ни потребности, ни пользы не предвидится...» И еще, вот здесь: «...Далекие экспедиции стоили государству много, делали несколько блеску и пользы никакой». Это о наших с вами voyages, в коих столько земель было открыто!

Головнин отодвинул папку в сторону и устало опустился в глубокое кресло.

— Да может ли столь великая держава, как наша, забыть про моря свои! — воскликнул Торсон. — Осмелюсь думать, что это намерение несет злой умысел, и государь...

— Государь соблаговолил одобрить сии выводы! — перебил его Головнин. — И как итог — опять урезаны финансы на постройку корветов и фрегатов.

— Следует убедить императора в обратном, к тому как раз будут обстоятельства, — заметил Торсон, — днями он посетит Кронштадт, увидит «Эмгейтен», увидит переоборудования на нем. Работы почти закончены. Дело за малым, и я пришел к вам, чтобы получить разрешение на вывоз медных листов для обшивки днища.

— А разве вы не получили сию медь? — удивленно спросил Головнин.

— Ни единого листа.

— Я советую вам вернуться в Кронштадт и заглянуть на иноземные купеческие шлюпы, не блестит ли на их бортах государственная медь? — резко бросил Головнин.

К чему ведет генерал, было не ясно. Наверняка знает что-то конкретно, но какое отношение все это имеет к «Эмгейтену», Торсон не понял. Он знал, догадывался, что в Кронштадте идет разорение казны, что не только медь, но и лучший корабельный лес, и парусина, и знаменитое соболевское железо идут на починку купеческих шлюпов. И делается это не без попустительства высокого начальства.

Головнин изучающим взглядом смотрел на лейтенанта: у него было двойственное отношение к Торсону. С одной стороны, он знал лестные отзывы капитанов, с которыми совершал походы молодой лейтенант, знал и поддерживал его проекты переоборудования флота, а с другой стороны, этот офицер, состоящий в адъютантах при начальнике Морского штаба и четко выполняющий поручения, казался уж слишком подобо-страстным и безоговорочно верящим своему начальнику. И может быть, во всем заодно с Моллерами, ибо стремится сделать быструю карьеру? Все говорили о кристальной честности адъютанта, а теперь выходило, что и здесь не совсем так: вчера Головнину стало известно из рапортов экспедиции, что медь для «Эмгейтена» получена неделю назад.

Головнин выдвинул ящик стола и выложил перед Торсоном бумаги. В документах Торсон увидел подпись, похожую на свой росчерк.

Торсон отпрянул от стола и почувствовал, как лицо наливается краской. Пойти на столь подлую подделку! Кто мог позволить себе эту низость?

— Это фальшивые бумаги! Сие произошло за моей спиной. Кто-то набивает кошелек за счет государственной казны, и я не помедлю подать рапорт началь-

нику Морского штаба Моллеру! Я этого не оставлю! — почти выкрикнул Торсон.

— Хотелось бы верить, — остановил его Головнин, — Я постоянно сталкиваюсь с подобными хищениями и не знаю уже, кому можно доверять и кого следует подозревать. Я подготовил не одну записку нашему министру, но все они — у него под сукном! Впечатление такое, что меня окружает свора вредителей, пообещавших Англии изничтожить российский флот! Боевые наши корабли доведены до ничтожного состояния! Пробудился бы Петр Великий, создатель нашего флота, предстали бы его взорам корабли, подобные распутным девкам — снаружи набеленные, нарумяненные, а внутри от греха и болезней зловонное дыхание, груды грязи, толстые слои плесени, провонявшие трюма! Можете передать своему министру мои слова, меня не страшит отставка!

— Я не собираюсь ничего передавать ему. Эти же мысли я высказывал ему. И начальник Морского штаба, ныне сменив Траверсе, все понимает, он жаждет очистить Адмиралтейство от людей, сдерживающих строительство флота.

— А каков результат? Что им сделано? — Головнин насупил брови.

— Он флотский человек, командир, прошедший баталии! Он понимает, что России нужен флот!

— Полагаетесь на своего министра? — прервал его Головнин. — В службе почитание старшего похвально, но нет худшего зла, чем слепое почитание. Посмотрите вокруг: боевые офицеры, герои славных баталлий смотрят новоявленному министру Моллеру в глаза, ловят любое его движение, готовы броситься исполнять любое приказание, даже несущее вред казне! Думаете, он доверил бы вам «Эмгейтен», если бы не общее собрание Адмиралтейской коллегии, поддерживающее ваши проекты? Судьба флота нынче никого не волнует! Вре-

мена Сенявина и Ушакова прошли. Пришли времена бумаг! Сегодня торжествует крапивное семя чиновников! Когда все в застое, есть деятельное бездействие, являемое в сочинении пустых отписок. Ведь ни на что нет утвержденных положений, на каждый корабль своя смета! Вот простор для расхищения казны! Разве посмели бы покуситься на ту же медь, коли все было бы заранее расписано! Если были бы созданы свои штаты на каждый тип кораблей!

Головнин говорил взволнованно, он высказал все накопившееся в душе. И каждое его слово Торсон воспринимал не только как упрек сановникам, противящимся постройке флота, но и как упрек ему, Торсону, человеку, близкому к министру.

Оправдываться? Говорить о том, что и он принимает столь же близко к сердцу, как и Головнин? Стоило ли? Генерал ведь знает устремления его, Торсона. Иначе и не раскрывался бы перед ним. Ведь он же одобрил поданные Торсоном «Замечания на штат вооружения кораблей и прочих военных судов флота и на построение оных». И когда в круглом сводчатом зале заседаний Адмиралтейской коллегии разбирались эти «Замечания» и была создана специальная комиссия для составления сметных исчислений на постройку кораблей, именно Головнин заявил Моллеру: «Состав комиссии весьма почтенный — адмиралы наши, противу коих возражений нет. Но кто из них исчислениями будет заниматься?» И тогда сошлись на том, что следует ввести в состав высокой комиссии его, Торсона. И уже начаты расчеты, дело затеяно обширное. Но прежде — «Эмгейтен», генерал должен понимать это. А здесь, когда, пользуясь царским визитом, можно с успехом все завершить, вдруг обнаруживается столь подлый подлог! Если бы ни это, Головнин дал бы команду — и завтра же можно было начать обшивку. А теперь необходимо ждать, искать начальника

Морского штаба, самого Моллера. Оправдываться, выяснять — кто свершил позорное казнокрадство.

Головнин и Торсон вместе покинули Адмиралтейство и отправились в карете на Галерную, где рядом с домом Торсона был и особняк генерала.

Белая ночь входила в свои права. В ее матовом призрачном свете казались странными и пустынными улицы, лишь стук колес по бульжникам нарушал тишину. И видя мрачное настроение Торсона, понимая, что молодой лейтенант нуждается в поддержке, уже в карете Головнин пообещал:

— Завтра я буду говорить с Моллером, поверьте, «Эмгейтен» и для меня многое значит! Очень многое!

Дверь Торсону открыла дворовая девушка, румяная и глазастая.

— Здравствуй, Лиза, — сказал он ей, — принимай позднего гостя...

— Ох, господи, барин приехали, и совсем мы заждались, — запричитала она, — Шарлотта Карловна уж так беспокоится. Намедни хотели с оказией пирог в Кронштадт отослать...

Захлопали двери в доме, выглянула из своей комнаты сестра, кинулась в объятия. Екатерина Петровна, высокая, статная, вся в мать. Распущенные каштановые волосы переливались в свете свечей, в глазах необычайная голубизна, красавица, какую вряд ли сыщешь во всем Петербурге. Появилась Шарлотта Карловна. После сильной простуды, которая промучила ее всю прошедшую зиму, она стала совсем плохо слышать, но верить в надвигающуюся глухоту не хотела, говорила громко, почти кричала.

— Господи, какое счастье, Константин! Надолго ли? Совсем забыл нас! — Шарлотта Карловна обняла и поцеловала его.

Сына она обожевляла, он был для нее всем — и опорой, и надеждой, и радостью.

— Пока не надолго, — сказал он, — но поверь, мама, скоро совсем переберусь, очень скоро...

В большом полукруглом зале гостиной они сели за стол. Лиза принесла самовар, поставила графин с наливкой, приготовленной самой хозяйкой по особым, только ей известным рецептам.

— Я очень волнуюсь за тебя, — сказала Шарлотта Карловна, подвигая сыну черничный пирог, — там, в Кронштадте, ты не устроен, наверное, забываешь себя за делами... Пора бы тебе с Мишелем подыскать более уютную квартиру, тот флигель, где вы обитаете, мне совсем не нравится. И к тому же твои бесконечные прожекты, ты совсем осунулся!

— Не волнуйся, мама, у меня сейчас все складывается, как нельзя лучше, и стол отменный — не уступит столичному, да и все переустройства я почти закончил, — успокоил он мать.

— Ах, брат, — сказала Катерина, — значит, и верно вы скоро возвратитесь совсем в Петербург, у нас наступит иная жизнь!

— Несомненно, — согласился он, — мы станем ходить на балы и в театры, не пропустим ни одного праздника!

— Днями будет большой праздник в Петербурге, — подхватила Екатерина Петровна, — ожидают великих князей, обещали выехать Бестужевы, нам тоже прислали приглашения!

— Как же, как же, — громко вторила ей Шарлотта Карловна, — теперь Константин — помощник министра. Ему так идет адъютантский мундир, золото играет на зелени, аксельбант серебрится, Владимир в петлице, махровые эполеты! Жаль отец не видит его таким!

Торсон было заикнулся Екатерине, что у них в Кронштадте тоже ждут больших торжеств, но сразу

осекся, еще не известно, как все сложится, пригласить ее он успеет, а сейчас во всей этой напряженной обстановке вряд ли сможет уделить ей достойное внимание...

Лиза затопила камин, весело трещали в огне березовые чурки, в доме стало еще уютней. И хотя было уже совсем поздно, ни мать, ни сестра не хотели прерывать беседу.

Екатерина Петровна хвастала своим рукоделием — разложила на софе голубые наволочки, отделанные бисером.

Константин расхваливал ее работу, сестра застенчиво улыбалась. «Вот кому-то достанется настоящая жена, — думал Торсон, — с которой можно и поговорить, и поделиться всем, и показаться на балу в любом обществе. Давно пора решать ей свою судьбу, двадцать пять лет — а она отвергает всех женихов. Влюблена в Николая Бестужева! Николай же видит одну Степовую... А как найти достойную партию для Екатерины? Солидного приданого нет, поместья нет. Все доходы — его двойное жалованье, положенное ему после вояжа к Южному полюсу».

Он давно привык к роли старшего. Детства у него почти не было. Отец, Петр Давыдович, — обрусевший швед, вошедший в фавор при Павле, подполковник в свите императора — после убийства Павла сразу сник и отошел от дел.

На его просьбу определить сына в Пажеский корпус пришел резкий отказ. Было решено искать места в Морском кадетском корпусе. Любовь к морю пришла потом, а тогда не было выбора. И отец раз десять заставлял переписывать прошение на имя нового императора о зачислении в корпус.

«Поместий и вотчин за отцом моим не состоит, и в службу я никуда не определен, а желание имею вступить в Морской кадетский корпус, — диктовал отец, —

от роду мне девять лет, грамоте читать и писать обучен...»

Потом, смутно помнится, искали ходатаев: павловские вельможи не были вхожи во дворец. Наконец нашли удобный случай. Константин предстал перед императором, который был не таким уж грозным, а, напротив, улыбался, потирал лысеющую голову и вообще был в отличном настроении. Судьба соискателя решилась. В Морской кадетский корпус девятилетнего Торсона приняли сверх комплекта на казенное содержание. То было начало царствования, и Александр I, с молчаливого согласия которого был убит его отец — деспотичный самодур и тиран Павел I, теперь обещал являть милости и творить благо для своих подданных.

...Как и всякий деятельный человек, Петр Давыдович, отстраненный от службы, протянул недолго. Средств к существованию почти не осталось. Собственный дом в Рождественской части Петербурга был продан. Надо было продержаться до того времени, когда юный кадет станет мичманом. И уже тогда, в те далекие годы Торсон ясно понимал — все зависит только от него. И там, где его служба — там и дом семьи. Сначала в Кронштадте, и вот сейчас здесь, на Галерной. Казенная, но уютная квартира. Только здесь можно отдохнуть душой, откинуть все, почувствовать, что есть на земле место, где царит забота о тебе.

...Свечи догорали. Сестра села за клавикорды — он обожал ее игру. Задремала под музыку Шарлотта Карловна, Лиза отвела полусонную хозяйку в спальню, убрала самовар.

Торсон слушал музыку, но сегодня мелодии не рождали в нем обычной гармонии и не вызывали ответных чувств — он никак не мог отбросить мучавшие его сомнения.

Екатерина закончила пьесу, села рядом с ним в глу-

бокое кресло, в мерцании свечей ее лицо напоминало лицо мадонны.

— Я чувствую, у тебя что-то не ладится, — сказала она.

— Не волнуйся, Катерина... У меня славные помощники, один Мишель Бестужев стоит многих. Да еще его тезка, лейтенант Сатин, помнишь, этакий увалень, с виду несколько флегматичный, неразворотливый, но исполняет все обстоятельно, надежно. Я их полюбил обоих, всю зиму мы не вылазили из холодных, продуваемых ветром эллингов Кронштадтского Адмиралтейства, работали даже по ночам. И вот теперь — пришла пора представить плоды наших трудов, днями все решится.

— А у меня сегодня особенно беспокойно на душе. Многим ведь не по нраву то, что ты слишком успел по службе. Полно завистников кругом. Вот раньше, когда вы служили в Кронштадте вместе с Николаем Бестужевым, я была спокойна, да и жили мы на острове, всегда рядом, а теперь и мы, и Николай здесь...

— Но это же хорошо, что он здесь, ты можешь его часто видеть, — сказал Торсон и заметил, как сестра покраснела и смутилась.

— Я тоже так думала, что Петербург изменит Николая. Но душа его все равно там, в Кронштадте, — Катерина опустила голову на руки, закрыла глаза, брат знал о ее чувствах, и она не хотела показывать ему, насколько ей тяжело сознавать, что ее любовь не находит ответа.

— Ты молода, красива, у тебя еще все будет, — сказал Торсон, успокаивая сестру.

Во всей этой истории Торсон остро переживал не только за сестру, он понимал и всю трагедию Степового. «Как ты можешь встречаться с ним, мирно беседовать, смотреть ему в глаза?» — спросил Торсон у друга. Николай отмалчивался.

Столько лет прошло, уже не молодые горячие головы — мичманы, теперь лейтенанты, но ничего не изменилось. И Катерина не может погасить свои чувства, и Николай с годами, кажется, еще сильнее влеком к Степовой...

Торсон бывал в доме Степовых, это было против его принципов, но бежать этих вечеров он не мог, — слишком мал Кронштадт. А здесь, у Степовых, собирались лучшие офицеры, здесь Николай читал первые главы своей истории русского флота. Говорил увлеченно, спорил — и равных в познаниях ему не было. И когда Николая перевели в Петербург, будто опустело все на острове...

Торсон подошел к сестре, нежно погладил ее руку. Она вздрогнула, — обычно брат был всегда сдержан.

— Послушай, Константин, — сказала она тихо, — все проходит, Николай мне, как брат, как и ты...

Торсон поцеловал сестру, проводил в спальню и прошел в свой кабинет.

Здесь, как во всей квартире, была идеальная чистота. На столе все в том же порядке, как он оставил в прежний приезд. Лежал томик «Опытов» Монтеня, рядом переплетенная докладная записка по созданию штатов на постройку кораблей. Справа стояла литая серебряная чернильница — подарок Николая Бестужева. В застекленных шкафах на полках книги. Среди них «Наука права природного» Стршемень-Стройновского и «Начертание статистики Российского государства» Арсеньева, приобретенные в книжной лавке Смирдина по совету того же Николая Бестужева.

Торсон прилег на софу. Было поздно, но спать не хотелось. Раскрыл томик Арсеньева, прочел несколько страниц.

Арсеньев, казалось бы, просто изложил статистику, но как кричащи обычные цифры, в них смятение, в них главный вопрос: доколе так будет продолжаться?

Да и возможно ли спокойно взирать окрест, зная, что в мире господствует несправедливость, что процветают казнокрады, народ под непосильным бременем, флот гниет, а лучший корабельный лес сбывают немцам, пеньку и холст — туда же, медь — наверняка тоже туда. Где они, эти медные листы, которые он, Торсон, якобы уже получил? Думали, что не обнаружится сие, решили, что для ускорения дел не станет требовать обшивки днища. Моллер, здесь в Петербурге, увидел подпись своего адъютанта, утвердил не читая, а кто-то отхватил изрядный куш. Не исключено — его братец... Недаром купцы выются подле него, как мухи над медом! И если завтра министр не поверит, откажет — что тогда? Работы на «Эмгейтене» приостановятся, царю не покажут переустройства — все может растянуться до конца лета, а время так дорого...

И ведь не первый случай, не раз исчезает то, что заготовлено для корабельных нужд! И отчетливо вспомнились намеки, неясные разговоры, обещания... Как бы им хотелось и его, Торсона, втянуть в свой круг. А если отказываешься от наживы, от денег, стянутых из казны, значит, белая ворона — не наш, не наш! Значит — или глуп, или, стремясь устроить собственную карьеру, можешь все предать гласности...

А только ли на флоте подобное! Если посмотреть вокруг, если сопоставить все...

Нужны твердые законы, коих лишена Россия. Что может один самодержец? Император Александр в начале своего царствования понимал — необходим парламент. Он обещал даровать стране конституцию! Освободить крестьян! Но почему все забыто? Где его негласный комитет, где сенаторы Сперанский, Кочубей, Новосильцев, Чарторыжский? Почему власть взял Аракчеев? Где народное право, о котором мечтали ратники? Освободители Европы, что увидели они, возвратясь из славных походов?

У Арсеньева в книге все изложено строго доказательно: не имея права народного, с сохранением крепостничества невозможно процветание государства. Вокруг дикое барство, невежество. Возможно ли при этом объединить людей, жаждущих процветания Отечества?

На кораблях служители, матросы — от них все зависит, а они, выдержавшие грозные баталии во славу Отечества, теперь куда низведены? Стонут под линьками, шпицрутенами, ненавидят службу — за жестокость ее, за срок столь длительный, что нельзя не ужаснуться — двадцать пять лет! А ведь успехи в баталиях они, простые матросы, принесли. Под Бородино и при Кульме прославили свои знамена моряки Гвардейского экипажа. Все были едины в порывах — и дворянин, и его крепостные! Все были равны в смертной доле!

...Положение было тогда тяжелым. В Петербурге росла паника, увозились ценности, архивы. Сановные вельможи спешили укрыться в отдаленных поместьях. Французский флот, оправившись после поражения при Трафальгаре, угрожал десантом северной столице. Русская армия отступала под натиском Бонапарта.

Срочно на Охте стали строить галеры, чтобы воспрепятствовать французскому десанту. Момент был критический. Наполеоновский маршал Макдональд готов был обрушиться на фланг армии графа Витгенштейна и прорваться к Петербургу. Прусский корпус генерала Йорка двигался на Ригу.

Но Россия доказала, что не утратила морского могущества, как не презрительно относились к делам флота при дворе, как ни губительно сказывалось безделье маркиза Траверсе. Французский флот был вынужден простоять в гаванях из-за угрозы совместного англо-русского удара. Русские фрегаты крейсировали вдоль побережья. В одном из таких крейсерских отря-

дов находился и он, мичман Торсон, на фрегате «Амфитрида» под командой капитана второго ранга Тулубева.

За плечами девятнадцатилетнего мичмана был уже достаточный опыт, приобретенный в морских баталиях. Еще будучи кадетом он участвовал в сражениях со шведским гребным флотом на Балтийском море у острова Пальво, был он и в прославленном бою на корабле «Богоявление господне», выдержавшем натиск целой шведской эскадры.

Его рассказы об участии в баталиях восхищали товарищей по корпусу. Они и не представляли, каким усилием воли надо было заставлять себя оставаться на палубе, и каким адом представлялось все вокруг, когда огненным смерчем вспыхивали корабли, и люди тонули в холодной балтийской воде, и крики их не были слышны из-за выстрелов корабельных батарей. И с каким грохотом взрывались кюйт-камеры, полные пороха!

Заветное и жестокое море, залитое огнем, становилось общей могилой. И не было защиты и укрытия тому, кто смалодушничал, струсил, кто дрогнул в надежде на спасение. В таком бою важно единство, команда корабля должна стать одним существом. Гибель корабля — и твоя гибель!

...Торсон прибыл на фрегат «Амфитрида» в только что пошитом мундире, полный рвения и желания тотчас же ринуться в баталию. Капитан второго ранга Тулубев с улыбкой смотрел, как молодой мичман носится по фрегату. Наверное, он, Торсон, был смешон, когда сам взбегал по вантам, сетуя на нерасторопность матросов, и сам отдавал паруса.

Летом, под Ригой, фрегат попал в шторм, сломало почти все стены, повредило грот-мачту. Ремонтировались на ходу, оставаться в порту значило бросить побережье без прикрытия.

К Либаве подошли рано утром. Ветер стих. Было солнечно, на небе ни единого облачка. После передряг пережитого шторма все воспринималось радостно, первозданно. И когда Тулубьев приказал спустить катер, чтобы доставить на берег почту и бумаги с распоряджением гарнизону, а заодно запастись водой — охотников пойти на берег было более чем достаточно.

Торсон напрашиваться не хотел, но старался быть ближе к Тулубьеву, чтобы тот заметил его, и Тулубьев, понимая рвение мичмана, повернулся в его сторону и приказал:

— Будете старшим, господин мичман!

— Анкерки для воды держите! — крикнул предусмотрительный боцман.

Дружно взмахнули десять пар весел, и катер заскользил, набирая ход. Плеск весел и голоса матросов, зеленый приближающийся берег... Ничто не предвещало опасности.

К причалу подошли ходко, разом затабанили веслами, рассчитали так четко, что без единого толчка притерлись к деревянным сваям. Торсон, приказав матросам оставаться в катере, легко выпрыгнул на берег. Надо было разведать обстановку.

Вокруг было пустынно. Только два солдата прохаживались вдаль — около низких каменных складов.

— Эй, служивые, — крикнул он, — где комендант?

И вовремя оглянулся. Стараясь отсечь его от берега, бежали солдаты в длинных шинелях. Человек сорок, если не больше. Светло-серые кивера. Пруссаки...

В несколько прыжков Торсон достиг берега. Страха за свою жизнь не было, главное, чего он боялся, — потерять катер с людьми.

Выросли белые шары на стволах ружей у бегущих солдат. Потом уже он услышал выстрелы. И шары лопнули, растеклись дымом.

Он прыгнул в катер и почувствовал, как резко

ожгло ногу. Стреляли теперь почти в упор. Дернулся и повис на борту весельчак и песенник марсовый Сапунов. Казалось, выхода нет. Перестреляют, как куропаток. Или, хуже того, возьмут в плен. Захватят секретные документы.

И тогда он крикнул матросам:

— Ложись под банки!

И сразу понял — на веслах не уйти, гребцов перебьют тотчас же. Он рванулся к середине катера, к единственной мачте. К счастью, парус лежал рядом, аккуратно скатанный. Матросы бросились помогать. Действовали слаженно и быстро.

Легкой птицей взметнулся парус, сразу набрал ветер. Торсон стоял на руле, все остальные лежали под банками и были скрыты бортами катера. Вдогонку палили, не переставая.

Фрегат, наполнив паруса ветром, лавировал навстречу. Капитан Тулубьев, приняв катер на борт, взял курс на Ригу, чтобы оповестить командование о прорыве неприятельских отрядов к Либаве.

Торсона он отругал за излишнюю бравладу. По мнению капитана, решение о постановке паруса было верным, но не стоило быть самому на руле.

А когда пришли в Ригу, Тулубьев подал рапорт Морскому министру, в котором отметил находчивость и храбрость молодого мичмана, спасшего катер, людей и секретные документы. Рапорт дошел до императора. Был издан царский рескрипт: мичман Торсон, во изъяснение внимания к его неустрашимости, пожалован в кавалеры Ордена Святой Анны на шпаге.

Это была его первая награда и первая награда во флоте за войну двенадцатого года.

Он никогда не считал, что совершил подвиг. Просто командир на то и поставлен, чтобы отвечать за подчиненных.

В баталиях с неприятелем цель всегда ясна, в самой

жестокой схватке знаешь, кто твой враг, и на него надо обрушить шквал ядер из всех батарей, чтобы смести паруса, воспламенить обшивку, взорвать кюйт-камеры. И если не свершишь этого ты, то это сделает враг. Здесь же, на берегу, в мирное время, трудно различить явного врага. Его нет, и он есть — в одно и то же время.

Кому выгодно, чтобы «Эмгейтен» остался без обшивки? Ясно, что императора окружают сановники, жаждущие не укрепления флота и пристаней, а легкой наживы и орденов! Как остановить их, как раскрыть на все глаза императору? Надо добиться завершения работ, показать государю «Эмгейтен», пусть увидит превосходство сего корабля. И тогда издаст рескрипт — высочайшее повеление о переустройстве флота. В этом начинании его, Торсона, всегда поддержат просвещенные адмиралы! Волокиту, казнокрадство, бумажные обряды можно сокрушить, коли соединить усилия таких людей, как Василий Головнин, Иван Крузенштерн, Михаил Лазарев, Фаддей Беллинсгаузен... Их много — людей, стремящихся отдать свои силы на благо России и флота!

...За окнами кабинета тишина, город спит, окутанный призрачным покрывалом белой ночи. Константин Петрович накинул шлафрок, сел в вольтеровское кресло.

Потрескивали дрова в камине, мягким колеблющимся светом заполняли комнату свечи в высоких медных канделябрах. Так редко ему, Торсону, удавалось остаться наедине с собой! И он мог бы, имел право отдохнуть здесь несколько дней, если бы не эта подделка на получение меди.

Здесь, в доме на Галерной, всегда стараются оберегать его покой, стараются уловить каждое его желание. Мать входит в кабинет всегда почти неслышно, чтобы не потревожить, не нарушить его занятия.

Вот и сейчас переступила осторожно порог, в руках бронзовый подсвечник.

— Ты не занят? — спросила она.

Константин Петрович встал, подвинул ей кресло.

— Я только на минутку. Давеча рано задремала, ты уж прости, а теперь вот полночь — а сна ни в одном глазу... Думала, ты уснул, хотела укрыть получше. Нынешний май холодный в Петербурге. Ветер с залива очень злой. Ладожский лед давно прошел, а все ветер, ветер...

— Что ты, мама, здесь у меня жарница.

Воск оплывал на витые чашечки подсвечника, отливал янтарем. Она сняла нагар со свечи.

— Жаль отец не видит, каким ты стал большим офицером... А как ты похож на него. Ему было столько же лет, как тебе, когда нас сосватали. Смотрю на тебя — вылитый отец. Такое же чистое лицо, такие же гладкие волосы, и глаза как у него — светлые, светлые... Это потом он сдал, после смерти Павла, а то орлом был...

Константин Петрович взял руку матери, прикоснулся губами, усадил Шарлотту Карловну в кресло, накрыл пледом.

— Я пришла, уж извини, очень беспокоюсь, потому что боюсь я за тебя, а чего не знаю. Потерять тебя боюсь... Я чувствую, у тебя неприятности, я по лицу твоему сразу догадалась. А как помочь — не ведаю...

Странно, но она говорила не громко, как обычно, а почти шепотом.

— Все хорошо, мама, не волнуйся, все отменно. Вот закончу дела в Кронштадте, купим дом, чтобы не при казармах жить, заведем усадьбу. Приданое соберем, выдадим Катерину замуж.

— Приданое есть, худо бедно, да есть, — вздохнула Шарлотта Карловна, — а то что своего поместив не имеем — не велика беда. Катерина у нас красавица!

Только вот с разбором. Капитан-командору Демичеву отказала — не люб. По-французски не умеет, манеры грубые. У нас раньше не спрашивали, сосватали — да и все. И тебе пора свою семью завести.

— Все будет, мама, все впереди. Закончу свои проекты, тогда...

— Ну ладно, спи, сын. И очень прошу, не перечь ты начальству, будь спокойнее, больше думай о себе. Плетью обуха не перешибешь. А пойдешь поперек — один ты у меня, не выдержу я.

Когда мать ушла, он задул свечи и долго еще лежал в темноте, мысли не давали уснуть. Тревожил завтрашний день, удастся ли попасть к Моллеру, отыщутся ли нити гнусной подделки?

Мать, наверное, права, надо воспринимать жизнь такой, какая она есть. Жить веселее. Ведь было время, сразу после возвращения из двухлетнего похода во льды, не бежал ни балов, ни званых вечеров. Был желанным гостем в доме доктора Артура Стэнгрэна. Там всегда было полно молодежи... В этот дом его ввел обаятельный рыжеусый поручик Гренадерского полка Александр Сутгоф. Хозяйка дома, тетка Сутгофа, была душой вечеров. Ее кузины — две очаровательные девицы. В одну из них — черноглазую Мари — он даже влюбился, и та ждала, видимо, решающего объяснения. Ведь не зря, когда затеяли игры в почту, она передала ему столь откровенную записку: «Когда я вижу вас, сердце мое трепещет, как парус под ветром». Записки разносила бойкая золотоволосая Карин — дочь хозяина дома, совсем еще юное создание; и когда он тихо спросил от кого, Карин покраснела; он показал в сторону Мари, Карин кивнула...

Нет, закончить с переустройством «Эмгейтена» и обязательно навестить Стэнгрэнов.

Раннее весеннее утро уже разбудило столицу. Свежий йодистый ветер бродил по проспектам. Неясным томлением и предвещием перемен проникал он в кровь. Торсон чувствовал уверенность в себе, вчерашние думы и сомнения не казались неразрешимыми. Его не пугали никакие препоны.

...Сочная зелень пробивалась вдоль тротуаров, между бульжниками. Даже на плацах, утопанных тысячами солдатских сапог, прорастали травинки. Ударил барабан и смолк. Звонко пропел рожок. Мастеровые тянулись от Галерной к Новому Адмиралтейству. Спешили на биржу плотники. Петербург начинал свой день. Лихо промчались дрожки по Петровской площади, равномерным стуком заполняя пространство.

Площадь называлась двояко — Петровская, потому что в центре ее скакал на литом вздыбленном коне основатель Северной Пальмиры, и Сенатская, потому что возвышалось на краю площади строгое желтое здание, где заседали сановные сенаторы.

Справа от площади зеленел бульвар. Молодые деревца быстро прижились на месте засыпанных рвов, окружавших еще недавно Адмиралтейство. Скрыты валы, перекрыты каналы. Здание Адмиралтейских коллегий перестроено, обновлено, но пусто на верфях. Несколько фрегатов заложены на острове Новая Голландия, один шлюп — на Охте, вот, пожалуй, и все. Но скоро, был уверен Торсон, все может перемениться.

В коридоре министерских апартаментов Торсон столкнулся со щеголеватым флигель-адъютантом, на ходу бросил: «извините» и быстро поднялся на второй этаж. Зеленоватые полированные поручни беломраморной лестницы, большие зеркала и золото подсвечников, красные дорожки, коридор с анфиладами арок — атмосфера торжественности, и в ней — чеканные шаги штабных офицеров, знающих о море лишь понаслышке.

Начальник Морского штаба Антон Васильевич Моллер, ныне почти министр, любил окружать себя роскошью и парадностью. Он, как и все при дворе, — ярый приверженец фрунта.

Ему уже успели доложить, что беспокойный адъютант прибыл. Антон Васильевич широко улыбнулся вошедшему Торсону, как долгожданному и дорогому гостю.

Вид у Моллера был величественный. Столь же тучный, как и его брат, он выглядел все же осанистее, сановнее. Адмирала ценили при дворе. Его поддерживал Аракчеев. Его обожали фрейлины, им нравилась ослепительная белозубая улыбка, их пленял блеск мундира и золота наград.

— Я хотел же доложить вам, ваше превосходительство, что работы на «Эмгейтене», которые мы решили закончить к визиту императора, могут сорваться — и причиною тому отсутствие меди, которую...

— Спокойнее, господин лейтенант, — остановил его Моллер, — не частить! Доложите по порядку.

Кабинет у Морского министра просторный и светлый. Утреннее солнце отражалось в зеркалах, играли блики на серебряных канделябрах и золоченых рамах портретов. Моллер плохо слушал своего адъютанта, но тон разговора не нравился ему. В голосе Торсона не было подобающей почтительности.

— Полагаю, что вас ввели в заблуждение, ваше превосходительство, пошли на подделку, чтобы преступно присвоить медь, назначенную для починки «Эмгейтена». Корабль еще в доке, нужно всего несколько дней, чтобы обшить днище медными листами, — продолжал Торсон.

Дверь кабинета открылась, и дежурный флаг-офицер, прервав их разговор, доложил:

— Поручик Бергсон из Главного штаба!

В кабинет, печатая шаг, вошел рослый офицер и

протянул Моллеру пакет от начальника Главного штаба Дибича.

Моллер разорвал пакет и углубился в чтение. Внезапно он нахмурился, резко встал из-за стола и подошел вплотную к поручику.

— Сообщите Дибичу, господин поручик, что мною взяты все меры! Крепость Рисбанк в Кронштадте обнесена каменными бастиями, плиты доставлены, и сведения, кои он получил о задержке, есть ошибка! — Слова эти были произнесены Моллером уверенным тоном.

Когда поручик вышел, Торсон заметил:

— Ваше превосходительство, работы в крепости еще не начинались — все заняты возведением заборов.

— Ужели? — Моллер поднял брови, изобразив явное недоумение. — Это есть пустяки! Главный штаб нельзя расстраивать. Передайте мое распоряжение Федору Васильевичу, он незамедлительно все установит, а заборы — они тоже не лишние — это есть порядок!

Торсон с недоумением посмотрел на Моллера, но сдержал себя и после некоторого молчания сказал, стараясь произносить слова спокойно и раздельно:

— Вчера я увидел документы, где подделана моя подпись. «Эмгейтен» остался без обшивки! Я вынужден подать рапорт,

Моллер расхохотался.

— Какой рапорт, господин лейтенант! Вы начинаете немножко забывать, кто вы! И к тому же вчера успели превратно настроить Головнина. А сему генералу только дай повод! Мичман Сухоцкий доставил медь. Он имел поручение от вас.

Буквально неделю назад он, Торсон, видел этого мичмана, нелестные отзывы о котором были известны всем экипажам. Еще в кадетском корпусе Сухоцкий был задержан в выпуске за подделку послужного листа, уже тогда известен был тем, что мог начертать бумагу любым почерком.

— Никаких поручений Сухоцкому я не давал, — сказал Торсон, — я прошу вас, ваше превосходительство, вмешаться...

— Вы есть старший адъютант. Учтите: хорош тот офицер, кто не беспокоит своего начальника по мелочам, — Моллер повысил голос. — Разберитесь, докладывайте! Сами возьмите меры! У вас «Эмгейтен», а у меня весь флот. Надо не измышлять подозрения, а готовиться к царскому смотру, он есть, как это... он есть на носу! Что мы имеем показать в Кронштадте? Никаких успехов во фрунте, офицеры манкируют своими обязанностями. Я не вижу и ваших действий в сем направлении.

Моллер побагровел, у него всегда был резок переход от благодушия ко гневу. Торсон замолчал. С мичманом можно разобраться самому, в Кронштадте выяснить все, навеки отвадить сего фигляра от стремлений подделывать подписи!

— Ваше превосходительство, — сказал Торсон, — я представлю Адмиралтейству доказательства для предания суду сего мошенника!

— Идите, Торсон, и извольте заниматься не только «Эмгейтеном»!

Торсон повернулся и вышел из кабинета. Начальник, имеющий неограниченную власть, всегда прав. Надо было сначала выяснить все подробности самому. Напрасно было раскрывать ему глаза на положение с укреплениями Рисбанка. Теперь это будет доведено до его брата. Напрасно было лезть с рапортом, говорить о подделке. Сухоцкий, очевидно, действовал с благоволения кронштадтского Моллера. Так недолго и потерять расположение! За себя не страшно — можно уйти в дальний вояж. Но переоборудование тогда будет отставлено, все пойдет, как и прежде! И разве Моллер худший вариант? А если бы продолжал управ-

лять маркиз Траверсе, тогда вообще и разговоров бы не могло быть о переоборудовании!

Пример быстрой карьеры — маркиз, как говорится, попал в случай. Французский эмигрант, бывший капитан королевского флота, бежавший в Россию от ужасов революции, здесь стал адмиралом, сумел добиться доверия даже у всесильного и подозрительного Аракчеева.

Вступив на пост Морского министра, Траверсе покорил императора показным рвением. В Главном Адмиралтействе тогда строились четыре корабля. По всем разумным срокам можно было закончить их постройку за три года. Маркиз заявил императору, что не пройдет восьми месяцев, как на кораблях заполощутся паруса. Он согнал всех мастеровых на один корабль, и через восемь месяцев его спустили на воду. Но на всех верфях, на всех кораблях в это время работы были прекращены. Гнили недостроенные корпуса остальных линейных кораблей. И все сходило с рук, ибо по части экзерциций делались большие успехи, повсеместно во флоте вводилась прусская плац-парадная система, служба стала не морской, а «штиблетной». Корабли прочно застряли на якорях и выходили только в Невскую губу — «маркизову лужу».

Торсон хотел верить, что Моллер, теперь замещающий Траверсе, человек дела. Но последний разговор с Моллером оставил в душе неприятный осадок. Однако начальник Морского штаба, тем более став почти министром, не может вникать во все. К тому же в Кронштадте полный хозяин — его брат. И надо поколебать слепое доверие к брату. Надо потребовать от Сухоцкого полного отчета, получить веские доказательства, а потом уже доложить все.

Торсон прошел на Адмиралтейскую верфь. В глубине за дубовыми воротами виднелась широкая, рас-

писанная узорами корма строящегося фрегата, слева рядами стояли магазины исполнительной экспедиции. Здесь при магазинах-складах сидели адмиралтейские интенданты, с золотыми перстнями на пухлых пальцах и выражением полного безразличия на лицах.

Старшим среди них был некто Дрогайцев. Небольшого роста, почти квадратный, он рассыпался в любезностях перед Торсоном.

— Я бы хотел выяснить, — прервал его Торсон, — когда и кем получены медные листы для поправки обшивки на «Эмгейтене»?

Дрогайцев достал грессбух, долго мусолил листы, наконец нашел нужную запись.

— Как же, — оживился он, — получены месяц назад, по вашей росписи. Переданы мичману Сухоцкому для отправки в Кронштадт...

— Вы поставлены сюда блюсти интересы Адмиралтейства, а не собственную выгоду. Меди нет на «Эмгейтене»!

— Ваше благородие, все было в согласии с документами, — Дрогайцев засуетился, подвинул Торсону дубовый стул, обмахнул сидение фартуком, — прошу присядьте, выслушайте меня. Сухоцкий — такой обходительный молодой человек. Я и оказию ему подыскал на доставку в Кронштадт, как сейчас помню...

— Я не намерен выслушивать никакие оправдания! — резко сказал Торсон. Он решил получить медь во что бы то ни стало, нельзя возвращаться в Кронштадт ни с чем. Там, если обнаружится пропажа, если раскроется Сухоцкий, можно будет сдать излишек медных листов на склады. — Я приказываю вам от имени начальника Морского штаба! Если вы хотите, я лично проверю, что есть в корабельных магазинах!

Дрогайцев клялся и божился, что ничего сделать не может, что отвечает за все головой, но в конце концов выписал отношение на Охту, прямо на верфь,

куда, по его заверению, завезли месяц назад медные листы.

У причалов Охтенской верфи снаряжались для перехода в Кронштадт фрегат и два баркаса. По распоряжению Торсона, матросы ластовой роты начали погрузку листов.

Фрегат и баркасы отправятся из Петербурга не раньше полудня следующего дня. Потерян еще один день. Можно вернуться в Кронштадт сегодня, на «Торнео», но без медных листов это не имеет смысла... И Торсон, наняв катер, переправился через Неву: решил заехать домой, потом зайти к Головнину, а вечером обязательно к Бестужевым, повидать Николая, поговорить с ним.

На Английской набережной его окликнули:

— Куда спешите, господин лейтенант?

Он остановился и через мгновение очутился в крепких объятиях Александра Бестужева. От Александра исходил аромат духов и трубочного табака. Карие глаза его сияли, он был искренне обрадован встречей.

— Быть в Петербурге и не зайти к нам! — воскликнул Александр. — Имя твое у брата не сходит с уст! Матушка замучила, все время ставит тебя в пример нам, беспутным!

— Сегодня я как раз собирался быть на Васильевском, в вашем гостеприимном доме, — оправдывался Торсон. — Вечером, непременно.

— Никаких вечером! Едем сейчас же! Как раз успеем к обеду!

— Но мне надо было бы еще заглянуть на Галерную...

— Домой ты всегда успеешь!

Александр не хотел слышать возражений. Он был похож на Мишеля: такие же подвижные глаза, такие же небольшие темные усы и манера разговора та же,

пылкая, восторженная, быстрые переходы от одной темы к другой. Торсон любил Александра Бестужева за открытый нрав, острые мысли и отточенные резкие каламбуры. Откуда-то появился извозчик, они вскочили в пролетку и помчались в сторону Васильевского острова.

На обоих были новенькие мундиры, высокие красные воротники, аксельбанты, широкие эполеты. У Александра светло-зеленый мундир с цветными выпушками и шинель были подогнаны безукоризненно. Шинель подбита шелковой тканью — левантином — дань последней моде, сабля с затейливым эфесом и роскошным темляком — вид впечатляющий.

Александр был адъютантом герцога Вюртембергского — брата императрицы Марии Федоровны. Но в душе Александр оставался истинным литератором. Сколько его помнил Торсон, Александр всегда находил время для написания своих сочинений. В любой даже очень шумной компании он умел уединиться и творить. И тогда окружающий мир переставал существовать для него. Вокруг могли пить, танцевать, музицировать, делать что угодно, он не обращал на это внимания.

Весь Петербург говорил о его блистательном таланте. На него возлагали большие надежды, и много лет спустя он оправдал их, став знаменитым сочинителем Бестужевым-Марлинским, повестями которого зачитывалась вся Россия. А пока он метался между служебным поприщем и литературой... Общее поветрие, царящая мода на эполеты привели его в армию. Но теперь офицерский мундир уже не казался ему столь желанным, как раньше.

— Знаешь, Константин, грех признаться, но служба мне опостылела! — сказал он с горечью. — Не представляю, как у вас в Адмиралтействе быть адъютантом, но у нас это все скучно и бездарно. Ежедневно одно и то же — докладывать о приходящих и отказывать до-

кучливым! При этом мило улыбаться выжившим из ума сановникам. Это не для меня!

— У нас напротив, — ответил Торсон, — пытаемся привести все в движение, правда, мало свершений, но дерзаем! Если не мы, то кто? Ты ведь знаешь, мои адъютантские обязанности несколько иные, я не сижу в приемной своего министра, он определил меня в Кронштадт на «Эмгейтен» и дает лишь изредка поручения. Корабль уже почти готов, все решится днями. Затем я представлю положения на постройку кораблей — штаты...

— Наслышан о твоих положениях, даже пытался осилить оные... Дерзай! А вот мне не повезло со службой!

Александр всегда был в поиске, он жаждал высоких дел и испытал не одно поприще. В свое время он бросил учебу в Горном корпусе, ибо душа его требовала раздолья, а не узких штолен. Александра манил пример братьев, манило бескрайнее море и походы...

Он уговорил брата Николая взять его к себе на фрегат. Николай рассказывал, что вначале Александр робел, потом испросил разрешения работать вместе с матросами и сразу преобразился. В матросской рубашке, в широких парусиновых брюках, он, как истовый формарсовый, бегал, не держась ни за что, по реям и прослыл среди матросов самым отчаянным смельчаком.

Торсон знал все эти трюки, проделывал их еще кадетом. Тоже хотел доказать всем, что ему ничего не страшно. Это было мальчишеское лихачество. А ведь Александр ушел в плавание не мальчишкой, это был уже светский человек, признанный в обществе. Но таков Александр!

После плавания он стал готовиться к экзамену в гардемарины. Его влекло само это слово. «Гардемарин — морская стража», — любил повторять он. Но его

желание разбилось о рифы интегральных формул, зубрить которые не хватило терпения.

Жаль, конечно! Из него мог бы получиться достойный мореплаватель. И тогда все братья Бестужевы были бы вместе, на одном поприще, вместе с ним, Торсоном.

— Тебя, Александр, уже не манят более морские просторы? — спросил Торсон, глядя на шхуны, скользящие по Неве.

Пролетка катилась по Исаакиевскому мосту, и отсюда хорошо были видны и порт, и здание таможни.

— Иногда хочется оставить сей берег! — ответил Александр. — Но нет, не для дальних странствий. Ты не представляешь даже, каким я стал анахоретом. Столько не познано! И столько времени отдано пустым забавам!

Торсон улыбнулся: ужели столь переменился Александр. Еще совсем недавно весь Петербург говорил о его дерзких дуэлях. Причиной первой дуэли были карикатуры, которые любил рисовать Александр на своих сослуживцев — не каждый воспринимал их с юмором; второй раз он стрелялся с ротмистром — кажется, вызов был сделан на балу, где этот ротмистр в кадрили сорвал кружево со шлейфа у дамы Бестужева. Потом была шумная история с фон-Дизеном, когда тот позорно отказался от дуэли...

Торсон не одобрял дуэлянтов. Среди флотских офицеров почти не бывало поединков. Да и зачем дуэль флотскому офицеру? Кто может усомниться в мужестве моряка — в морских испытаниях он не раз познает цену жизни и смерти, борясь со стихиями...

Пролетка развернулась на площади у Андреевской церкви и остановилась у дома Бестужевых. Торсон и Александр сошли на мостовую и, придерживая сабли, поднялись по крутой деревянной лестнице. Александр распахнул дверь, сбросил шинель и крикнул:

— Именем Милорадовича и принца Вюртембергского, кто есть живой в сем доме, и охлаждено ли шампанское?

Выглянула из комнат младшая сестра Ольга Александровна и рассмеялась звонко, из другой двери появился Николай с пухлой книгой в руках.

— Ну наконец-то! Константин! — воскликнул Николай. — Здесь все уже успели по тебе соскучиться, а я вдвойне! Я уж было в Кронштадт собрался...

— А как шампанское? — спросил Александр.

— Есть, все есть, — весело заговорила старшая сестра Елена, неслышно появившаяся в дверях, — мы за стол не садились, ждали вас, Александр, а вам, Константин Петрович, мама так обрадуется, все время она вас вспоминает!

Все пришло в движение, захлопали многочисленные двери, несли кресла. Вышла из своих комнат и Праксovia Михайловна — глава многочисленного семейства, статная, в черной вдовьей мантилье. Торсон поцеловал ей руку, она улыбнулась и сказала, что чувствовала, что он придет сегодня, что сердце ей это предсказало.

— Я не смел обмануть ваше сердце! — произнес Торсон.

Сели в гостиной. Не было младших братьев: Мишель в Кронштадте, Петр в морском вояже, Павел в артиллерийском юнкерском училище. Торсон сидел на своем обычном месте между Александром и Николаем. Он по-хорошему завидовал Николаю: прекрасно иметь единомышленников и друзей, родных по крови. Пятеро братьев, наделенные талантами, были едины в своих стремлениях послужить с честью на общественном поприще. И фамильный бестужевский герб — пятилистник на черном щите — приобретал символическое значение.

Внешне братья были не похожи: Александр, как и

Мишель, унаследовал материнские черты — смугловатость, выразительные глаза; Николай в отца — высокий лоб, орлиный нос, тонкие губы.

Напротив Торсона сидели рядышком сестры, не столь красивые, но милые и добродушные. Старшая Елена во всем верховодила, она уже закончила Смольный институт, Ольга и Мария ей подчинялись. Елена с детства больше тянулась к братьям, к их мальчишеским играм, с легкой руки Александра ее стали звать Лёшенькой, и это ее не смущало, а, напротив, даже льстило.

Подали на стол заливную рыбу, кулебяку, пирог с творогом, принесли запотевшие бутылки шампанского в серебряном ведерке со льдом. Открыли первую бутылку, пробка с треском выстрелила в потолок.

— Как хорошо, что наконец-то собрались почти все вместе, — сказала Прасковья Михайловна.

— Жаль, что не приехал Мишель, — посетовала Елена.

— Как-то он там в Кронштадте? — спросила Прасковья Михайловна. — Уж очень он горячий, такой же, как Саша, иногда может такое сотворить — диву даешься...

— За него не беспокойтесь, мама, — заметил Александр, — Мишель все время с Торсоном, а с ним разве что-нибудь «сотворишь», Торсон у нас — само целомудрие! Только, наверное, утомил Мишеля работой! День и ночь на верфях!

— И правильно делаете, Константин Петрович, — сказала Прасковья Михайловна, подкладывая Торсону большой слоистый кусок пирога. — Вы уж присмотрите за моими, не нарадуюсь я на них, но больно уж горячие, характером в отца пошли! Всюду жаждут излишнюю прыть проявить! Боюсь я за них...

— Напрасно, Прасковья Михайловна, они являют пример нам всем, — сказал Торсон.

Он чувствовал себя за столом уютно, все ему здесь было по душе.

С домом Бестужевых Торсон был связан еще с тех времен, когда подружился с Николаем в Морском кадетском корпусе. У Бестужевых всегда и все было просто, без излишних церемоний, все понимали друг друга с полуслова. Жили они, как и Торсоны, без солидного достатка, правда, было у них небольшое имение в Сольцах, среди песков и болот. Одно название. Дохода оно не приносило. И после смерти отца, Александра Федосеевича, опорой семьи стал Николай, его служебные заработки. Прасковья Михайловна была незнатного происхождения, из простых крестьянок, но живой ум и такт позволили ей без труда войти в петербургское общество и дать всем детям образование. Торсону вспомнилось, как в далеком детстве собирались они вокруг Александра Федосеевича, молодые кадеты, жаждущие подвигов, и как тот рассказывал им о морских баталиях. В одной из них, в сражении на Балтийском море, при острове Сескоро, Александр Федосеевич был ранен. Его посчитали мертвым. Но тело не выбросили за борт, а перенесли в трюм, чтобы на берегу похоронить по-христиански — матросы очень любили своего командира. После боя начали обмывать и заметили, что жизнь еще теплится в нем. А на берегу, куда его доставили на шлюпке, крестьянская девушка Прасковья выходила: поила бульоном через соломинку, настойками целебных трав. Шесть недель кряду не отходила от его постели. И когда он оправился от ран, то, презрев все условности, женился на ней...

— Что задумался? — спросил Николай, сидевший рядом со своим другом.

— Вспомнил Александра Федосеевича.

— Давайте поднимем бокалы в память об отце! — предложил Александр.

Прасковья Михайловна прослезилась и стала вытирать глаза кружевным платком.

Еще один тост подняли за хозяйку дома.

И Торсон сказал:

— Милая Прасковья Михайловна, мы все премного обязаны вам.

— Ты-то всегда об этом помнишь, спасибо, Константин Петрович, — поблагодарила она.

Потом разговор перешел на последние петербургские новости. Говорили о новом дворце князя Михаила, царского брата. Николай восхищался сметкой строителей.

— Такой народ, как наш, велик уже тем, что может воздвигнуть строения необычайные! А если бы вы посмотрели — в каких условиях эти мастера ютятся, чуть ли не в землянках, в тесноте, в болезнях, оторванные от своих родных мест. И все терпят, все сносят!

— Терпение не бесконечно, тому тьма примеров в истории! — вмешался Александр. — Возмущение зреет!

— Это неостановимо, — согласился Николай, — народы не хотят терпеть, по всей Европе прокатилась волна революций!

— Теперь и у нас уже ничто не страшит людей, стоящих за справедливость! — воскликнул Александр. — Читали сатиру «К временщику»? Каково? Это только для цензуры указано, что сия сатира перевод персией сатиры «К Рубелию». Все узнали во временщике фигуру деспота! В гневе Аракчеев призвал министра просвещения, и тот спросил: «Ваше сиятельство, какие именно выражения принимаете вы на свой счет?» И, представляешь, Аракчеев промолчал. Поздно сыпать громы и молнии. А сочинил сие отставной подпоручик Рылеев. Ты, верно, встречал его стихи в альманахах. Это блестяще! Он весь огонь! Сейчас он правитель канцелярии Российско-Американской компании. По-

эт — талантище, человек честнейший! Он стал мне самым близким другом...

— Но можно ли изменить существующее зло, пусть даже такими смелыми виршами! — сказал Торсон. — Надо каждому добиваться правды и пользы на своем поприще. Своими делами нести пользу отечеству — и тогда наступит общее благо!

— Блажен, кто верует... Но что мы можем сделать? Повсюду рабство и идолопоклонничество! — не успокаивался Александр. — Что мы успели? Какова твоя цель?

— Я понимаю и вижу ее, — ответил Торсон, — мое дело флот, а не витийство в застолье. И сочинительства смелые — что они дали? Да и пожелай я — это не моя стихия, каждая фраза дается с трудом...

— Ты не прав, — категорически возразил Александр, — я читал твои предложения касательно флота — это образец великолепной словесности. Я даже запомнил. Как это у тебя?.. «Корабль по величине корпуса и огромности вооружения своего изумляет взоры наши... сие огромное здание повинуетя руке слабого человека, по воле которого оттекает быстро шар земной, доставляет изобилие в страны отдаленные или несет в недрах своих войну, или борется с бурями и терпит ужасное истязание, дабы сохранить жизнь и покой своих повелителей...» Истинно римский стиль! Ты, как всегда, скромничаешь!

Торсон смущенно улыбнулся, действительно, зачем в служебном документе он столь изощрялся, суть ведь не в этом! Это все — слова, пышное облачение.

— Я не искал изысканности в слоге, — сказал он.

И подумал, что хотя Александр способен восторгаться по любому поводу, гнев и страсть его справедливы.

Принесли большой медный самовар, появились на столе фарфоровые чашки с затейливым рисунком.

Прасковья Михайловна вслушивалась в разговоры и неодобрительно покачивала головой. Сестры, обычно оживленные и любящие посмеяться, сидели с серьезными лицами и глаз не сводили с Александра, который сегодня говорил особенно проникновенно, желая высказать всю боль, что накопилась в нем.

— Солдаты загнаны муштрой! Военные поселения, созданные Аракчеевым, чудовищны! Мы живем в стране рабов, в стране, где дозволено продавать людей, разъединять семьи, содержать наложниц. Где можно до смерти забить батогами крепостного — и это не наказуемо!

— Государю, вероятно, многое неизвестно, — заметил Торсон.

— Или он не желает, чтобы ему было это известно, — возразил Александр. — Он давно отстранился от дел!

— Ты что-то слишком заговорился, Александр, — вмешалась Прасковья Михайловна, — сестрам к чему эти разговоры?

— Зачем вы, мама, так думаете о нас? — возразила Елена. — И у нас душа болит не меньше!

— Пусть слушают, — сказал Николай, — нельзя витать в облаках! Вы ведь, мама, тоже все это видите. Напротив нас — Андреевский рынок и биржа. Посмотрите, сколько там голодных и обездоленных!

— И «Петербургские ведомости» мы каждый день читаем, там пишут о людях, что отпускаются в услужение, а раньше так и в открытую писали — продаются! — поддержала его Ольга.

— Мы должны всегда бороться за справедливость! — заключил Николай.

— Ты прав, Николай, в этом наша цель. И мы докажем всем своими делами, своим ранием на пользу отечества истинность устремлений честных людей! Восстановить законность можно только своим посто-

янным трудом, своими дерзаниями. Как делаешь это ты, восстанавливая историю, — сказал Торсон.

— У нас не умеют ценить историю, — Николай говорил страстно, тонкие его губы вздрагивали. — Ты не представляешь, во что превращены архивы, я полгода уже расчищаю эти авгиевы конюшни!

Год назад Николай, по представлению знаменитого ученого и мореплавателя вице-адмирала Гавриила Сарычева, был назначен Адмиралтейским департаментом для написания истории российского флота. Первые главы его труда были бурно одобрены на заседании Вольного общества любителей российской словесности, куда входили самые талантливые литераторы. Николай владел пером не хуже любого писателя, его скупые и четкие фразы, лишённые украшательства, поражали точностью изображения. Тому свидетельством и блестящие «Записки о Голландии», и очерк о гибели военного брига «Фальк», в спасении матросов которого он участвовал. Такие столпы литературы, как Вяземский и Карамзин, считали, что в Николае сокрыт большой литературный дар. А история флота к тому же была очень близка его сердцу — сердцу морского офицера, жаждущего воспеть былое величие российского флота!

— Подумать даже страшно, как обращались с историческими реликвиями наши так называемые исследователи! — продолжал горячо Николай. — Особенно Верх! Он бесцеремонно вырезал нужные ему тексты, когда писал свой опус о мореплаваниях! Он вырывал из дел листы! И что ему до российской истории? Он так и остался в душе немецким бюргером. Таким колют глаза наши прошлые победы. Каждый успех Федора Ушакова и Дмитрия Сенявина стоит укором сегодняшним дням. Кто они, теперешние министры? Чем прославил себя Моллер? Взятием голландского флота у острова Текселя? Так разве это баталия? Ее просто

сейчас расписали льстецы, а в будущем никто и не вспомнит. А Гангут* и Чесма* останутся на века! И я хочу показать историю в ее движении! Показать свободные россияне! Их тягу к морскому простору — этому извечному символу воли!

Когда застолье закончилось, они продолжили разговор в кабинете у Николая.

Кабинет был музеем в миниатюре. В высоких застекленных шкафах на полках мерцали таинственным сиянием камни — редкие минералы, которые начал собирать еще Александр Федосеевич. Повсюду лежали перламутровые раковины и причудливые белоствольные кораллы... На стенах — портреты работы Николая Бестужева. Здесь же весьма искусно вырезанные по дереву и кости миниатюры. В углу стояли его аппараты для опытов с электричеством.

Николай растворил окно. Напротив высилась Андреевская церковь, где-то совсем недалеко невидимая Нева несла свои воды в Балтику. Стучал в колотушку будочник.

Они набили английским табаком чашечки длинных чубуков, дымили, пробовали обжигающий ром, привезенный из дальних стран.

— Ты высказывал за столом смелые и справедливые мысли, — сказал Николай, обращаясь к брату. — Но хочу предостеречь тебя — не все поймут твоё горение и твою жажду видеть отечество свободным и могущественным!

— Ты не прав! Сегодня меня поймут многие, — возразил Александр. — И я хочу повсеместно обличать дурное, чтобы те, кто вершит его, не могли притворяться, будто не ведают, что творят! Я хочу выйти с ними на поединок!

— У шефа тайной полиции Фока повсюду свои люди, — сказал Николай, — но они не примут твой вызов. И хотя душа не хочет мириться с подлостью

и невежеством, не всегда возможно открытие свободных мыслей.

— Извечно жизнь сталкивает с мерзавцами, молчать я не умею! Быть такими выдержанными, как вы, я не могу! И хотя я давече говорил Торсону, что не рвусь в вояжи, но как я завидую вам! У вас всегда есть выход — дальнейшее путешествие. — Он встал, обнял Николая и продолжал с пафосом: — Славные мореплаватели! Как это прельстительно — сбросить концы, и вот уже иные страны встречают вас, иные берега. Берега, где дышат свободой! Помнишь, Николай, наш поход во Францию? Фрегат с великолепным названием «Не тронь меня»!

Это было действительно славное время — капитуляция Парижа, победное завершение освободительной войны, Бестужевым тогда повезло — четверо братьев на одном корабле, даже четырнадцатилетний Петр был с ними. «Не тронь меня» входил в эскадру адмирала Кроуна, которая доставила в Россию часть русского корпуса, солдат — победителей Наполеона. Торсон тоже тогда участвовал в кампании. Он был на линейном корабле «Орел» и очень сожалел, что не сумел получить назначение на «Не тронь меня». В том походе они увидели Европу и воочию убедились, что повсюду народ восстает за свои права, что конституционное правление не есть нечто нереальное, его можно и должно добиваться... Кажется, совсем недавно это было...

Тысячи бивачных костров зажглись вдоль французского побережья, и корабли, мерно покачиваясь в гавани, ждали, когда ратники корпуса генерала Воронцова взойдут на их палубы, чтобы сим закончить освободительную войну и возвратиться в Отечество. Его, Торсона, тянуло к тем кострам. Он любил бродить вдоль берега, подсаживался к солдатам, греющимся у огня. Волны устремлялись к берегу, они разбивались

в прибое, в отблесках пламени костров верхушки волн розовели.

Насколько тогда все были свободны в своих речах, сколько надежд питали. Простые солдаты ощутили свою силу, в сердцах пробудилось чувство независимости. Только и думали о том, как вернуться в свое Отечество и обретут там права и заслуженные награды. А что получили? По возвращению в Россию корпус Воронцова был раскассирован. Муштра, военные поселения, шпицрутены... Дикая барщина. И не в одной России, во всех странах Европы народ был обманут. Это страх перед Бонапартом заставлял правителей обещать свободы.

Через час Александр распрощался, Он жил на квартире у князя Одоевского, корнета лейб-гвардии конного гвардейского полка, умнейшего человека и талантливого поэта.

— Рассказывай, как идут твои дела на «Эмгейтене»? — попросил Торсона Николай, когда они проводили Александра и остались вдвоем в кабинете.

— Все вроде бы складывается неплохо, — ответил Торсон.

— Я чувствую по твоему тону, что далеко не все.

— Новое всегда испытывает препятствия, это не для кого не секрет. Прикрываются моим именем, идут даже на подделки, чтобы меня ввергнуть в общий круг добычи барышей! Близок царский смотр! Я поспешил в Петербург и здесь узнал, что медь, назначенную для починки «Эмгейтена», получил некто Сухоцкий. И получил более месяца назад, ловко подделав мою подпись!

— Ты полагаешь, — остановил его Николай, — что Сухоцкий сам соорудил аферу? Мне известен этот ничтожный фигляр, к тому же и трусоватый. Здесь дело не обошлось без Моллеров!

— Нет, — возразил Торсон, — наш министр здесь вряд ли приложил руку, разве только его брат. Но если будут доказательства, думаю, министр возьмет нужные меры и против брата!

— Понимаешь, — Николай остановился и положил руку на плечо Торсона, — твой Моллер уже давно не тот, кем был в дни славных походов. Он достиг большого поста, стал почти министром, а значит, примкнул к сильным мира сего. Я тоже возлагал на него немалые надежды и писал ему рапорты. Я долго не понимал, что происходит. Управление страной сложно, но как можно управлять, ненавидя свой народ! И при этом повсеместная фрунтomanия. Флот в этой муштре — лишнее звено! Сам император заявил, что он разбирается в морском деле, как слепой в красках. Ты надеешься на царский смотр, а вспомни, что было при визите императора в прошлом году? Что он дал, тот визит?

Торсон молчал. Николай, как всегда, прав.

В тот визит он, Торсон, вместе с Николаем и Михаилом Бестужевыми находился на небольшой эскадре, выстроенной на якорях у Ораниенбаума в ожидании царской яхты. Приказано было держать корабли строго по линии. Будто это ряды вымуштрованных гвардейских полков. Однако ветер и течение не способствовали такому построению. Корабли не подчинялись фрунту. Их таскало с якорей, и целый день измученные капитаны были заняты выравниванием строя. Все перенервничали, но обошлось, ибо в тот самый момент, когда показался царский кортеж, ветер стих и корабли замерли на зеркальной воде залива. Государь лестно отозвался о радении Моллеров. Но когда дошло до осмотра кораблей на рейде, видимо, устав от церемоний, зевал и всякий раз переспрашивал, когда ему что-либо объясняли. Никто не решился говорить ему истину, все только поддакивали.

Возможно, это и утомило его. И развеялся он только на празднике в Петергофе.

— Но тогда царю нечего было представить, а теперь есть «Эмгейтен», есть проекты, несущие выгоду казне, и государь не может не понять этого! — продолжал Торсон, стараясь убедить не столько Николая Бестужева, сколько себя.

— Хотел бы я, чтобы твои надежды имели основу, мой милый друг, — возразил Бестужев, — но при дворе другие настроения. Давно попораны заветы Петра Великого, все его деяния. Помнишь его Устав... «Всякий potentant, который едино войско сухопутное имеет, одну руку имеет, а который и флот имеет, обе руки имеет». А теперь дожили до того, что готовы и вовсе флот изничтожить!

— Ты сгущаешь краски, ведь приняли мой проект, приняли и дали возможность переоборудовать корабль. «Эмгейтен» — это только начало! Посмотри! — Торсон достал из кармана чертеж. — Вот хотя бы это — мой новый план трюмов. Видишь, как теперь будет на деках, вот здесь крюйт-камера несколько сдвинута; зато я даю простор для матросов, их койки не будут стеснены!

Николай взял измеритель, быстро стал подсчитывать площади и в который раз подивился изобретательности своего друга. Ошибок в расчетах он не нашел, но придумал еще одну переборку, и Торсон обрадовался: освобождалось место для дополнительной батареи.

Николай смотрел на друга, увлеченного чертежами, и думал о том, что Торсон неисправимый оптимист. Он считает, что дельные предложения обязательно найдут поддержку, и быстро забывает, сколько препятствий и барьеров приходится преодолеть.

Год назад никто не хотел и слушать о новых способах вооружения кораблей! Возмущался цехмейстер

Смирницкий — что за ерунда облегчить пушки! Лить чугун с медью? Разве это возможно! Требовали новых расчетов и по расположению батарей, и по специальным таям, обеспечивающим стрельбу при волнении моря. А что касается кормовых и носовых орудий, тут и все высокие господа адмиралы были против. Испокон веков привыкли сходить в бою бортами — иного не мыслили. Он, Николай, выступил на заседании Адмиралтейской коллегии и говорил более часу кряду, убеждая в пользе переустройства. Его поддержали и Василий Головнин, и Петр Рикорд — деться Моллеру было некуда.

— Завтра в Кронштадте я предложу новую переборку капитану первого ранга Быченскому, он сейчас вместо Ратманова назначен производить надзор на верфях, — сказал Торсон, когда они закончили набросок расположения трюма.

— Передавай ему привет от меня и скажи, что на этом расположении я настаиваю, и еще об одном... Если увидишь Любовь Ивановну, скажи, я сейчас не могу приехать, но очень жду ее здесь...

Торсон свернул чертежи. Осторожно ступая, чтобы не потревожить сон домашних, они вышли в коридор. Николай решил проводить Торсона.

Таинственный свет белой ночи разливался над городом и каналами. Черная гладь Невы была пустынна, лишь два фрегата у Адмиралтейства покоились на якорях. Справа на набережной — здание Морского кадетского корпуса, там в его стенах более двух десятков лет назад началась их дружба. Тогда Торсон опекал Николая. Теперь роли переменялись. В корпусе Николай, хоть и был старше на два года, чувствовал себя беззащитным перед дерзостными выходками гардемарин. Хилый, худенький мальчик, с блеском постигавший науки, подвергался насмешкам и издевательствам.

Казалось, что могло соединить их? Но однажды, когда Торсон с компанией таких же, как и он, лихих кадетов устроил пальбу из самодельных пушек и дело дошло до директора — этот хилый мальчуган встал перед классом и заявил, что он то и есть зачинщик шумной баталии, что сам он соорудил пушки. Ему, конечно, никто не поверил, но он молчал под розгами, как стойкий испытанный «чугун». Так называли кадетов, не страшщихся порки.

И у Торсона, и у Бестужева не было могущественных покровителей. Надо было самим пробивать дорогу. Николай втянул Торсона в учебу. Уже через год сильнее его не было в математике. И единая мечта влекла обоих — море. Там, на фрегатах, в первых плаваниях Торсон получил право называться «зееманом». В сильное волнение он безбоязненно взбирался на клотик, вставал там во весь рост и бесстрашно смотрел вниз на вздымающееся волны море.

Сейчас годы учебы помнятся, как самое прекрасное время. Что может сравниться с тем ощущением счастья, которое испытываешь, когда впервые надел матросскую блузу и вместе с бывальыми морскими служителями крепишь паруса под свист ветра. Или стоишь в общем ряду на торжественных смотрах, молодой и полный надежд. Корпусный зал сияет тысячами свечей. Нет по величине большего зала без сводов и колонн во всем Петербурге. Трехмачтовый корабль в этом зале — почти в натуральную величину, мачты до потолка, синева парусов. Под звуки корабельных дудок они выстраивались у его борта — будущие офицеры флота, в форменных двубортных куртках с галунами на рукавах. Подтянутые, загорелые после учебных походов.

Среди преподавателей были такие кумиры, как Платон Яковлевич Гамалея. В год их выпуска старик начал сдавать, он очень страдал из-за болезни глаз,

почти не переносил яркого света, в классе обставлял себя ширмами. Николай помогал старику. Он был увлечен тогда физическими опытами и пытался разгадать устройство мира и природу электричества. «Теперь не страшно мне уходить, когда есть такие, как Бестужев!» — говорил Гамалея.

Всех их, как родных, любил учитель, но Николая выделял особенно и не ошибся в нем! Морской министр на экзаменах был поражен знаниями Бестужева и назначил его для отправки в Политехническую школу Парижа. Но в те годы Наполеон уже угрожал России, и поездка не осуществилась.

...Вот он застыл над Невой, Морской кадетский корпус. Окна темны, только освещено одно, в правом крыле, где, наверное, томится в полудреме дежурный офицер, а в спальнях комнатах, хотя и нет там огня, наверняка не спят кадеты. Ночь светлая, в такую ночь хорошо мечтать о предстоящих плаваниях. Какой-нибудь выдумщик и фантазер, захлебываясь от восторга, рассказывает про морские битвы, про силачей матросов, которые запросто могут поднять двадцатипудовую мортиру, про abordаж на галерах... Все у них впереди. Для них закладываются на верфях остовы новых фрегатов. Бесконечна цепочка людей, встающих под андреевский флаг, и никогда не ослабнет ветер, наполняющий паруса быстроходных шлюпов...

Николай тоже смотрел на здание корпуса, и для него оно, связанное с прошлым, с юностью, было в то же время надеждой на будущее.

— Что достанется им? — сказал Николай. — Каков будет флот российский? Это зависит от нас...

Они расстались на середине плашкоутного моста*. Ни карет, ни лодок для переправы уже не было. Северная столица дремала в заволакивающей рассветной дымке.

В который раз Торсон почувствовал, как трудно

ему в Кронштадте без Николая. Если бы он был рядом!
Как необходимы его поддержка, его советы!

...Когда они жили в Кронштадте, они были вместе все время и во всем. Вместе служили на брандвахте — проверяли корабли, заходящие в кроштадтские гавани. Тогда Николай мастерил свои хронометры, готовил географические карты, чертил, рисовал. С ним все искали знакомства, и мнение его было лестно услышать каждому. В ланкастерских школах Николай обучал матросов грамоте и ремеслам. Потом Николай основал офицерский театр. Он, Торсон, пытался отговорить его от этой затеи, но понял, что напрасно. Николай весь отдался сцене — в своем театре он был и директором, и постановщиком, и художником, и лучшим актером, и даже дирижером театрального оркестра. И никто тоньше и глубже его не проникал в музыку. Сбор от спектаклей шел в пользу неимущих матросов и их семей. Посмотреть на игру Николая приезжали актеры императорских театров. Посетил спектакль даже известный тенор Василий Михайлович Самойлов, которого поразило мастерство флотского офицера, его артистический дар, и он заявил, что многим петербургским актерам следует ездить в Кронштадт, чтобы учиться истинной игре у Бестужева. Эта любовь и пристрастие к театру передалась и Александру, и Мишелю, и младшему Бестужеву — Петру.

Прекрасная пора молодости, когда кажется, что все успеешь — и написать повести, и открыть новые земли, и создать новые приборы, и выстроить свои корабли. И театр вроде бы здесь не помеха! И живопись влечет! А если оглянуться, увидишь, что очень много времени потеряно даром и им уже за тридцать!

На следующий день, после полудня Торсон закончил все дела, связанные с погрузкой медных листов для «Эмгейтена». Два баркаса и фрегат в сопровож-

дении «Торнео» отчалили от Охты. Паруса сразу поймали ветер, и корабли ходко заскользили по темной поверхности реки, несущей свои воды к заливу. Небо заволокло низкими тучами, уплывали, таяли за кормой ряды строгих зданий и дворцов Петербурга.

Через несколько часов — Кронштадт. Все будет доставлено для «Эмгейтена». Медники быстро заменят обшивку. Корабль, выведенный из дока, предстанет на смотре во всей своей красе и мощи.

Затем нужны настоящие морские испытания, они должны убедить адмиралтейских сановников в том, что нет корабля более надежного и мощного. И он пригоден не только для огневых баталий, но и для дальних походов. Ибо в мирное время военные корабли устремляются в океан для открытия новых земель, для процветания торговли, умножающей блага государства. Флаг российский известен на всех широтах. Кругосветные плавания Крузенштерна и Лисянского, путешествия Головина и Рикорда, Коцебу и Беллинсгаузена принесли миру новые открытия неизведанных земель, добыли славу отечеству!

Флот будет расти, и никому не дано остановить его строительство. Может быть, пар и заменит паруса, но пока парусное вооружение — основа. И здесь нужна соразмерность. Ведь сколько трудностей выпало на долю моряков экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева именно из-за несообразности рангоута! На шлюпе «Восток» в погоне за большой парусностью были забыты и остойчивость и управляемость. А «Мирный», оснащенный малыми парусами, напротив, все время отставал, зарывался в волнах, и приходилось останавливаться, чтобы не потерять друг друга в безбрежных водах. В чужих портах переделывали то, что нагроздил на «Востоке» его строитель — корабельный мастер Стоке. Укоротили стеньги и при этом не потеряли скорости хода, к тому же избавились от резкой

бортовой качки, которая даже опытных мореходов повергала в тоску и уныние.

И такелаж следует обтягивать заранее. А когда он, Торсон, предложил это, в Адмиралтействе только усмехались в ответ. Ставили такелаж испокон веков, не обтягивая. А что получается: жесткими тросами и канатами укрепят мачты, а пройдет время, канаты вытянутся, обвиснут, — и мачты расшатаются в гнезде. Любой моряк это понимает и знает. Что же рождает неприятие? Привычка, косность или просто незаинтересованность? Какое дело адмиралтейским чиновникам до мытарств в дальних походах! Лишь бы здесь, на берегу, меньше забот...

Или взять корабельные обводы. В носу их делают острыми, зауженными, а в корме огромный развал, дабы устроить навес для удобства расположения офицерских апартаментов. И забывают, что и здесь нужна соразмерность, нужны равные обводы в оконечностях, чтобы корабль при качке плавно накренился, а не дергался, как ванька-встанька. Огромный транец к тому же не позволяет с пользой действовать артиллерией. И пушки привыкли располагать по старинке — с бортов; чтобы обрушить ядра на неприятельский корабль, приходится разворачиваться, ловить ветер — ведь надо сходиться только бортами. Теперь на «Эмгейтене» орудия будут и в носу — погонные, и в корме — ретирадные. Можно в погоне за врагом бить из носовых, а при отступлении отстреливаться из кормовых орудий. Именно такими ретирадными кормовыми пушками был спасен фрегат «Богоявление господне», на котором Торсон участвовал в бою с целой шведской эскадрой...

...Ему, Торсону, было тогда шестнадцать лет, за год до этого он уже испытал себя в сражении близ финского острова Пальво на гребном катере «Снапоп». Но первый по-настоящему морской бой пришлось выдер-

жать именно на фрегате «Богоявление господне». Это исполинский многопушечный корабль, и он, Торсон, уже старший в своей команде. Ему подчинены бывалые морские служители, по возрасту годившиеся в отцы. Он тверд и резок в командах, голос его, правда, еще по-юношески ломок, но командир фрегата, капитан-лейтенант Мендель, был уверен, что из юноши получится настоящий моряк, и доверял ему.

Лето в тот год было дождливое, крейсерство в Ботническом заливе проходило в сплошных туманах. Утром, перед боем тоже стоял плотный туман, лишь к полудню как бы приподняло ватную пелену над водой. И тогда марсовые увидели мачты на горизонте, и в белизне начали прорисовываться силуэты кораблей. Впереди вражеской эскадры двигался 48-пушечный фрегат.

На «Богоявлении господнем» рассыпали дробь бабрабаны — сыграли тревогу, матросы высыпали наверх и заняли свои места в деках, канониры тащили картузы с порохом, заряжающие приготовили фитили. Капитан приказал идти на сближение со шведским фрегатом. Но на выручку шведскому кораблю спешили еще два фрегата и четыре брига. Принимать бой — значило идти на верную гибель, слишком не равны силы. Надо ретироваться.

На море стоял сплошной штиль, и на «Богоявлении господнем», пользуясь тем, что на фрегате были предусмотрены весла, стали быстро отдаляться. Корабль заскользил к узкому проливу, чтобы укрыться в шхерах. Теперь шведские корабли уже не могли окружить его и ринулись в погоню кильватерной колонной. Шведский фрегат, обладавший большей парусностью, несмотря на безветрие, приближался.

И тогда капитан приказал перетаскивать корабельные орудия на корму. Действовать надо было быстро, все сразу поняли важность необычного решения ко-

мандира. Матросы вчетвером волокли по палубе такие мортиры, которые в обычное время не сдвинули бы с места всей командой. Казалось, все произошло в одно мгновение. Он, Торсон, в том бою все время находился рядом с капитаном, на шканцах. Мендель велел начинать огонь немедленно, не ожидая, пока подтащат еще несколько орудий. И вот по врагу, предвкушавшему легкую победу, грянули залпы из кормовых орудий. Ядра и кнйптели*, выпущенные почти в упор по преследователям, разнесли в клочья паруса на фок-мачте, желтовато-коричневый дым окутал корму. Радостные крики на преследуемом корабле, и вопли отчаяния на шведском фрегате. Так они и двигались по проливу среди шхер, с каждым залпом нанося новый урон противнику. А когда прошли пролив и развернулись бортами, на шведском корабле огонь пожирал паруса, дымилась палуба, раскачивались лопнувшие снасти, фок-мачта рухнула, и стало ясно, что дальнейшего боя шведы не выдержат. Капитан приказал развернуть корабль правым бортом. Орудия, возвращенные с кормы на свои штатные места, ударили смертоносными залпами.

Когда дым рассеялся, дружное «ура» грянуло на «Богоявлении господнем»: шведский фрегат, стремясь сбить бушующее пламя, заваленный на левый борт, развернулся и начал маневр для отхода, уступая поле боя противнику.

— Господь не оставил свой корабль, — сказал капитан, обращаясь к своему юному помощнику, — но, как говорят, на бога надейся, а сам не плошай!

— Это было преотменно, господин капитан-лейтенант! — воскликнул Торсон. — Но почему на всех кораблях заранее не устанавливают орудия не только с бортов, но и в носу?

Менделю некогда было рассуждать, он оставил вопрос Торсона без ответа, сунул ему в руки свою под-

зорную трубу, которую никому не доверял, ибо приобрел ее в Портсмуте, и выхватил саблю, чтобы возглавить матросов, готовящихся к абордажу.

Еще немного, и все бы решилось в жестокой схватке, но захватить шведский корабль не удалось. На помощь ему уже стягивалась вся неприятельская эскадра. Темнело, и обе стороны не решились продолжать бой. А на рассвете обнаружилось, что противник исчез, эскадра бежала от одного фрегата! Случай небывалый.

Пример неоспоримый тому, что для пользы дела надо иметь пушечные порты не только по бортам, но и в корме, и в носу! Однако до сих пор адмиралтейские сановники продолжают недоумевать: «Почему сие? Ведь у противника батареи только по бортам — значит и надо сходиться бортами!»

Торсону удалось настоять на своем: артиллерийские порты, а не облепленные украшениями широкие окна апартаментов теперь в кормовой надстройке «Эмгейтена»!

А сколько трудов стоило доказать, что необходимы железные кницы. Возмутились в контрольной экспедиции: «Испокон веков дерево с деревом скрепляли! Что может быть крепче дуба?» Но в английском флоте давно ставят железные кницы. Просто у чиновников Адмиралтейства нет желания что-либо решать. Это же излишние заботы! Орудия надо отливать, а тут забава какая-то — уголки из железа! Но теперь все докажет «Эмгейтен», воочию убедятся неверующие, и кницы, поймут, зачем нужны, и тали, приспособленные для прицельной стрельбы на волнении, и помещения внутри корабля просторные всех убедят...

В Кронштадт прибыли к вечеру. В закатных лучах солнца остров-крепость окрасилась малиновым цветом. Место в Срединной гавани у причала, ближайшего

к докам, не было подготовлено. Пришлось высаживаться на шлюпке, искать дежурного офицера и долго доказывать, что баркасы следует подвести к доковым каналам, ближе к «Эмгейтену», чтобы потом не тратить время на перегрузку.

Торсон собрал матросов, приспособили катки и ворот для облегчения выгрузки, и работа закипела.

На берегу у докового канала Торсон увидел Любовь Степовую. Взгляд Степовой был изучающий, черные глаза смотрели требовательно и в то же время вопрошающе. Он понимал, что она ждала Николая, надеялась, что тот придет вместе с ним. Невдалеке на набережной ее ожидал муж. В темном плаще и маленькой приплюснутой фуражке он казался совсем стариком.

— Николай просил передать, что будет рад встретить вас в Петербурге, — сказал Торсон.

— Мы собираемся туда с мужем на следующей неделе, в четверг, но лучше, если он до нашего приезда сумеет быть в Кронштадте, — сказала Степовая и улыбнулась.

Улыбка у нее была широкая, открытая.

— Я сообщу ему это, — сказал Торсон.

Он долго смотрел, как шла она к мужу медленной, плавной походкой. В чем-то они были схожи, Степовая и Катерина: наверное, глаза, большие, полные страдания — да, одинаковые глаза.

Вечером Торсон во флотском экипаже узнал, что Сухоцкий две недели тому назад ушел к берегам Калифорнии. Предположения о причастности Моллеров к исчезновению меди, высказанные Бестужевым, не стали казаться Торсону уж столь необоснованными после того, как медные листы, полученные Сухоцким, ни в одном из кронштадтских складов обнаружить не удалось. Хорошо, что он, Торсон, получил медь в Пе-

тербурге! И теперь без всяких задержек «Эмгейтен» спустили из дока. Корабль красовался в гавани своими плавными обводами. Все нагели и блоки были тщательно отдраены и играли бликами под лучами весеннего солнца. Ярко сияли дуги и катки орудий.

— Он, как жених, приготовленный к бракосочетанию, — сказал Михаил Бестужев, любивший витиеватые сравнения. — Любо смотреть на этого красавца русского флота, принаряженного без казенного классицизма. Просто, чисто и вполне отвечающе его боевому назначению!

— Подожди, — остановил его Торсон, — все познается в деле, вот поднимем паруса, вытянемся на рейд, покажем, на что годны, а пока не хвали, рано еще...

Все дни Торсон проводил на «Эмгейтене», его мысли и надежды связывались теперь с предстоящим смотром и пробным выходом на стрельбы.

Торсона не покидало прекрасное настроение, все удавалось ему в эти дни, и никакие препятствия, казалось, уже не могли остановить его действий. Начальник кронштадтского порта Федор Васильевич Моллер понял, что с Торсоном следует быть осторожнее, что могут всплыть некоторые неблагоприятные сделки, и поэтому молчал. Адмиралтейские чиновники, расхищавшие казну, тоже опасались Торсона, исполняли его заказы без промедлений и не требовали скрупулезных отчетов за каждую произведенную в дело доску. Работы на «Эмгейтене» шли отменно.

А в Кронштадте по-прежнему царил суета. Хотя визит государя и отложили еще на неделю, приготовления к высокому смотру шли непрерывно. Начальник порта ничего не хотел ни знать, ни слышать, кроме вахт-парадов. Батоги и плети сыпались на спины матросов, доставалось и мастерам.

Помощник Торсона, обычно невозмутимый Сатин, возвратился на «Эмгейтен» с плаца возбужденный,

скинул на ходу треуголку, расстегнул мундир и долго молча сидел на бухте тросов.

— Закончили экзерциции? — спросил Торсон.

— Я уже не мог дольше, — ответил Сатин.

— А где Бестужев?

— Спасает Салова. Но что там можно предпринять, не знаю. Схватили лучшего конопатчика, видимо, попался Салов на глаза в минуту гнева какому-то штабному выскочке. Не смолчал — и вот теперь грозят отходить плетьми!

Надо было срочно выручать мастерового! Торсон приказал приготовить шлюпку, распорядился, чтобы Сатин продолжал работы по вытяжке тросов, а сам отправился на берег.

Михаила Бестужева он встретил у казарм флотского экипажа. Мишель был разгорячен, говорил сбивчиво:

— Понимаете... Константин Петрович... Вы все можете, мы не должны, не имеем права оставлять это так... Салова накажут плетьми! Это позор, это бесчинство! Он достоин награды, как лучший и добросовестный работник. Я ходил и просил отменить сию позорную экзекуцию, никто не внимлет моим просьбам. Я был у корабельного мастера Амосова, тот возмущен. Он тоже пытался добиться отмены гнусного наказания. Но все бесполезно!

— Кто дежурит по штабу? Семчевский? — спросил Торсон.

— Если бы так, там какой-то лейтенант Лебедев, я его впервые увидел.

— Успокойтесь, Мишель. Все происходящее — результат нервозности и благих желаний подготовить достойную встречу государя. Если бы до него дошло, какими мерами сие устраивается, многим не поздоровилось бы!

Торсон нашел лейтенанта Лебедева сразу, они были знакомы еще по корпусу, ходили вместе на «Святой Анне». Лебедев был, как всегда, нетороплив, ленив в движениях, говорил, растягивая слова. Узнав о просьбе Торсона, он стал отнекиваться и объяснять, что у него нет прав отменять наказание.

— Приказ есть приказ, — сказал он. — Что станет солдатам или мастеровым! Спины у них дубленые, стоит ли хлопотать по сему поводу! А если отменить, то греха не оберешься, и вставят фитиль мне.

— Причем здесь вы? Приказ отменяю я — адъютант его превосходительства начальника Морского штаба! — повысил голос Торсон.

— Мастеровому нечего было задираться, он должен исполнять приказ беспрекословно. В последнее время здесь все распустились в Кронштадте, в Петербурге порядки постради! — возразил Лебедев.

— Плети и шпицрутены не наведут должных порядков, — перебил его Торсон. — Вспомните наши морские вояжи и баталии, мы ведь никогда с вами не пользовались линьками, а матросы выполняли наши команды мгновенно и беспрекословно! Я напишу вам письменное указание. Разве этого недостаточно?

— Ладно, пиши! Только уволь, прикрывать не стану! Дружба дружбой, а служба службой!

Вечером во флигеле Торсон долго не мог уснуть, в темноте говорил с Мишелем. Койки стояли рядом, почти вплотную. Мишель горячился:

— Кнут не для цивилизованного государства! Доколе сие терпеть! В армии — шпицрутены, крестьяне — под батогами!

— Все это вершится, потому что вокруг беззаконие, — сказал Торсон. — Изувер и садист просыпаются во власть имущем, коли все дозволено, сие развращает властелина. Дело чести дворянина заботиться о пользе

отечества, а велика ли польза в озлобленных людях.

Мы должны всеми мерами препятствовать сему.

— Так просто нам ничего не достигнуть, — возразил Мишель.

Он считал, что только уравнивание всех в правах достойно государства, что все зависит от армии, но вокруг полно негодяев.

Мишель привстал, облокотился о подушку.

— Я удивляюсь — сколько среди офицеров подлецов! В Петербурге, в офицерском обществе, один из командиров роты предложил другому командиру пари на пятьдесят рублей ассигнациями на то, что солдат его роты спокойно выдержит тысячу палок, выдержит — и не упадет! Привели солдата, и сей, с позволения сказать, офицер, самодур, недостойный офицерского звания, спросил: «За синенькую и штоф водки выдержишь тысячу палок?» «Рады стараться, ваше благородие», — ответил солдат. Когда потом у солдата спросили, как же он пошел на такое издевательство, тот ответил: мол, все равно дадут палок, да к тому же даром, а тут жене денег пошлю, они без меня там совсем в разор пошли! Да и мыслима ли эта служба — двадцать пять лет! А что сделалось в Семеновском полку, знаете?

— Я был тогда в вояже, — после длительного молчания ответил Торсон. — Полагаю, что все это от дикости, от отсутствия просвещения и образования. Век изменяет нравы, дольше так продолжаться не может... Спи, Мишель, завтра у нас слишком много забот...

Торсон замолчал, прикрыл глаза. Мишель во многом прав...

...В Семеновском полку именно несправедливость и жестокость породили возмущение.

Квартира Торсона на Галерной была рядом с домом, принадлежащим Жеребцовым. Ольга Александровна Жеребцова принимала у себя весь светский

Петербург. У нее в доме снимал квартиру бывший командир Семеновского полка Яков Алексеевич Потемкин, опытный офицер и добрейший человек. Торсон как-то сразу проникся к нему доверием. Когда Яков Алексеевич был командиром Семеновского полка, полк этот считался лучшим в гвардии и был самым любимым полком государя. Офицеры полка Сергей Трубецкой, Сергей и Матвей Муравьевы-Апостолы, Федор Вадковский, Иван Якушкин, Михаил Бестужев-Рюмин были дружны и службу поставили образцово. Они создали артели, где собирались за чаем, спорили, пытались постичь философию и законы мира, они организовали школы для солдат — ланкастерские школы взаимного обучения.

Но при дворе и в Генеральном штабе показались слишком либеральными отношения офицеров и солдат, да и сами офицерские собрания в полку наводили на иные размышления, офицеры не пьянствовали, а рассуждали. Солдаты без шпицрутенов образцово несли службу. Аракчеев был взбешен, он считал, что Семеновский полк подает дурной пример другим гвардейским полкам. Знаток фрунта царский брат Михаил Павлович, бригадный генерал, не взлюбил Потемкина, в Главном штабе считали, что пора «выбить дурь» у семеновцев.

Потемкина сменили, назначили командовать полковника Шварца — и все перевернулось: муштра стала основой, причем не просто муштра, а злостное издевательство над нижними чинами. Шварц приказывал солдатам снимать сапоги и босиком проходить церемониальным маршем по скошенной засохшей стерне. На учениях он ставил одну шеренгу против другой и заставлял солдат плевать в лицо друг другу. Мало этого, провинившихся вечером приводил к себе и здесь, на своей квартире, связывал солдатам ноги в лубки, колот вилкой, с силой дергал за усы, осыпал офицеров

обидными словами, а рядовых — тумачами, палочными ударами.

Многих засекали насмерть. И вот лопнуло терпение, в результате бунт, неповиновение — явление пагубное для армии. Лучшая первая рота полка — ветераны, увешанные крестами — подали протест. Они отказались служить под командой Шварца. Роту арестовали и отправили в крепость. На следующее утро взволновался весь полк. Шварц, опасаясь за свою жизнь, скрылся. Командование гвардейского корпуса было в растерянности. Вооруженного сопротивления семеновцы не оказывали, но, узнав, что первая рота заключена в крепость, остальные роты двинулись туда.

Расправа была жестокой. Полк раскассировали, отправили солдат и офицеров в провинцию, в пехоту.

Потемкин не мог спокойно вспоминать об этом.

— Загубить полк! Перевернуть с ног на голову! — с горечью говорил он Горсону.

В день царского визита в Кронштадт стояла прекрасная солнечная погода. Застыли на пирсе офицеры флотских экипажей, блестя регалиями и золотым шитьем форменных сюртуков. Прибыли из столицы моряки гвардейского экипажа, они заметно отличались выправкой, ростом и лихими выющимися баками. С гвардейским экипажем сошел на берег и начальник Морского штаба Моллер. Он резко отчитал брата за непорядки, но остался доволен цветом заборов, заслонивших разваливающиеся корпуса мастерских, и свежескрашенными бортами судов.

Моллер, начальник Кронштадтского порта, молчал, он со всем соглашался и постоянно кивал так, что вздрагивали завитки волос, спускавшиеся до бровей.

Дежурные офицеры смотрели в подозрительные трубы в сторону Петербурга, каждому было лестно первому заметить паруса царского кортежа. Залив был почти

штилевым, лишь легкая рябь, как дрожь, изредка пробегала вдали.

Ровно в полдень на горизонте показались паруса придворной эскадры, в свете солнца они отливали янтарем. Кorteж медленно приближался. Яркой белизной выделялся «Золотой фрегат», на котором находился Александр со свитой. Позади царского корабля следовали три брига.

Залпы салютов сотрясли воздух, белые дымки окутали бойницы кронштадтских бастионов, с фрегата ответили отрывистыми звонкими выстрелами. Ряды гвардейцев разом вздрогнули на пирсе и выдохнули троекратное «ура».

Торсон стоял рядом с начальником Морского штаба Моллером среди штабных офицеров. Общее напряжение передалось и ему. Он понимал, что от этого визита зависит многое: император должен проникнуться заботами флота, должен осознать, что страна без кораблей лишается прежнего могущества, что флот требует средств на постройку новых мощных кораблей, подобных «Эмгейтену». Торсон перевел взгляд на Срединную гавань: «Эмгейтен» стоял на якоре в центре гавани, корабль выглядел внушительно. Он должен привлечь внимание — нельзя не заметить его, столь разительно отличающегося от других полусгнивших фрегат. Стоит только взглянуть на его обводы, на грозные жерла орудий и мортир, как сразу становится радостно на душе, ибо он всем своим видом доказывает противникам перестройки флота, на что способны российские мастера!

Высокий, несколько сутулый император Александр, поддерживаемый свитскими офицерами, сошел по трапу на берег. Белый мундир с голубой андреевской лентой через плечо, золото орденов, знакомая всем эффектная улыбка. За Александром на берег последовал его брат Михаил Павлович, рыжий и верткий, лю-

битель вахт-парадов и пирушек, шеф флотского гвардейского экипажа. За ним — начальник Главного штаба сухой и поджарый, похожий на обезьяну генерал Дибич, где-то позади замешкался другой великий князь Николай. Казалось, не будет конца свите: генерал-адъютанты, флигель-адъютанты, пышные эполеты, ордена.

Дибич наклонился к царю, что-то шепнул, и сразу Александр насторожился, благосклонная улыбка покинула его лицо. Начальник Морского штаба Моллер поспешно отрапортовал, и вся свита двинулась вдоль ровного, как по линейке выстроенного фронта гвардейцев.

После официального церемониала офицеры Главного штаба, сопровождавшие царя, смешались с кронштадтскими командирами, обменивались новостями. Говорили, что император похвалил распорядительность обоих Моллеров, что не заметил полуразвалившиеся строения корабельных мастерских, скрытые заборами, что даже изрек: «Как величествен и неприступен сей остров! И напрасно офицеры не желают служить в Кронштадте и рвутся в столицу!» Были и разговоры вполголоса, отрывистые: об Аракчееве, о том влиянии, которое он оказывает на императора, о его мрачном доме в столице на углу Литейной и Кирочной и о еще более мрачной усадьбе в Грузии.

Торсон не прислушивался: двор только и живет этими разговорами. Удручало, что среди прибывших не было Николая Бестужева. Зато Михаил Бестужев был необычайно оживлен: вместе с адмиралом Михайловским сошла на пирс и его дочь Анета, в которую Мишель был пылко влюблен.

Анета, высокая блондинка с осиной талией, осторожно ступала по набережной, придерживая шлейф сиреневого платья, Мишель что-то говорил ей, она кивала в ответ...

Вечером в Кронштадте устроили фейерверк, разноцветные яркие гроздья повисли над заливом, они росли, таяли и вновь вспыхивали в светло-сиреновом небе. Ночь огласилась музыкой, вокруг царской яхты плавно кружились катера с песенниками, особенно хороша была роговая музыка — это привез свой оркестр дворцовый угодник князь Дмитрий Львович Нарышкин.

Александр, его приближенные направились в свою резиденцию, а светская молодежь и флотские офицеры — на корвет «Апостол». Здесь, прямо на палубе, был устроен навес из разноцветных флагов, мерцали свечи, воткнутые на штыки, был полумрак, и оркестр играл, не переставая. Оказалось, что вокруг полно незнакомых дам — явление редкое для Кронштадта. Торсон пожалел, что не пригласил сестру. Сам он не очень был охоч до балов, он относился к тем офицерам, которые на званых вечерах и празднествах не отстегивают сабли, что означало: танцевать не намерен.

Торсон прошел в кормовую надстройку, где в каютах для гостей были поставлены специальные ломберные столики и приготовлены карты. Было странно видеть матросов, разносящих прохладительные напитки и шампанское. Еще нелепее показались ему игры, которые затеяли на палубе юта: на штык нанизывали кольца, при каждом удачном попадании радовались, как дети, а чуть поодаль, ближе к шканцам, развлекались совсем нелепой забавой — фантами.

Звуки оркестра разносились над вечерним заливом, небо над Кронштадтом стало светлым от огней и ракет, вспышки их освещали застывшие в гавани суда, делая на мгновение то красными, то зелеными паруса.

Торсон поднялся на шканцы. Там было шумно и суетно. Танцы на палубе военного корабля — такое редко можно увидеть.

Торсону хотелось уйти, все было не по нему, и вдруг он почувствовал, что кто-то смотрит на него. Он

несколько раз перехватывал взгляд и никак не мог вспомнить, где он ее видел раньше. Очень знакомы ему и чуть раскосые зеленоватые глаза, и светло-золотистые волосы, и затаенная полуулыбка. Она была совсем юной, пожалуй, моложе своих подруг. На ней было открытое белое платье. Черты ее лица, и эта полуулыбка... Торсон не смог оторвать глаз от нее. Она вальсировала с молодым гардемаринном, гибко откидывалась, рукой поводила плавно, ножки у нее были точеные; и все в ней было зыбко, переменчиво. И когда в который раз Торсон встретил ее взгляд и веселые искорки пробежали в ее глазах, показалось, что она ему делает плавный жест рукой, как бы подзывая к себе. «Где же я ее видел, — пытался вспомнить он, — где?»

— Неужели ты не узнал? — спросил Мишель. — Это же...

— Карин! — не дал ему договорить Торсон.

Ну конечно, это была Карин, теперь он увидел и матушку ее, а вдали у ломберных столиков мелькала долговязая фигура милого доктора Артура Стэнгрэна. Как же он сразу не узнал Карин? Целый год он не был у Стэнгрэнов, и вот за этот год произошло чудесное превращение. Торсону вспомнилась голенастая девочка, озорная, всегда подвижная, малиновый бант в золотистых волосах. Неужели все это было — и поездка вместе на праздники в Петергоф, и шумные игры в доме Стэнгрэнов.

Мишель увлек его туда, где Карин после вальса стояла рядом с матерью и, казалось, ждала их. Сельма Эдвардовна искренне обрадовалась Торсону и Мишелью, говорила она не переставая:

— Куда же вы исчезли? Почему не бываете у нас? Карин замучила меня вопросами о вас, и ее кузины тоже. А вы все заняты своими кораблями... Право, непростительно!..

Торсон поцеловал руку Карин.

— Как вы изменились, — сказал он тихо, — я даже не узнал вас!

— А я... думала, вы не замечаете меня, и я так обиделась!

— Я хотел пригласить вас, сразу же...

— О, я знала это и оставила вам котильон и польский.

— Простите его, королева бала! — воскликнул Мишель и исчез среди танцующих. Котильон, затейливый танец, входивший в моду, требовал особого искусства. Сестра когда-то объясняла Торсону фигуры танца, теперь он с трудом восстанавливал их в памяти. Танцевал он неважно. На тесной палубе это не ощущалось, он просто совершал переходы в такт музыки, все поворачивались — и он поворачивался, все кавалеры становились на колено — и он становился. Он не сводил глаз с Карин. Он ощущал теплоту ее дыхания, аромат французских духов. Чтобы избавиться от смущения, он пытался взять прежний тон, шуточный, что был тогда, год назад. «Вы так азартно танцуете, — сказал он, — а ведь под нами не менее десяти футов!» «Палуба крепкая, надеюсь, — сказала она, притоптывая ножкой, — здесь так мило, а на балах в Петербурге можно задохнуться». «Вы уже бываете на балах?» — удивился Торсон.

«Как я не заметил, что она выросла. Еще год назад я спокойно брал ее за руку, водил в Петергофе любоваться фонтанами, а сейчас каждое прикосновение смущает и полно значения!»

Котильон окончился, они поднялись на корму, фонари вырывали из темноты паруса, виднелись вдаль береговые огни Кронштадта. Легкий ветерок дул с моря.

— Отца взяли в сию поездку, он заменил доктора Арендта, я обрадовалась, я знала, что вы в Кронштадте,

и мое сердце в предчувствии путешествия затрепетало, как парус под ветром! — сказала Карин.

Последние слова были очень знакомы... Ну конечно: вечер у Стэнгрэнов, игра в почту и записка от Мари! На самом деле это записка Карин!

— Помните, я плакала... — вдруг сказала Карин.

— Нет, — ответил он, — вы были всегда такой озорной, подвижной...

— Я сто раз собиралась бежать из дома, переодеться, стать юнгой, чтобы, как и вы, уйти в плавание. Увидеть необитаемые берега, открыть острова... Ведь есть же далеко среди южных льдов ваш остров! Как это звучит — остров Торсона! Как я завидую вам...

— Еще лучше — земля Карин. Если мне посчастливится, так я назову вновь обретенный берег.

— Возьмите меня в вояж, поклянитесь, что возьмете, я спрячусь в каюте у вас.

— Ах вот вы где уединились! — послышался голос Мишеля, в руках у него были бокалы.

Анет протянула корзину с яблоками.

— Давайте, Константин Петрович! Главный тост — за наших любимых дам! — произнес Мишель и вскинул руку с бокалом.

...Шлюпки уже подали к борту корвета, стихли оркестры. Вокруг громко перекликались, кто-то затынул песню... Запоздалый фейерверк повис в рассветном небе. Настал час прощания. Торсон припал к тонкой, нежной руке Карин.

Весь следующий день Торсон мысленно возвращался к нечаянной встрече. Голос Карин все еще звучал вокруг, это было, как наваждение. «Образумься, — говорил он сам себе. — Просить ее руки рано. Сейчас надо решать твердо — да или нет. Будет ли она ждать?..» И как он не догадывался, что она давно тянется к нему. Теперь уже все прошлые события выдвинулись в другом свете: и как она внезапно заплакала, когда ее отосла-

ли в детскую, и как в Петергофе она убегала, пряталась среди фонтанов, а он искал ее, и эта записка — ведь она была от нее... Нет, нет, надо ждать, еще год-два — решится судьба Катерины... Будут завершены переустройства, можно будет окончательно перебраться в Петербург...

С утра погода изменилась, пошел мелкий непрерывающийся дождь. На учениях были сбои, начальник Морского штаба Моллер нервничал. И Торсону вдруг стало не по себе, и радость исчезла, улетучилась, а надвинулось вдруг нечто неотвратимое, когда он случайно услышал разговор двух флигель-адъютантов из царской свиты: разговор о том, что великий князь Николай Павлович собирается посетить своего тестя — прусского короля, и что выбран для визита морской путь, и корабль ему уже определили — «Эмгейтен». Разговор мог остаться просто разговором, мало ли бывает планов и прожектов, но контр-адмирал Карцев подтвердил, что это уже решено, и решено твердо. Торсона оглушили эти блова. И это вместо того, чтобы заметить, оценить мощь корабля, отдать должное переустройствам!

— Что за нелепость? — спросил он.

Стоящий рядом капитан-лейтенант из гвардейского экипажа язвительно заметил:

— А куда было деться вашему министру? Ведь это единственный корабль, готовый к походу, остальные прогнили до дыр и чудом держатся на воде!

Торсон разыскал Моллера. Начальнику Морского штаба было не до него. Моллер был занят, у него было сто забот, он перемещался от одного великого князя к другому. Низко склонившись к Николаю Павловичу, застывшему в величественной позе, Моллер что-то пояснял, улыбаясь. Николай смотрел холодно, остановившимся оловянным взглядом. Наконец великий князь и

его свита двинулись к своей резиденции, и Торсон обратился к Моллеру, объяснив, что есть весьма важные обстоятельства, требующие разрешения.

Моллер недовольно поморщился и бросил:

— Ну что за пожар? Что стряслось?

— Я слышал, что на «Эмгейтене» пойдет в Пруссию великий князь. Это правда?

— Да, это решено окончательно! Это делает вам честь!

— Мы ведь полагали выйти в настоящее крейсерство, начать морские испытания, вы сами хотели убедиться, сколь верно сделана перестройка. Весь смысл в этом,—Торсон старался говорить убедительно, он понимал, что Моллер не будет выслушивать длинные объяснения.

— Успокойтесь, все успеется. Сдадите корабль гвардейскому экипажу, в круизе команду возглавит капитан второго ранга Качалов. Это есть установленный порядок. Но это не значит, что вы освобождаетесь от работ. Завтра же извольте распорядиться, чтобы лучшие мастеровые были на «Эмгейтене». Сейчас основное — отделка помещений, а не ваши пушки. Надеюсь, вы это понимаете? Нужна большая тщательность, это не есть крейсерство, а более ответственное дело!

— Если вы не перемените решение, — стараясь говорить спокойно и твердо, произнес Торсон,—я вынужден буду обратиться к императору.

Моллер удивленно посмотрел на своего адъютанта и почти выкрикнул:

— Вы что, есть не в своем уме, лейтенант!

— Я доложу обо всем! — продолжал Торсон, он впервые повысил голос в разговоре с Моллером, он почти сорвался на крик, на них начали обращать внимание. — Я раскрою глаза государю. Он узнает, как держат флот! И чья вина в том, что даже для столь краткого вояжа нет готового корабля. Он поймет важ-

ность испытаний «Эмгейтена»! Учтите, я не остановлюсь ни перед чем! Я доложу все, касающееся флота. И сообщу, как играют именными монаршьими указами даже в то время, когда страдают интересы казны!

Моллер приблизился вплотную, почти обнял Торсона, сказал тихо, вкрадчиво:

— Милый Константин Петрович, к чему излишняя горячность? Ваша судьба зависит от меня! А я не оставлю вас в обиде, если вы будете более умным... И всему есть мера! Вы видите, меня зовут, вы мне мешаете, господин лейтенант...

Теперь на «Эмгейтене» работали лучшие мастеровые Кронштадта. Корабль облепили беседками с бортов, матросы, производящие покраску, мешали друг другу, всем надо было найти место, каждому определить задание. Прибыли даже живописцы из Академии художеств: требовалось срочно расписать узорами каюты для великого князя и его супруги. Основными стали заботы о цвете паркета, об устройстве светильников, о позолоте, о расширении окон.

Несколько дней Торсон не появлялся на «Эмгейтене». Сатин отыскал его в пустых казармах флотского экипажа. Торсон нервно перебирал исписанные листы плотной синей бумаги.

Сначала он хотел все изложить своему министру, потом откинул эту затею. Надо писать императору. Но слова на бумаге казались неубедительными, и он в короткий раз рвал листы и отбрасывал в сторону перо.

Какой-то злой рок навис над ним. Кто мог предугадать сей исход смотра? Ведь сам стремился выставить корабль на вид, все делал, чтобы «Эмгейтен» был замечен! Если бы не поспешность вывода из дока, «Эмгейтен» простоял бы на клетях, а в поход снарядили бы другой корабль. Хотя бы того же «Апостола». А теперь нужно самому ехать в Петербург, добиться аудиенции,

собрать воедино все известное о беспорядках на флоте, доложить обстоятельно.

Сатин молча стоял в дверях и смотрел на командира. Наконец Торсон заметил его, кивнул и подвинул Сатину кресло.

— На «Эмгейтене» без вас все нарушится... И потом, все эти бумаги не вернут ничего, — сказал Сатин и глубоко вздохнул.

— Оставь меня, Михаил, — Торсон отвернулся, утаившись в окно неподвижным взглядом.

...Через три дня он появился на корабле. Он понимал, что в короткий срок подготовить корабль к вояжу, кроме него, не сможет никто. Он старался быть сдержанным и спокойным. Он оставался таким и тогда, когда размещал прибывший из столицы гвардейский экипаж и объяснял устройство корабля вновь назначенному капитану Качалову. У Торсона не было ни ревности, ни ненависти к новому капитану. Так заведено: если корабль имеет на борту членов царской фамилии, назначается особый экипаж.

Торсон покинул корабль, когда работы были закончены. Мастеровые снимали тали, приспособленные к орудиям для удобства стрельбы при качке, — это изобретение было лишним в парадном круизе, никто не собирался использовать артиллерию для стрельб, пушки были оставлены лишь для салютов.

Вскоре император и великий князь вновь посетили «Эмгейтен». Достоинства «Эмгейтена» демонстрировал новый командир — капитан второго ранга Качалов. Александра сопровождали контр-адмирал Карцев и начальник Морского штаба Моллер. Гости были поражены устройством и убранством «Эмгейтена». Александр не вникал в тонкости переоборудования, его не интересовали ни расположение артиллерии, ни обшивка крыйт-камеры, ни прочность книц, зато его приятно поразили чистота и изящество отделки помещений, лег-

кость рангоута. Настил палуб был подогнан так плотно, что казалось, выпилен из единой доски и вовсе не имеет пазов. Позолота на украшениях кормы, которую венчали двухглавый орел и орнамент из скрещенных мечей и серебряных венков, надраена до ослепительного блеска.

Император был в хорошем расположении духа и щедро осыпал похвалами Качалова.

— Я здесь вижу то, что до сих пор не видел ни на одном корабле, — сказал он, поднявшись на шканцы. — Отменный корабль, — он повернулся к Качалову, — каков корабль, таков и капитан, знающий свое дело, достойный офицер. Вы славно потрудились, а потому достойны награды!

Ни Моллер, ни Карцев не доложили ему, что корабль был перестроен Торсоном.

Моллер тоже дождался похвалы. Александр на английский манер крепко пожал ему руку:

— Пока есть такие люди, как вы, я спокоен за флот! Да и нужно ли нам множество кораблей, коли Англия, наш верный союзник, имеет достаточный флот! Один-два «Эмгейтена» — и вы на коне!

Здесь он засмеялся, и Моллер вторил ему звонким смехом.

Наконец настал день отхода, «Эмгейтен» выбрал якоря и, набрав ветер в паруса, быстро развил ход. Он уходил без своего строителя и командира. Торсон не участвовал в торжественных проводах.

Торсон остро переживал потерю «Эмгейтена», с негодованием воспринял он досрочное производство в очередной чин — капитан-лейтенанта. До производства по закону оставалось несколько месяцев, сейчас это проявление милости равнялось мелкой подачке. Баллотировки при производстве Торсон не страшился, все капитаны давали о нем лестные отзывы, это внеочеред-

ное повышение значило: будешь помалкивать — все будет.

Теперь и аудиенция у Александра I не казалась Торсону столь обнадеживающей: пришлось бы высказывать императору неудовольствие действиями самого императора. Ведь «Эмгейтен» отобран по высочайшему повелению, пусть не последнюю роль здесь сыграл начальник штаба Моллер, но получилось так, что и у Моллера не было выбора, не было готовых к вояжу кораблей...

Генерал-интендант Василий Головнин, прибывший в Кронштадт для ревизии оружейных мастерских, встретился с Торсоном на верфях. Говорил он оживленно, весь день не отпускал от себя под тем предлогом, что ему нужны советы по производству литья. Он понимал состояние Торсона и видел выход только в постоянной работе: нельзя было допустить, чтобы столь деятельный и полезный для флота офицер, как Торсон, опустил руки.

— «Эмгейтеном» не заканчиваются все переустройства! — убедительно заключил генерал. — Это было только начало, пробный камень! Поспешите, господин капитан-лейтенант, с составлением типовых штатов. Сегодня это необходимо. Только с ними мы введем строгую систему в постройку кораблей. В Адмиралтействе ждут доклада, нужны расчеты! И, кроме вас, никто не способен их завершить!

На деле ж получалось, что ждал расчетов один Головнин. Начальник Морского штаба Моллер на коллегии высказался вообще против новых штатов, ему вторили многие адмиралы, никто не был заинтересован в упорядочении дел на верфях.

Хотелось отправиться в Петербург, и не на день-два, а пробыть там подольше, успокоиться от всех передраг в тишине своего дома, побродить с Карин по паркам, раскинувшимся вдоль Невы, обязательно съездить в

Петергоф, полюбоваться затейливыми фонтанами. На-до бы... Но все складывается иначе.

...Дни и ночи в работе, в глазах пестрели цифры, сводные таблицы были столь громоздки, что не умещались на столе.

Ведь даже однотипные корабли строились по-разному, в зависимости от вкуса и чертежей каждого корабельного мастера, детали заказывались на различные корабли отдельно, только к ним подходящие. Теперь необходимо было определить так называемые штаты постройки и вооружения корабля, где следовало дать конкретные размеры и количество деталей корпуса, крепежа, рангоута и такелажа для каждого типа кораблей.

За неделю закончили штат стопушечного корабля, оставалось еще десять типов судов.

Михаил Бестужев не мог сдерживать своего возмущения: использование «Эмгейтена» для прогулок царской семьи он воспринимал, как непоправимое зло и нелепое оскорбление своего командира. Работал он, правда, с усердием, но иногда вскакивал из-за стола, отбрасывал расчеты, кружился по комнате и произносил гневные речи против Моллеров и им подобных. Он полагал, что все расчеты, при их удачном применении, начальник Морского штаба Моллер выдаст за собственные и будет в еще большем фаворе.

Торсон резко обрывал его:

— Мы производим сие на благо всего российского флота! Был Траверсе, теперь Моллер, кто будет после — не знаю, но флот наш принадлежит всей державе, и мы с тобой тоже в ответе за него. Здесь не может быть места личным обидам!

Поздней осенью «Эмгейтен» возвратился в Кронштадт. За это путешествие капитан второго ранга Качалов получил пятнадцать тысяч, а вахтенные лейтенанты — по золотому перстню. Об испытаниях не бы-

ло и речи, и, когда Торсон вновь попытался настаивать, начальник Морского штаба Моллер заметил:

— Я тоже упрям, но не настолько! «Эмгейтену» назначено другое поприще: царская фамилия, посещая на нем иные страны, докажет одним видом этого корабля, как сильны мы на водах! Кстати, я слышал, вы лелеете мысль совершить плавание к Северному полюсу? Сейчас на Охте строятся два шлюпа — берите их и готовьтесь возглавить экспедицию! Достигнете пролива между Азией и Америкой, и я смогу тогда вдвойне наградить вас — и за вояж, и за «Эмгейтен»!

Моллер привстал из-за стола, подошел к карте, потянул пухлую руку вверх, туда, где белым пятном обозначены сплошные льды.

Это был лучший исход — отправить беспокойного адъютанта в длительные изыскания.

Возглавить экспедицию, северным путем достичь американских берегов — об этом Торсон давно мечтал, этим желанием горел и Михаил Бестужев. Было заранее решено в Адмиралтействе, что Михаил назначается командовать одним из кораблей будущей экспедиции.

Моллер заверил Торсона в том, что цель, продолжительность и пути экспедиции он, Торсон, может определить сам, следует только составить инструкции и представить их на утверждение.

В Кронштадте, в тесном и уютном флигеле, устав от исчислений таблиц, Торсон и Михаил Бестужев раскладывали поверх расчетов карты земного шара и в долгие осенние ночи пролагали будущие маршруты. Оплывали, догорая, свечи, потрескивал огонь в большой ненасытной печи. Западные ветры приносили с морей потоки дождей, стучали ветки в окна, осыпались последние листья с кленов. Они не замечали, как светало за окном. Мишель сторал от нетерпения — он жаждал охватить маршрутами, изведать все океаны и моря, его пламенное воображение не знало предела.

— Надобно пройти и в южные широты, через Средиземное море, потом к Новой Голландии, туда, где шли «Восток» и «Мирный». Ведь вам открылось, что там, за льдами, скрывается целый материк! — доказывал Михаил.

— Ты прав, мы обрели обширный берег, но не обошли его; что дальше, земля или льды, сказать трудно, но льды там непроходимы — в этом мы убедились, — объяснил Торсон.

— Мы пробьемся через льды, я уверен, там тьма еще не открытых островов, мы назовем эти острова именами наших славных мореплавателей — это будут острова Крузенштерна, Беллинсгаузена, Головнина, Коцебу, — предлагал Михаил Бестужев.

— Но сначала хочу сказать вам, милостивый мой государь и верный помощник, сначала нужно доказать главное: возможен ли для шлюпов северный путь? Вдоль российских берегов к Америке. Что находится на грани двух материков — пролив или перешеек? Плаванья Дежнева и Беринга англичане ставят под сомнение, особенно сии сомнения усилились, когда великий Кук не пробился к проливу.

— Кук считал, что и у Южного полюса земли нет, что там сплошные льды, но вы с Беллинсгаузенем опрокинули его просвещенное мнение!

— Прочти, мой друг, отчет Отто Коцебу «Путешествие в Южный океан и Берингов пролив для отыскания Северо-Восточного морского прохода». Его шлюпы «Благонамеренный» и «Открытие» тоже не пробились сквозь сплошные льды. Однако сильные течения, направленные к северо-востоку, доказывают, что есть сообщение между Тихим и Северным океанами. Но как проторить этот путь?

— Зачем идти с севера, давайте пройдем через южные моря, побываем в таинственной Японии, пройдем вдоль американских берегов.

— Все впереди, — соглашался Торсон, — будут в нашем вояже и южные моря.

Он уже зримо представлял будущий поход. Пусть тяжело в дальнем плавании, пусть иногда и жизнью своей рискуешь, но там чисты отношения между людьми, там скоро выявляется, кто есть кто, и паркетному шаркуну, привыкшему к придворной жизни и легкой наживе, не место на палубах. Это лучший исход — уйти в плавание: изыскать новые пути, открыть неизведанные земли. Надо на сей раз готовиться к долгому вояжу — искать легких штилевых широт не пристало. И перед уходом решить все с Карин. Возможно, она просто увлечена романтикой — все идет от ее пылкого воображения. Ведь он, Торсон, впервые появился в доме Стэнгрэнов, когда вернулся на шлюпе «Восток» из ледовых морей, он был овеян славой этого путешествия.

Более двух лет вдали от родных берегов. Два года беспрестанных поисков в ледовых широтах! Но с таким капитаном, как Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, все одолимо. Вот у кого следует учиться выдержке и настойчивости в достижении цели! Другой бы отступил там, где он вел хрупкие шлюпы в тумане, чудом отыскивая проходы во льдах. Если бы не плохая видимость и ежеминутная опасность столкновения с ледяными горами, они достигли бы континентального берега уже на первом году изысканий, так близко они были к цели.

Все новые и новые, неизвестные острова открывались им. Беллинсгаузен именовал эти обретенные земли в честь своих соплавателей, своих помощников Михаила Лазарева, Аркадия Лескова, Ивана Завадовского. Один из небольших, но довольно высоких островов назвали именем Торсона. С обрывистым каменным берегом, с горами, покрытыми снегом, он был недоступен для высадки. Где-то за этими островами, они знали, верили, лежит матерая земля!

...Сильные ветры и морозы заставили их тогда пре-

рвать продвижение на юг и повернуть к Сиднею, в порт Джексон, чтобы там починить рангоут, законопатить борта, припасти провианта. Какого труда стоило выбраться из скопления ледяных островов! В штилевую погоду ночью льдины можно было распознать по характерному шуму воды у их кромок. Но штилевых погод почти не было, снежные бураны рвали паруса и ломали стены. Шлюпы швыряло, как щепки. Офицеры в волчьих треухах, закутанные в длиннополые шубы, не покидали шканцев. Рангоут покрывался льдом. Фалы, троса превращались в белые гирлянды, и при каждой резкой перемене курса приходилось прикладывать большие усилия, чтобы справиться с парусами. Троса невозможно было распрямить, матросы соскальзывали с рей, кровянили руки — вахты приходилось менять через каждые два часа. Лишь Беллинсгаузен бесшумно оставался наверху, как будто вмерз в палубу.

Может быть, Мишель прав: прорываться сквозь льды бессмысленно. На севере льды еще более матеры и непроходимы... Но есть пример — Дежнев. Это не легенда, не выдумка!

Торсон подсел поближе к Мишелю, раскурил трубку.

— Я хочу сказать, мой милостивый государь, что и в далеких льдах своя прелесть. С чем, к примеру, может сравниться полярное сияние? Столбы беловатосинего цвета, таинственное мерцание. Они вырастают в небе внезапно, как будто из глубин стылых вод. Становится светло, как днем. Небо горит! Причудливые синие шары, светящиеся букеты, салют, преподнесенный свыше в нашу честь. И представьте себе: в этом неярком свете берега сплошного льда — причудливые ледяные замки и гроты.

— Вы не думайте, Константин Петрович, что я не хочу пройти льдами, что я ратую только за южные моря, — Бестужев поднялся, подошел к окну, Торсон стал

рядом с ним... Они вглядывались сквозь серый свет утра в просыпающийся Кронштадт. — Вместе с вами, поверьте, я готов идти к любому, самому недоступному полюсу. Я знаю, вам чуждо чувство страха, и я сему обучусь!

Мишель ошибался... Страх был. Даже противная нервная дрожь была.

...Ветер пронизывал насквозь. Пришлось закрепить брамсели и взять по рифу у марселей. С треском, как будто палили из мортир, лопались промерзшие фалы. Из парусов устоял один фок-стаксель. Те, что не успели зарифить, изорвало в клочья. Беллинггаузен, в овчинной шубе, с сосульками на усах, старался перекричать вой ветра. Надо было спасти фок-стаксель. Торсон бросился к растерявшимся матросам.

Волны захлестывали бак. Исчезла граница неба и воды, все смешалось. Резкий, пугающий треск прокатывался по деревянной обшивке шлюпа, со скрежетом и визжащим скрипом расходились пазы переборок. Все офицеры были наверху — и опытный капитан-лейтенант Завадовский, и молодые лейтенанты Игнатьев и Лесков. Остаться без парусов значило отдать себя на волю стихии, лишиться маневра перед застывшими в ночи ледяными горами. Фок зарифили, и, чтобы удержать шлюп от столкновения со льдами, сохранить возможность маневра, на бизань-вантах растянули несколько матросских коек. И сделали это вовремя, ибо истошно закричал впередсмотрящий: «Льдина прямо по курсу!»

Матросы крестились. Многие уже не думали, что есть путь к спасению. Все ожидали неминуемого удара. Офицеры, скинув шубы, помогали крепить запасной парус. Ледяная гора нависла над шлюпом с левого борта. Внезапно сильная волна прорвалась в ту незримую щель, что разделяла шлюп и лед, чуть сдвинула громаду, огромную, с острыми зубринами, и это спасло шлюп.

— Вы удачливый человек, Торсон,— сказал тогда Завадовский,— Для морского офицера очень важно быть удачливым!

Да, это действительно так: великая удача попасть в экспедицию с Беллинсгаузенем. Сколько было жаждающих получить назначение! Искали протекции. Торсон не надеялся, что ему повезет, но тоже подал рапорт, и его взяли — уж очень лестны были отзывы о молодом лейтенанте. Настоящие капитаны — не родовитые сенаторы и не сановные князья — просили за него. Даже за день до отхода было не ясно окончательно, кто останется на шлюпах. К Беллинсгаузену являлись с записками от баронов и великих князей, а один из лейтенантов пришел с письмом от Дибича. Беллинсгаузен молча порвал его. Лейтенант, плотный и холеный, с оттопыренными губами, вспыхнул, кинулся собирать обрывки и, чуть не плача, выкрикнул:

— Это же Дибич написал, да это же сам Дибич!

— Я собираю людей не по степени их связей, а по тому, насколько они знакомы с морской службой! — ответил Беллинсгаузен.

Командор не любил случайных людей, щеголеватых лейтенантов гвардейских экипажей, забывших накаты морских волн и свист ветра в снастях. «Я родился среди моря, и как рыба не может жить без воды, так и я не могу жить без моря», — любил повторять он.

...Заход в порт Джексон был необходим — за долгие месяцы плавания во льдах команда устала. Условия на шлюпе были отвратительны: более ста человек ютились под палубой, в помещениях стояла сырость. В офицерских каютах было получше, больше свежего воздуха, но и здесь от сырости некуда было деться. Парадные сюртуки позеленели, простыни постоянно были влажными, липли к телу. Нависла угроза цинги. Появились синие пятна на ногах у капитана-лейтенанта Завадовского, кровоточили десны у мичмана Деми-

дова. Спасались отваром из сосновых шишек, но их запас уже подходил к концу. Холода и сырости не вынесли свиньи и бараны, у них посинели и распухли десны, и они настолько ослабели, что, когда в порту уцелевших выпустили на зеленую поляну, они не в силах были даже жевать траву и недвижно лежали, греясь под солнцем.

На берегу поставили палатки и в первую очередь соорудили баню: устроили печь из чугунного балласта, поставили баки, в которых калеными ядрами грели воду. Нарезали веники и начали праздник очищения. Чтобы пар не выходил сквозь брезент палаток, поливали их из брандспойтов. Баня получилась славная. Потом со свежими силами принялись за ремонт шлюпов, проклиная корабельных мастеров, не подготовивших корабли к суровому плаванию.

...И вновь устремились к югу. Новые попытки пробиться сквозь льды, через туманы, достигнуть неизвестной земли. Немало было сделано открытий. Острова Роасиян — обширный архипелаг — свидетельствовали о близости материковой земли. Но впереди стояли сплошные льды. Беспреданно продолжались толчки льдин в обшивку шлюпа, снеговые заряды, вихри, обжигающие лицо, снежные завесы вперемежку с плотными туманами. Беллинсгаузен был уверен, что там за льдами есть материк — земля, предсказанная еще Птолемеем и существующая, по мнению этого ученого, для равновесия земного шара. Отступить Беллинсгаузен не хотел.

Чтобы не разойтись с «Мирным», приходилось постоянно производить выстрелы из карронадных пушек. Шлюпы обрастали льдом, и это грозило опрокидыванием. При сильной качке сверху, с такелажа, срывались куски льда. Качка была так велика, что не варили похлебку. С большим трудом согревали воду для чая и пунша; ели вареную говядину, заготовленную в бан-

ках еще в Англии, сухари и кислую капусту. С каждым днем уменьшали и без того скудный рацион.

В редкие дни затишья поражаало то, что здесь множество птиц. Все чаще встречались поморники.

И наконец свершилось! 17 января 1821 года со шлюпов увидели берег. Невозможно передать ощущения той радости и счастья, и не дано повториться такому в жизни человека. Это был явно не остров, темный мыс простирался к востоку и исчезал за горизонтом, высокая гора виднелась справа, она была отделена перешейком от гряды других гор. Среди ослепительного, искрящегося под солнцем снега крутые скалы на берегу поблескивали, как уголь. Ясная погода и совершенно безоблачное небо сопутствовали этим дням. Это позволило нанести на карту точное очертание открытой ими земли.

Тогда Торсон увидел слезы Беллинсгаузена. Офицеры обнимались и целовали друг друга. В ледяном просторе пушки ударили многократным торжественным салютом.

А потом было долгое возвращение и стоянка в Рио-де-Жанейро.

...Гудели толпы, шумно и оживленно было на улицах, как будто в самый большой праздник. Дома были украшены разноцветными шелковыми тканями, из окон свисали флаги, раздавались звуки музыки. Офицеры шлюпов «Восток» и «Мирный» сошли на берег и стали свидетелями народного собрания, где избирались депутаты, которые должны были подать просьбу королю о введении конституции.

Биржевый зал, где происходило собрание, был переполнен. Посредине зала огромный стол, вокруг скамейки в несколько рядов в виде амфитеатра. Депутаты старались перекричать друг друга. Один из них встал на скамейку у стены и написал крупными буквами: «Бразилия будет счастлива!»

Беллинсгаузен предупредил:

— Ни в коем случае ни во что не вмешиваться.

Они встретили бразильского офицера, хорошо знавшего немецкий. Офицер этот был из королевской свиты и наблюдал за порядком.

— Это сумасшедшая страна, — сказал он, — мой полк уже не раз участвовал в подавлении мятежей, я был ранен, — он показал неразгибающиеся пальцы, — и лозунг у них, — сейчас я вам переведу, — лозунг: «Свобода или смерть!» Особенно ужасно, когда рабы с плантаций двигаются на города, пулями их остановить невозможно. Все эти революции — безумство и кровопролитие!

— Вы ошибаетесь, сеньор, — вмешался в разговор другой офицер, — народ требует конституцию, и безумцы мы, пытающиеся сдержать требования народа. Век деспотизма миновал, в наше время право и справедливость будут определять законы. Хочет или не хочет этого король.

Оба офицера бурно заспорили. Резкие крики в зале прервали этот спор. Шум несколько утих, лишь когда избрали депутатов из разных сословий и они отправились во дворец короля. Теперь в зале загремела музыка, на площади запустили ракеты, вспыхнул фейерверк. Народ провожал своих депутатов. Русских офицеров вытеснили на улицу. Из распахнутых окон махали платками, флагами, кричали: «Виват!»

Утром на шлюпах узнали, как разворачивались дальнейшие события. Король принял депутатов милостиво и утвердил конституцию. А так как расстояние от загородного дворца до биржи большое, то депутаты вернулись поздно, и пока их ждали, пронесся слух, что депутатов арестовали. Требовали ответа от губернатора, народ не расходился. Наследный принц Дон-Педро, которому король Жуан передал свою власть, понял, что власть эта будет ограничена. Ночью он проник в

воинские казармы и повел солдат к бирже, где не утихали страсти. Солдаты окружили биржевый зал, было приказано стрелять в толпу, но королевские гвардейцы отказались исполнять приказание принца. Педро был вынужден снять осаду.

На шлюпах бурно обсуждали необычные события. Астроном Иван Симонов и живописец Павел Михайлов, единственные штатские участники вояжа, считали, что введение конституции не минует все страны, полагали, что и Россия близка к этому, ибо совсем недавно государь даровал конституцию Польше.

— Представляете, господа, мы возвращаемся в Петербург, а там парламент, крепостное право отменено высочайшей милостью, все сословия равны! — оживленно восклицал Михайлов.

Торсону тоже тогда хотелось верить, что не только в Бразилии, но и на его родине произошли желанные перемены, причем в России все это даже проще: не надо споров, депутатов, волнений — монарх объявил конституцию, Сенату даны права. Высочайшей волей отменено крепостное право, судьи не назначаются, а избираются народом. В Сенате заседают лучшие люди державы, наделенные не высокими титулами, а опытом и умением управлять государством...

Но как далеки были эти мечты от истинного положения.

На родных берегах происходили совсем другие перемены. В стране властвовал жестокий Аракчеев. Повсюду насаждались военные поселения. Деспотизм и произвол не знали предела...

Позднее у всех офицеров собрали подписки о неучастии в тайных обществах. Что это за тайные общества, Торсон и его товарищи, морские офицеры, плохо представляли. Им разъяснили, что отныне запрещены масонские ложи, офицерские артели, собрания большого числа лиц — все запрещалось.

Торсон часто возвращался в мыслях к тем дням, когда в Бразилии он был свидетелем принятия конституции. Почему не происходит подобного на его родине? Сколь велико терпение народа? Ужели русский народ не заслуживает лучшей доли, народ, спасший Европу от Бонапарта, веками заслонявший ее от татар, народ, знавший Вечевой колокол свободного Новгорода... Почему же в столь тяжком состоянии должен он находиться? Где предел тирании? И чем дальше, тем хуже...

Лето 1824 года было тяжелым для Торсона — потеря «Эмгейтена», задержка во введении штатов. Казалось, какая-то непроходимая стена воздвигнута перед ним. К тому же не было рядом Николая Бестужева, который на фрегате «Проворный» находился у берегов Гибралтара. А ему, Торсону, так нужна дружеская поддержка! В этот раз он как-то особенно ждал возвращения Николая.

Фрегат «Проворный» бросил якорь у родных причалов в конце сентября. Николай Бестужев был переполнен впечатлениями. Он исполнял в плавании сразу несколько должностей: ему было поручено записать все события, как историографу флота; он, как и положено офицеру, нес вахту, а при заходах в иноземные порты становился дипломатом со всеми на то полномочиями и искусно вел переговоры с высокими сановниками.

На фрегате Николай Бестужев сдружился со своими коллегами — морскими офицерами Епафродитом Мусиным-Пушкиным, Василием Шпеером, Михаилом Бодиско, Александром Беляевым. Они все были полны высоких порывов, жаждали обретения свободы для своего отечества и смело высказывали вольнолюбивые мысли. Предметами разговоров были революция в Испании*, славные подвиги Риэго и Квируги, восстание

в Неаполе и Пьемонте*, война за независимость в Греции*.

Николай восхищался мужеством патриотов, ведущих битву за права своего народа. Он был свидетелем расстрела испанских революционеров, особенно его поразил один из этих героев: перед расстрелом ему хотели завязать платком глаза, он отказался, но, увидев генерала, бывшего прежде либералом, а теперь предавшего дело революции, испанец схватил платок и с нетерпением крикнул: «Не хочу осквернять последних минут своей жизни видом человека, предавшего отечество и пришедшего любоваться кровью сограждан!»

— Ты мыслишь, что и у нас возможно движение за принятие твердых законов? — спросил Торсон у Николая Бестужева.

Они прогуливались по Царицынскому лугу, слева ярко желтели деревья Летнего сада, воздух был чист и прозрачен, каким бывает он ранней осенью в Петербурге в короткие дни бабьего лета.

— Не только возможно, но и необходимо! Мы с тобой видим на примере флота, что совершается в стране, куда завели нас бездушные чиновники департаментов. Повсюду мздоимство, при дворе взяли вес люди случайные! Что мы можем им противопоставить? Свое радение, лишенное основы законов? Народ закрепощен! И это в просвещенном государстве, каким мы себя считаем! Плети, продажа крепостных. Голь и нищета окрест. Что дали наши усилия, что дало твое рвение? Проекты под сукном у чиновников. «Эмгейтен» стал прогулочной «яхтой» для царского дома! Наш министр Моллер, болтун и расхититель, в фаворе. Он не имеет своего мнения и тем уже хорош!..

Торсон долго молчал, наблюдая, как ветер перебирает пожелтевшие листья. Мысли Бестужева были дерзки и справедливы.

— Я понимаю,—согласился Торсон,—нужны твер-

дые законы... Но близ монарха те, кому эти законы не угодны! Везде казнокрадство! Посему я хочу раскрыть глаза государю, я хочу искать у него аудиенции при поддержке Головнина и Мордвинова!

Торсон взял Бестужева под руку и показал на Неву: там от Петропавловской крепости гуськом двигались плоские корабли с низкими мачтами.

— Посмотри, вот таких уродцев спускают нынче на верфях. Гавань в Кронштадте обмелела, Моллер, начальник порта, не чистит, так министр решил выручить брата: теперь делают плоскодонки! По Неве они ходят спокойно, но в баталиях сии плошки будут не пригодны! О сем я изложил в рапорте.

— И ты надеешься, что это возымеет какое-либо действие? — спросил Бестужев.

— А что же прикажешь молча взирать на все?

— Нет,—резко ответил Бестужев,—только не молча! Тебе нужно поговорить с Мордвиновым, его поддержка многое значит!

— Мне обещан вояж для отыскания северных морских путей, уже заканчивается постройка шлюпов,—сказал Торсон, — через год-полтора мы сумеем начать изыскания, за оставшееся время я хотел бы добиться введения исчисленных мной штатов. Возможно, ты прав: Мордвинов, к голосу которого прислушиваются высочайшие особы, сумеет помочь.

...Сенатор Николай Мордвинов жил в просторном особняке на Театральной площади. Сенатор и адмирал, в начале царствования Александра бывший морским министром, теперь занимал пост председателя департамента гражданских и духовных дел в Государственном Совете. Там он один бился за справедливость. В свое время много говорили о поданном им проекте освобождения крестьян, за который он чуть было не впал в немилость, вызвав монарший гнев. Он осмеливался возражать даже Аракчееву. Его речи в Совете перепи-

сывались, ходили по рукам. Его гражданское мужество снискало ему симпатии в просвещенных кругах общества.

Аудиенция Торсону была назначена на девять вечера. Ровно в девять Торсон подал шинель швейцару, и тот возвестил колокольчиком о приходе визитера. Комердинер проводил Торсона в кабинет сенатора. Ярко горели свечи в золотых шандалах, их свет мерцал в зеркалах и застекленных шкафах.

В просторном кабинете навстречу Торсону из кресла поднялся седовласый старик. Полуулыбка на мудром лице, необыкновенно высокий лоб и неожиданно мягкий голос:

— Располагайтесь, как вам будет угодно, милостивый государь. Извините, если я буду немного рассеян, сегодня был весьма затруднительный день — одно заседание за другим...

Голос сенатора, его тон внушали спокойствие. Торсон кратко рассказал, что побудило его подать проекты на переустройство кораблей, об упорядочении штатов на постройку, об «Эмгейтене».

Судя по отдельным замечаниям Мордвинова, по тому, что на столе его лежали протоколы заседаний Адмиралтейской коллегии, подробный доклад не требовался — сенатор знал существо дела. С флотом была в прошлом связана его жизнь, и все, что касалось этого поприща, он воспринимал остро, подчас даже несколько болезненно. В свое время он в чине полного адмирала ушел в отставку с поста Морского министра, не выдержав интриг, но забот своих о флоте не прекращал.

Мординов оживился, когда заговорил о четких порядках, введенных в английский флоте.

— У нас ведь, милостивый государь, — заметил Мординов, — много неразберихи, шума много, с ухарством все! Шумим, братцы, шумим, а у них особый шик сняться с якоря без единого слова, только дудка боцмана.

— Смею заверить, ваше сиятельство, — сказал Торсон, — теперь во многом научились и мы, и наши моряки не уступают английским, хотя учиться нам у владычицы морей есть чему!

Неслышно вошел слуга, принес вино и раскуренные трубки.

— И то верно, — согласился Мордвинов, — русские служители могут стать первейшими в мире, тому залог много примеров и славных баталий. Ежели подходить к матросу с человечностью, то не за страх он сотворяет службу, а в охоту — и тогда чудеса совершать способен! А у нас свистят линьки, идут в ход кошки, килевания — это ведь помыслить ужасно! Таскать человека под килем!

— Сие следствие варварства! — сказал Торсон и вспомнил, как не раз ему приходилось восставать против иных ретивых командиров, которые считали линьки и плети главным «орудием» для наведения порядка. Да и сам он испытал на себе в корпусе, как унижает и оскорбляет человека истязание. Совсем недавно ему довелось прочесть копию докладной Мордвинова «Об уничтожении кнута в России». Это был документ потрясающей силы! И насколько это важно, что в сенате есть такой человек, как Мордвинов, — несгибаемый старик, который решается противостоять общей косности. И если ему удастся добиться отмены телесных наказаний, то за одно это старик заслужит памяти у потомков. Мордвинов — один из немногих, кто может прямо высказать императору свои мысли. И добиться возврата «Эмгейтена», его испытаний может только он!

И когда разговор снова вернулся к флотским делам, Торсон высказал свою главную просьбу. Он говорил взволнованно и чувствовал, что Мордвинов понимает его.

Сенатор знал о всех задуманных переустройствах, о том, что уже было сделано на корабле.

— Если вы доложите о пользе переоборудования флота по образцу «Эмгейтена», император примет нужные меры! — заключил Торсон.

Седовласый сенатор откинулся в кресле, посмотрел на Торсона с доброй улыбкой и промолчал. И лишь после некоторой паузы произнес:

— Я могу доложить. Но возьмем ли сие ответные действия — глубоко сомневаюсь...

— Быть может, надо изложить подробно, — предложил Торсон, — я все это напишу и представлю подробные расчеты и схемы.

— Он даже не прочтет, — грустно возразил сенатор, — в лучшем случае перешлет Моллеру, и министр вызовет вас и пожурит...

— Тогда мне нужна аудиенция. Я сам доложу обо всем.

— Бесполезно, Константин Петрович, — сказал Мордвинов, — Всему приходит свой час, и ваши проекты со временем обретут реальность. Но сейчас даже мое обращение к императору не вернет вам «Эмгейтен»... Коли корабль пришелся по вкусу государю, считайте, что он стал царской собственностью. Мудрость — не в горячности, нужны настойчивость и постоянство в деяниях. Я слышал в министерстве, что вы заканчиваете расчет штатов на постройку кораблей, — это весьма необходимо! А после их утверждения, если пожелаете, могу протезировать вам место на шлюпах Российско-Американской компании, там вам будет простор для переустройств и открытий...

— Благодарю за лестное предложение, — сказал Торсон, — но в Адмиралтействе уже решено, что возглавлю вояж для отысканий пролива у американских берегов, и мне представляется, что сим я принесу немалую пользу. Думаю, мне удастся подтвердить изыскания Беринга. И тогда откроется новый путь вдоль наших берегов. И в то же время отправляться в далекие

моря, не завершив здесь задуманных переустройств на кораблях...

— У вас достаточно сил, капитан-лейтенант, вы молоды, — оживился сенатор, — мне говорили о вашем упорстве на служебном поприще, я и представлял вас таким, личное знакомство лишь усилило мои симпатии. Знайте, у меня вы всегда найдете поддержку. Но всему свой час...

Торсон ушел от сенатора поздно.

Над северной столицей повисла ночная тишина. В полумраке, прозрачные и легкие, высились дворцы и возникли узоры оград, чугунные мосты отражались в застывшей глади каналов. Медленно шел он по набережной Крюкова канала. Разговор с Мордвиновым, хоть и не дал никаких надежд, в чем-то успокоил его. Надо брать пример со старика в постоянстве и настойчивости при достижении целей. Сей гордый муж достоин подражания. Надо утвердить расчеты, надо тщательно обосновать постройку новых кораблей...

В октябре был закончен труд по составлению штатных положений на основные типы кораблей, и Торсон представил расчеты в «Комиссию для сметных исчислений на построение кораблей, фрегатов и других судов». Теперь оставалось ждать решения Адмиралтейства. А там, несмотря на поддержку сенатора Мордвинова и требования генерала Головина, все непомерно затягивалось. Исчисленные штаты передавались на согласование из одной экспедиции в другую, к тому же нужно было разрешение министерства финансов, и конца этой волоките не было видно. Моллер был неувеличим, в Морском штабе его нельзя было найти, он всячески избегал беспокойного адъютанта.

В один из приездов в Петербург Торсон неожиданно встретил в Адмиралтействе мичмана Сухоцкого. Он вернулся из плавания и в просторном кабинете, окру-

женный молодыми штабными офицерами, оживленно рассказывал о хождениях к далеким берегам. Торсон не отрываясь смотрел на его узкое холеное лицо. Почувствовав этот взгляд, Сухоцкий обернулся и умолк на полуслове. Торсон дождался, когда офицеры покинули кабинет, остановил Сухоцкого жестом.

— Я давно ждал встречи с вами, мне хотелось бы отбить у вас охоту подделывать чужие подписи. Говорят, вы большой мастер на подобное? — сказал он.

— Я вас не понимаю, капитан-лейтенант, — встрепетнулся Сухоцкий, он стоял у самой двери, всем своим видом показывая, что спешит.

— Куда вы дели медь, которую получили якобы на мой корабль?

— Ах вы об этом, — Сухоцкий изобразил полуулыбку, — ерунда какая! Ведь для вас же и получил, еще и возился ради вас, Федор Васильевич Моллер попросил, дабы ускорить работы. Вас тогда не было, не нашли на верфях, а я попался под руку...

— Только лишь под руку? И вы не участвовали в дележе добытых у купцов денег, коим сию медь продали... Сколько же вам досталось от всего куша за умение подделывать почерка?

— Я ничего не понимаю, я... — замялся Сухоцкий. Он отошел от Торсона и оперся на подоконник, сабля его коснулась пола и звякнула, — я маленький человек, избавьте меня от сих подозрений. Иначе я... я вынужден буду просить у вас сатисфакции...

Торсон резко одернул его:

— Прежде какой-либо сатисфакции, юноша, вы дадите объяснение министру!

— Не впутывайте меня, — залепетал Сухоцкий, — я днями должен баллотироваться в лейтенанты... Батюшка мой стар и не выдержит провала...

— Баллотировки не будет, это я вам обещаю! Ее не будет, пока все не разъяснится...

Он был уверен, что Сухоцкий не хочет, боится рассказать начистоту все, что он знает о сделке.

— Днями я жду ваш рапорт обо всех обстоятельствах хищения. Сей рапорт я доведу до сведения министра! — сказал Торсон и вышел из кабинета.

Осень в этом году выдалась ветреная. Особенно пронзительный ветер с залива ворвался в столицу шестого ноября. Раскачивались фонари на столбах, скрипели заборы, ограждающие стройку Исаакиевского собора, в Адмиралтействе подняли и зажгли сигнальные фонари — предупреждение об угрозе наводнения.

Ночью сквозь сон Торсон слышал глухие выстрелы, означавшие, что вода в Неве прибывает.

Утром он направился в дом Морского министра. Сильный ветер дул порывами вдоль набережной. Вода в Неве кипела, как в котле. Толпы любопытных стояли у пристани и смотрели, как дыбятся и с шумом разбиваются о гранит крутые шипящие волны. Угроза наводнения была явной.

В доме Морского министра собрались флотские штабные офицеры. Бурно обсуждались надвигающиеся события. Головнина беспокоили корабли на стапелях. В первую очередь повышение уровня воды грозило фрегатам в Новом Адмиралтействе. Приказание Головнина записывал совсем юный офицер, его шурин, Феопемт Лутковский. Михаил Кюхельбекер, участник кругосветного путешествия на шлюпе «Аполлон», брат известного поэта, пытался выяснить, сколько катеров можно приготовить на случай, если придется спасать людей. Ясности ни в чем не было. Ждали начальника Морского штаба, которого рано утром, прямо из дома, вызвали во дворец.

Моллер вернулся бледный и растерянный. Торсон ни разу не видел своего начальника столь напуганным.

Юркий мичман, который попевал везде и говорил,

не переставая, рассказывал, что начальник Морского штаба был вынужден признаться императору, что не сделано никаких упреждений для борьбы со стихией, не приготовлено достаточного количества шлюпок, в гвардейском экипаже не выделены спасатели и вообще не взято никаких мер. Мичман был, видимо, не из «простых»: в разговоре он свободно ссылался на великих князей, говорил, что император назначил ему встречу и что пришлось прервать вояж и срочно ехать в Петербург через всю Сибирь. О Моллере мичман отзывался с пренебрежением — так, мол, временный министр — пустое место.

— Представляете, Константин Петрович,—мичман сделал гримасу, — император не услышал, конечно, дельного доклада и пришел в гнев. Он был страшен. «Что сделал бы с вами Петр Великий, если бы это случилось в его время?» — спросил он у Моллера. Тот растерялся, как юный кадет, и ответил: «Повесил бы». Уверяю вас, после такой аудиенции его фавор приказал долго жить.

— Сейчас не место и не время перепевать, кто в фаворе и кто его потерял, — прервал его Торсон. — Берите людей в экипаже и катер, что стоит напротив Адмиралтейства.

Мичман бодро поспешил исполнять приказание.

— Откуда он? — спросил Торсон у Феопемта Лутковского.

— О, это замечательный человек, — ответил юноша восторженно, — он только что прибыл из дальнего путешествия к берегам Америки, с фрегата «Крейсер». Это Дмитрий Иринархович Завалишин. Он написал из Англии письмо государю и теперь ждет высочайшей аудиенции, он полон дерзостных планов.

— Ну что ж, — сказал Торсон,—посмотрим, каков он в деле. Сегодня каждому из нас предстоит доказать, на что способны флотские офицеры.

— Я тоже пойду готовить катер,— сказал молчавший дотоле Михаил Кюхельбекер.

Головнин вышел из кабинета Моллера.

— Константин Петрович, отдайте распоряжения по подготовке шлюпок, — сказал он, — я займусь здесь стапелями, вы проверьте верфи у Новой Голландии. И надо подготовить дома, куда придется перевозить людей в случае затопления улиц, близких к Неве.

— О подготовке катеров я уже распорядился, — ответил Торсон, — на них пошли Кюхельбекер, Завалишин, Беляев. Скоро придут остальные офицеры из экипажей...

— Вице-адмирал полагается на вас, — сказал Головнин. — С богом!

...Торсон поспешил в Новое Адмиралтейство проверить закрепление кораблей на стапелях. У острова Новая Голландия он вышел из кареты. Вода уже начала заливать набережные. По реке неслись парусники, сорванные с якорей, плыли дрова, заборы.

На верфях корабельные мастера собрали плотников и спешно ставили дополнительные крепления. Люди работали уже по колено в воде.

Торсон нашел главного распорядителя работ. Решили не только забивать клинья, но и закрепить фрегаты дополнительно канатами, чтобы, недостроенные, они преждевременно не устремились в залив.

Вода прибывала. Теперь уже перемещаться по улице в карете стало невозможно. Надо было еще успеть на Галерную, там уже, наверное, заливает дома, и оттуда придется перевозить людей в казармы на Крюков канал. Он послал офицера в экипаж, приказав всех матросов направлять в Адмиралтейство.

Теперь он вскочил в шлюпку и передвигался на ней по улице, как по реке.

Вода все прибывала, повсюду плавали кареты и дрожки.

Дома, на Галерной, паники не было. Всем распорядилась Екатерина. Дворовые Торсонов — Платон Григорьев и Кондратьев — переносили мебель, книги, посуду на второй этаж.

— Ты напрасно о нас волновался: с утра забегал Николай Бестужев, предупредил, помог немного, — сообщила сестра. — Мама, правда, может застудиться, она промокла, так я велела затопить печь наверху. Но что делается! Что делается!

Шарлотта Карловна, закутанная в доху, с трудом передвигалась по комнате. Куда-то запропастился самовар, и она выговаривала Лизе за ее нерасторопность.

— Мы тут за детей испугались, — сказала Екатерина, — знаешь, на углу Замятина переулка, рядом с нами, школа. Ученики там собрались в залу, хлынула вода, они залезли на скамейки, крик подняли отчаянный! Я туда с Платоном добралась, перенесли их в дом рядом. Ох и жутко было!

— Ты молодчина у нас, — отозвался Торсон и нежно поцеловал сестру в щеку.

— Это наказание господне, — вмешалась Шарлотта Карловна. — Знали старики, что так будет, да куда их слушать! Молодежи только балы на уме да сборища разные. Еще сосед наш Христофорович говорил: муравьи запасы на чердаках перебрались — уж это верная примета. Слушать не хотели. Васильевский весь залило!

— Как там у Бестужевых? — спросила Екатерина.

— Я еще не был там. Сейчас пройду к домам купца Гурьева, посмотрю, как готовят места для людей, будем перевозить из затопленных домов, потом попробую добраться к Адмиралтейству. Лодку я вам оставляю на всякий случай, Платон перевезет, если вода не спадет...

Вода по-прежнему прибывала, дома, как острова крепости, сдерживали ее напор. Щепы, мусор, сено,

доски и домашняя утварь плыли по Галерной, гонимые ветром.

Торсон побывал у Гурьева, там все было приготовлено. Потом он сел на адмиралтейский катер. Усатые матросы гвардейского экипажа дружно налегали на весла. В катере пассажиры — несколько женщин и длиннородый старик в треухе. Их отвезли к сенату, там разворачивалось нечто вроде полевого госпиталя.

Торсон решил сначала добраться на Литейную улицу, а потом уже на Васильевский остров. На Литейной был дом Стэнгрэнов. Там Карин. Вдруг его помощь необходима? Вдруг она осталась дома одна? Ведь отец ее — врач, а значит сейчас занят, забот у него предостаточно.

Адмиралтейская сторона тоже залита водой, площади превратились в озера, улицы — в реки, плиты набережных разворотило, плавучие мосты через Неву сорваны. Устоял только Самсоновский.

У Зимнего дворца на катерах командовали спасением людей офицеры Преображенского полка. На двадцативёсельном катере в носу стоял в распахнутом мундире сам граф Милорадович — генерал-губернатор Петербурга.

Вверх по реке неслись баржи, будки, крыши, трупы коров и лошадей. Если бы уцелел Исаакиевский мост! Наплавной, его буквально разорвало на части, и теперь обломки несло по реке. Ветер срывал с домов крыши, дребезжали листы оцинкованного железа, в Большую Миллионную занесло огромную баржу и перегородило улицу, как плотиной, на барже спасались люди, отовсюду раздавались мольбы о помощи — с деревьев, с фонарей, с крыш.

Люди цеплялись за борта катера, матросы вытаскивали пострадавших. Торсон накинул свою шинель на дрожащую всхлипывающую женщину. Матросы катера четко выполнили его команды. Набрав в катер людей,

они свозили их к высоким зданиям, переправляли в окна второго этажа.

Зрелище вокруг было поистине ужасное, напоминающее полотно с изображением всемирного потопа.

По Неве мимо дворца несло баржу, облепленную людьми, Торсон дал команду грести к ней, но баржу стремительно уносило дальше, катер не успевал за ней. Несколько офицеров на лошадях бросились в воду, но тоже не решились плыть вслед. Тогда от Михайловского дворца, наперерез барже, ринулся небольшой ялик — и каким-то чудом удалось задержать неуправляемую махину и снять с нее людей. Яликом командовал мичман Беляев, юноша завидной храбрости. Отличились при спасении людей Завалишин и Михаил Кюхельбекер.

После обеда вода стала спадать. Морские офицеры, участвовавшие в спасении пострадавших, собрались на Галерной. Говорили, перебивая друг друга, вспоминая события ужасного дня.

Общие испытания сближают, и сейчас не было разницы, в каком ты чине, их объединяло нечто более высокое — чувство морского товарищества, столь свойственное всем тем, кто не раз бывал в дальних плаваниях, и отнять его — это чувство, это единство — у них уже никто не может...

Моряки привыкают к постоянной опасности — от стихии их отделяет тонкая судовая обшивка, но это в море. А здесь в мирном городе, на твердой земле — вдруг утопающие, гибнущие люди...

Только к вечеру Торсон сумел добраться в район Литейной улицы. Нева, хотя и немного успокоилась, но по-прежнему была грозна, вода ее казалась тяжелой, как ртуть.

Вокруг остались следы разрушений: валявшаяся прямо на улице мебель, опрокинутый экипаж, разломан-

ные будки. Люди брели с пожитками, возвращались к своему крову, искали родных. Стены домов потемнели от воды, во многих окнах были выбиты стекла.

...Дом Стэнгрэнов он узнал сразу по пристройке с решетчатыми окнами. Нижний этаж был пуст, вода еще стояла на узорчатом паркете комнат, разбухшие книги валялись в воде, перила лестницы, ведущей на второй этаж, были сломаны, ступеньки перекошились. Торсон поднялся наверх. Одна из дверей приоткрылась, со свечой в руках вышла старушка в салопе.

— Где господа? — спросил он.

Старуха отпрянула. Наверное, вид его испугал ее — мундир мокрый, помятый. Потом она разглядела эполеты.

— Ох ты святы, я то сразу и не признала, — засуетилась старуха, — а господ нету, с утра как нету... Они тут недалеко, сразу за питейным домом, там...

— А Карин где?

— С ними она. Разве удержишь егозу!

На улице уже темнело. Неподдалеку, за ресторацией, толпились люди. Когда подошел ближе, увидел нечто наподобие бивака: прямо на мостовой горел костер, на треноге — ведро, кипятили воду, в дверях ресторации стоял Артур Стэнгрэн, усталый, взлохмаченный.

— Константин Петрович, голубчик, — обрадовался он Торсону.

— В чем помощь нужна? — спросил Торсон.

— Развернули мы гошпиталь, трудимся, не разгибаясь, — объяснял Стэнгрэн.

Сюртук Стэнгрэна был в пятнах крови. В ресторации прямо на полу лежали пострадавшие. Тут же кто-то перевязывала Сельма Эдвардовна, и буквально вылетела ему навстречу Карин. Промокшее платье облегло ее стройную фигуру, лицо ее, обрамленное белой косынкой, хотя и усталое, все светилось.

— Это вы... — обрадованно произнесла она. — Вы не ранены?

— На мне ни царапинки...

От нее он узнал, что ее отец уже более шести часов кряду врачует покалеченных в наводнение, очень много переломов, открытых ран, бинтов не хватает, какое было в доме белье — все принесли сюда.

Карин, по словам Сельмы Эдвардовны, оказалась просто прирожденным лекарем, руки у нее милосердные, сметка, без нее бы они пропали.

— Константин Петрович, идите с Карин домой, ей необходимо согреться, — сказала Сельма Эдвардовна.

Торсон взял Карин под руку, они подошли к костру. Несколько женщин, гревшихся у огня, расступились. Тепло костра сближало, он чувствовал плечо Карин, ему хотелось оградить ее от этого дня, полного страданий.

— Я очень беспокоился, — сказал он, — я чувствовал, что нужна моя помощь, но спасал других, я не находил средств достичь вашего дома.

— А я... я страшно испугалась, когда узнала, что перевернулся катер с моряками.

— Страшный день, но теперь, когда вы рядом, я не хочу, чтобы он кончался...

Карин улыбнулась. Пламя освещало ее лицо, светились блики в зеленоватых глазах. Она прислонилась к его плечу.

— Я всегда буду ждать вас, как ждала в эти дни, — сказала Карин тихо, он различал слова лишь по движению губ. — Я думала, вы совсем забыли обо мне... Мне не хотелось в это верить. Сутгоф все время говорит о вас... Я не хочу вас терять...

Теперь это была совсем другая, более близкая и понятная Карин. Они говорили тихо, казалось, ни о чем, но каждое слово приобретало второе, понятное только им, значение.

Утром в Адмиралтействе Торсон встретил Николая Бестужева. Быстрый, подтянутый Николай, как всегда, был окружен офицерами. Торсон с трудом пробился к нему, узнал, что дома у них все в порядке. Николай возмущался безалаберностью городских властей:

— Забыли мудрый закон Петра — при каждом доме содержать лодки!

— Закон законом, но кто его понудил, Петра, ставить столицу в таком гнилом месте, — вмешался молодой лейтенант с густыми черными баками.

— Сие место ближайшее к Европе и самое выгодное, — возразил Бестужев. — И для флота отменная гавань!

Торсон расспросил Николая о том, как справились в доме Бестужевых с наводнением.

— Александр пропадал у своего друга на Мойке, остальные братья — на службе. Сестры сами управились. Они молодчины. Особенно Елена! — сказал Бестужев.

— Я недавно видел Сухоцкого, — сказал Торсон. — Помнишь? Того, что подделал мою подпись? Оказывается, он совершил сие по указанию начальника Кронштадтского порта!..

— Что же ты намерен предпринять?

— Я доложу Моллеру...

— Сейчас ему не до этого! Да и вряд ли он пойдет против брата. К тому же не исключено, что это общее их предприятие — починка купцов за счет государственной казны!

После полудня прибыл начальник Кронштадтского порта. Торсон присутствовал при его докладе начальнику Морского штаба. Субординация соблюдалась, Моллер кронштадтский стоял согнувшись.

Последствия наводнения для флота были ужасны. Кронштадт к стихийному бедствию был совершенно не подготовлен. Такого наводнения остров не знал за

всю свою историю. Потоками воды были истреблены деревянные гаванные крепости, снесены в море пушки. Каменные крепости хоть уцелели, но и с них опрокинуло почти все орудия. Десятки кораблей выбросило на мель.

— Кто же позволил кораблям стать неуправляемыми! Это не есть хорошо! Что на сих судах не было команд? — спросил начальник Морского штаба.

— Экипажи были в полном составе, — Моллер кронштадтский запнулся.

Торсон понял, что на кораблях, как обычно, никого не было.

— Я должен знать истину, дабы дать рапорт государю! — резко сказал начальник штаба.

— Погибли более семидесяти человек, разрушены сотни домов! Снесло пеньковый магазин за петербургскими воротами, казенные леса и корабельные запасы разбросало по сестрорецкому берегу — придется одного леса списать на шесть миллионов рублей.

Торсон понял, что начальник порта потери леса преувеличивает, лес можно выловить, высушить. Но он в бедствии ищет выгоду и здесь погрееет руки, получив немалый куш за этот лес от купцов.

— Лес можно задержать, надо срочно организовать баркасы и моряков ластовых рот, — вмешался Торсон.

Начальник Морского штаба скривил пухлые губы и посмотрел на Торсона недоумевающе, как будто только что заметил его присутствие.

— Вы привыкли во все соваться, адъютант, это не есть порядок, у вас все легко на словах и в ваших неосмысленных прожектах. Лес уже не вернуть, вы знаете силу течений! — резко бросил он.

— Тот лес, что продают иностранным купцам, не вернуть! А этот еще можно собрать. Не весь, конечно. Но хотя бы часть!

В кабинете воцарилась тишина.

Моллер кронштадтский, повернувшись всем корпусом к высокопоставленному брату, громко отчеканил:

— Довольно! Прошу избавить меня от сего офицера! Это есть клевета!

— Клевета? — возмутился Торсон. — Только ли лес? А где медные листы, полученные для обшивки «Эмгейтена»? Их тоже снесло наводнением? Сухоцкий подтвердил, что получил их по вашему рескрипту, подделав мою подпись!

— Что есть Сухоцкий? — выкрикнул Моллер кронштадтский, и лицо его побагровело. — Это есть... болтун! Он ничего не знает! Медью сей починен корвет «Апостол»!

— Прекратите! — остановил его сановный брат. — Что за нелепый вздор? Сейчас требуется скорый доклад о наводнении, а здесь пререкания. Сейчас же замолчите, адъютант! И если я услышу еще раз подобные речи, то моя благосклонность к вам сильно переменится.

Торсон вышел из кабинета. Ему больших усилий стоило пройти ровным шагом мимо штабных офицеров. Только открыл правду — тотчас получил щелчок. «Неосмысленные прожекты» — это в глаза. А что за спиной, там в кабинете? И поди проверь — обшит ли «Апостол» медью: корвет переведен на Черное море!..

В этот и последующие дни департаменты сотрясало, как в лихорадке. Образовались специальные комитеты, комиссии по учету ущерба, многие ждали кары, но еще большее число чиновников подписывало фальшивые акты: спешили все украденное ранее, все похищенное у казны списать на счет наводнения.

Конечно, пострадали не те, кто жил в каменных дворцах, бедствие постигло простой люд, погибло много детей, многие тронулись рассудком, потеряв близких. Села, расположенные близ залива, смыло с лица

Земли — ветхие домишки крестьян не выдержали напора разбушевавшихся вод.

Комиссии произвели учет, сделали описи, доложили во дворец. Число жертв составило порядка пятисот человек. Это была явно приуменьшенная цифра. Благотворительные общества устраивали балы, повод — сбор средств пострадавшим. Осеннее небо Петербурга обильно озаряли разноцветные фейерверки.

Торсон все более убеждался, что в Морском министерстве ему не отыскать справедливости в деле преобразования флота. Пока Моллеры у власти, казнокрадство не прекратится. И всегда найдутся пособники, вроде Сухоцкого, готовые на любые сделки. Прежде чем переустраивать флот, надо переменить систему всего правления! В стране нет твердых законов, нет конституции. Кто же может добиться сего? Сперанский не у дел. Мордвинов — но что он может один? Что же делать дальше? Надо положить этому конец! Но как?.. Продолжать бороться одному на своем поприще почти бесполезно...

И был, казалось, единственный выход — завершение постройки шлюпов и дальний вояж, где только от тебя самого зависит успех изысканий, открытие новых берегов...

До конца года в Кронштадте велись работы по восстановлению крепостных укреплений, разрушенных наводнением. Матросы и мастеровые трудились от темна до темна. Торсон со своим неизменным помощником Михаилом Бестужевым занимался снятием с мели кораблей. Выброшенные на берег наводнением, бриги и фрегаты застыли в самых нелепых положениях, мачты навалились на крыши домов, снасти порвались, перепутались. Не ожидая весны, решено было стащить эти корабли на лед, покрывший воды кронштадтских гаваней. Корабельные мастера замеряли обшивку, го-

товили доски, выпаривали и гнули их в крытом эллинге.

Под кили кораблей подбивали клинья, лебедками стаскивали застывшие громады корпусов в залив. Под тяжестью корпусов тонкий лед проваливался, и корабли обретали свое место до весны.

Лебедки приспособили по распоряжению Торсона. Начальник Кронштадтского порта согнал почти всех матросов ластовых рот, приказав тащить корпуса вручную. Торсон возмутился — зачем употреблять столько людей на работы, которые могут выполнить несколько мастеровых. Забыт устав Петра Великого: «Везде употреблять машины, а если их нет, то вымышлять, дабы меньшими людьми дело управить было возможно». А здесь и вымышлять не надо, обычные лебедки, обычный ворот, закрепили блоки — и не нужно надрываться.

За день наладили тросы и нехитрые механизмы.

— К чему сей эшафодаш*? Смотрите: сорвете работы — будете отвечать! — заявил Моллер, но распоряжений Торсона не отменил.

Начало декабря было холодным, бесснежным, ветер с моря пронизывал насквозь. Чтобы согреться, офицеры тоже становились к вороту и налегали на рукоять вместе с матросами.

Матросы работали споро, после смены каждому выдавалось по чарке водки для согрева, да и Торсон умел увлечь людей своим энтузиазмом. Он жаждал поскорее закончить эти работы и вернуться в Петербург, где ждала его Карин.

По вечерам Торсон старался завести разговор с Мишелем об Аннет, о Стэнгрэнах. Но Мишель теперь мечтал только о вояже, все его мысли были о путешествии.

— Сейчас зима, дай просохнуть остовам шлюпов, — объяснял Торсон. — Привыкли у нас строить побыст-

рей. Дерево должно выстояться, а уж потом в летние месяцы следует ладить обшивку, заранее заготовив доски, пропитав их известью, чтобы не допустить гниения бортов и палуб...

В конце декабря, когда работы по стаскиванию судов были почти закончены, Торсон отправился в Петербург.

Сани легко скользили по льду залива. Возница попался веселый и всю дорогу напевал разухабистые песни. У Торсона тоже было отличное настроение, он представлял гостеприимный дом Стэнгрэнов, тепло камина, Карин...

Солнце искрило снег, на Неве громоздились большие кубы льда, заготавливаемые для ледников, будочки приплясывали, звонко хлопая рукавицами. Мерзли на плацу солдаты в киверах и зябких шинелях, офицеры кутались в башлыки, поднимали бобровые воротники. Мелькали вокруг лисьи и енотовые шубы. В морозном воздухе звонко рассыпался треск полковых барабанов.

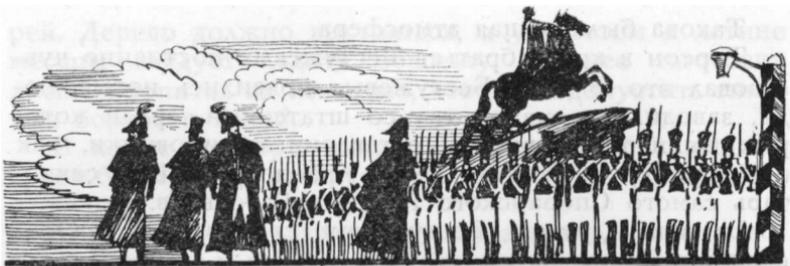
Но Стэнгрэнов в Петербурге не было: они уехали в поместье к своим друзьям Коновниным, куда-то за Нижний Новгород. Когда они вернутся, никто определенно сказать не мог. Это известие сразу омрачило его настроение. Но в столице, в отличие от Кронштадта, было весело: приближались рождественские праздники, балы давались ежедневно, устраивались маскарады и гуляния. Офицеры взяли в моду ездить к цыганам. Бился хмель холостяцких пирушек... И время от времени кто-либо из Бестужевых заезжал к нему на Галерную и увлекал к своим многочисленным друзьям...

И собирались они не для бурных застолий. Повсюду велись страстные споры. Недовольство существующим порядком высказывалось почти открыто. Продолжались эти бурные споры и на балах, и на светских раутах. Все жаждали перемен, надеялись на что-то...

Такова была общая атмосфера.

Торсон в кругу братьев Бестужевых постоянно чувствовал это. В доме Бестужевых появились новые люди, заводились знакомства со штатскими, среди которых были такие высокопоставленные чиновники, как обер-прокурор Сената Семен Краснокутский и секретарь самого Сперанского Гавриил Батеньков.

Близким другом Бестужевых стал и князь Одоевский.





Корнет конногвардейского полка князь Александр Одоевский жил в квартире на Исаакиевской площади. Квартира была просторная — восемь комнат занимали первый этаж. Князь не отказывал себе в средствах — родственники его покойной матушки, ведавшие поместьями, выдавали ему изрядные суммы.

Одоевский был в родстве с Александром Грибоедовым, сочинителем комедии «Горе от ума», которая ходила в списках по Петербургу. Грибоедов дал текст для переписки Андрею Жандру, служившему в счетной экспедиции Морского департамента. Писцы в Адмиралтействе сделали более десяти копий. Жандр обещал копию Николаю Бестужеву и Торсону, с которыми часто встречался по делам службы. Жандр и увлек друзей к Одоевскому, сообщив, что там они увидят и самого Грибоедова — умнейшего человека России.

Князь Одоевский, молодой корнет в белом расши- том мундире, был поразительно красив — высокий, с открытым живым взглядом, быстрый в движениях. Здесь же был и Александр Бестужев. Он выбежал навстречу гостям в распахнутом мундире, с бокалом в руке.

— Ты нас представишь Грибоедову? — спросил у него Николай Бестужев.

— Увы, мой тезка хочет стать соперником самого генерал-губернатора Милорадовича! Да и кого не прельстит осиная талия и ножки Катеньки Телешовой! С час назад умчался к ней с Фаддеем Булгариным. Этот издатель теперь от него ни на шаг. К тому же Фаддей спокоен — его полногрудая Ленхен в безопасности! Я и Мишель не в счет!

Князь Одоевский сразу расположил к себе Константина Петровича своей открытостью. Видно было, что он влюблен в своих друзей. В доме Одоевского любой мог найти приют, остаться, жить здесь, не испытывая никаких стеснений и ограничений.

— Господа, — воскликнул Одоевский, — извольте взглянуть: нам выдали новые кирасы и каски. Римская форма — не правда ли? Как у центурионов!

Одоевский надел на кудрявую голову нечто напоминающее головной убор римских воинов. Но даже каска не превратила его в грозного воина.

— Не знаю, на что она годится, — заметил Александр Бестужев. — Но пить из нее можно! Давайте пунш, господа! И шампанского!

Слуга принес ведро с шампанским, разогрел пунш. Они сдвинули бокалы. Тонко отзвенел хрусталь.

В спорах главенствовал Александр Бестужев, князь Одоевский не сводил с него глаз. Бестужев ввел его в Вольное общество любителей российской словесности, познакомил с Антоном Дельвигом и Евгением Баратынским. Одоевский сам пробовал сочинять. Недавно закончил нечто вроде поэмы о наводнении, где язвительными эпитетами выражал сожаление в том, что воды Невы не поглотили царское семейство. Теперь Александр Бестужев просил почитать эти стихи, Одоевский отнекивался, он не запоминал свои творения и имел привычку тотчас сжигать написанное.

— Как прекрасно, что вокруг меня столько друзей! — с пафосом произнес князь Одоевский. — Нам

нужно чаще встречаться! Говорят, офицеры на юге более сплочены, чем здесь в столице!

— Это истина, — поддержал его Александр Бестужев, — недавно приезжал в Петербург полковник Павел Пестель. Решительный ум. К сожалению, господа, я не могу распространяться обо всем, но там на юге...

— Здесь тоже есть место для приложения сил, — перебил его Николай, — все до поры до времени.

Торсон молча наблюдал шумное застолье, ему казалось, что все вокруг много моложе его, что слишком оптимистично настроены, ибо считают, что могут весьма просто все разрешить. Но они разрозненны в Петербурге и там, на юге. Честные люди... Не перемелют ли их жернова власти, уничтожив высокое горение... Надо четко определить, чего же мы хотим.

— Прежде всего необходима свобода! И гибель деспотов! — Александр Одоевский резко встал из-за стола и вышел на середину комнаты.

— Кому свободы? — остановил его Николай Бестужев. — Вам, князь, или вашим крепостным?

— Как только я вступлю в полное владение именьями, я отпущу их в вольные хлебопашцы!

— И они тотчас попадут к вам или к другому владельцу в еще большую кабалу! — продолжил Николай. — Ведь у них нет никаких прав! Кто их защитит? Где они найдут правду? Они, не знающие грамоты, забитые? Вы пробовали искать правду в судах? А мне пришлось. Много лет наша семья была лишена пенсии за отца, и никто не мог прекратить сие беззаконие. Я узнал, как могут тянуть жилы, как умеют вымогать взятки! Отсутствие твердых законов тому причина! Нам нужен в первую очередь парламент!

— Но парламент тоже может оказаться всего лишь формой, как в Англии, где он не мешает правительству разорять народ! — заметил Александр Бестужев.

Спор разгорался, застолье стало шумным, говорили,

перебивая друг друга, азартно, страстно. Торсон молча слушал друзей.

— У меня есть одна мечта, — сказал ему Александр Бестужев, — расшевелить тебя! Тебе надо влюбиться — вот единственный рецепт, который я знаю!

Торсон улыбнулся. Александр Бестужев все раны лечит одинаково — он не устает влюбляться, разочаровывается и снова увлекается. Ужели вся радость бытия заключена в любви.

— А может быть, ты уже давно влюблен! — вдруг осенило Бестужева. — Мишель рассказывал мне... И как всегда таишься?

— Оставь, разве что-нибудь скроешь от тебя...

— Меня убивает твоя педантичность и медлительность в амурных делах! В тебя была влюблена столь очаровательная прелестница Мари, а теперь и младшая подросла — Карин... А ты?.. Днями мне Сутгоф говорил, что за Карин посватался коллежский советник. Неужели ты согласишься, чтобы какой-то статский перешел тебе дорогу!

Торсона как будто оглушили слова Бестужева: он попытался улыбнуться и не смог, кровь прилила к лицу. Неужели это правда? А он уверовал, что Карин будет ждать. Как она могла согласиться? Как? Значит, ее влюбленность была просто игрой?..

А он что предпринял? Искал ли встреч? Все время в Кронштадте... Значит, сам повинен в происшедшем. Карин в таком возрасте, когда чувства еще переменчивы, а он столь долгое время не решался открыться — лелеял любовь в душе, не сделал решительного шага...

— Ну что ты? — тронул его за плечо Александр. — Не принимай близко к сердцу! Идем к столу, сейчас заставим этого ленивого гвардейца вспомнить свои вирши! Князь, — сказал он, обращаясь к Одоевскому, — начинай!

Все говорили горячо, читали едкие эпиграммы...

Торсон ушел по-английски, не прощаясь. От дома Булатовых он долго брел пешком. Ему не хотелось возвращаться домой. Мелькнула мысль кликнуть извозчика, помчаться к Стангрэнам, но он сразу же откинул ее, представив всю нелепость ночного визита.

Пусть она будет счастлива, зачем разрушать ее судьбу. Семья, покой — не для него! Но как, как же все произошло? Куда же улетучились ее мечты о путешествии вдвоем? Все следующие дни он старался убедить себя, что происшедшее закономерно, что надо забыть Карин. Но его всюду преследовал ее звонкий голос, он видел ее глаза, затаенную улыбку — это было как наваждение.

Николай Бестужев понимал друга. В разговорах он старался не касаться Стэнгрэнов, лишь однажды сказал:

— У нас с тобой одна судьба, и ей противиться не будем. Видно, не дано нам испытать счастья в любви...

По настоянию Николая Торсон стал участвовать в заседаниях Вольного общества любителей российской словесности. Общество это проводило свои заседания и крепло, несмотря на то, что на всевозможные объединения мыслящих людей стали неодобрительно коситься при дворе и пытались искоренять их. Одна за другой исчезали артели, масонские ложи, прекращены были даже заседания богословских и коммерческих обществ. А здесь, в обществе любителей словесности, по-прежнему шумели и витийствовали люди, одаренные способностью к сочинительству, полные свободолобивых устремлений. Можно запретить все, но не литературу! Ходили по Петербургу списки с комедией Грибоедова, с радищевским «Путешествием», переписывались стихи Пушкина, Рылеева.

Торсону казалось неудобным, незаслуженным входить в общество, где заседали талантливые литераторы, он ссылался на занятость в Морском штабе, в Кронштадте, но Бестужев отговорок слушать не хотел.

Торсона приняли единогласно без представления ученого упражнения, положенного для каждого вновь принимаемого. Приняли по рекомендации Бестужева. Торсон знал, что в литературной среде его друга считают талантливым писателем, а его путевые очерки почитают за образец высокой прозы. Впрочем, и неудивительно: в написании очерков Бестужев оказался столь же силен, как и в любом деле, за которое он брался. Он был не просто рядовым членом Вольного общества любителей российской словесности, а входил в комитет, был даже избран кандидатом в помощники президента.

У литераторов ходило мнение, что Бестужев непременно должен бросить морскую службу и отдаться полностью литературным трудам. Впрочем, художники тоже не без основания полагали, что главное призвание Николая — живопись, и кто здесь был прав, Торсону решить было трудно, ибо он-то твердо был уверен, что Николай рожден для моря, что именно он сможет прославить российский флот и порадеть с успехом на пользу навигационных наук. И именно Николай напишет настоящую историю флота!

Начальные главы созданной им истории флота были рассмотрены не только в ученом собрании Адмиралтейского департамента, где прославленные адмиралы встретили труд полным одобрением, но и на заседании Вольного общества любителей российской словесности. Триумф был не меньший. Единогласно было решено — опубликовать ее в «Соревнователе просвещения» — журнале, издаваемом обществом.

— На месте господ бога я даровал бы тебе четыре жизни, — сказал как-то другу Торсон, — одну ты бы провел в вояжах и морских баталиях, в другой создавал бы хитроумные приборы и строил корабли, затем прожил бы жизнь живописца и, наконец, еще одну жизнь как литератор, чтобы описать те три жизни!

— Спасибо на добром слове, — ответил Бестужев, — жизнь одна, и прожить ее надо так, чтобы творить постоянно благо отечеству!

Все братья Бестужевы были наделены литературным даром. Торсон не раз слушал длинные романтические баллады Мишеля: здесь были и неприступные замки, и ливонские рыцари, и прекрасные девы, и новгородцы. Так все перемешать умел только Мишель, но отнять у него пыл, остудить его критикой было невозможно. Торсон научился терпеливо слушать рифмованные строки, и Мишелю он обязан тем, что ему стала близка поэзия, что открылся легкий слог Пушкина, и теперь даже не представляется, как можно не понимать прелести и изящества русского стиха. Ему читал свои творения и Александр Бестужев, пылкое воображение которого беспредельно, статьи — красноречивы и остроумны.

И все-таки то, что пишет Николай, весомее, понятнее. Наверное, потому, что Николай и в литературе остается моряком, человеком, влюбленным в просторы океана. Вряд ли найдется в России писатель, способный столь живо передать прелесть морских вояжей!

В декабре Торсон участвовал в очередном заседании Вольного общества любителей российской словесности. Договорились, что Николай заедет за ним ровно в шесть вечера. Торсон к этому времени был дома. Сам всегда точный, он решил, что если в течение пятнадцати минут Николай не появится, то он не поедет и никаких заседаний, лучше заняться перерасчетом трюмов.

Николай вбежал в комнаты запыхавшийся, в шинели, румяный от мороза, стал торопить.

— Оставим эту затею, — сказал Торсон, — заседание уже началось, нам будет весьма неудобно!

— Ну не будь педантом, что ты первый год в Петербурге! Увидишь, мы еще будем первыми!

...В просторной, светлой гостиной Александр Бестужев звонким голосом читал свои критические опысы. Присутствующие расположились в глубоких креслах, расставленных подле массивного круглого стола. В основном это были штатские, в черных сюртуках, в рединготах.

— Простор подле умов высоких порождает гениев: они рвутся расширяться душою и наполнить пустоту! Они озаряют все человечество! Они не могут быть в стороне от веяний века! — Александр Бестужев говорил страстно, взволнованно.

Гул одобрения пронесся по залу.

— Поразительная острота мысли! — воскликнул долговязый человек в штатском, сидевший впереди Торсона.

— Это брат Михаила Кюхельбекера, лейтенанта из гвардейского флотского экипажа, Вильгельм Кюхельбекер, весьма талантливый поэт! — шепнул Николай Торсону.

— ...Мы удивляемся только чужому, — продолжал Александр Бестужев.

Торсон впервые видел его в обществе не в офицерском мундире, а в черном фраке, лицо Александра было подвижным, выражение все время менялось, он взмахивал руками, и казалось, вот-вот запарит над залом.

— Наша литература выросла из французской, — продолжал он, — несходной с нашими правилами, мы слишком ленивы и недостаточно просвещены, мы мыслим ошупью, жизнь требует движения, а ум — дела!

— А Державин! А Жуковский! — возразили ему сразу несколько голосов.

— Они обласканы, почести задушили их! Вспомните, Гомер, нищенствуя, пел свои бессмертные песни,

Шекспир под лубочным навесом возвеличивал трагедию, Вольтер лучшую свою поэму написал углем на стенах Бастилии...

— Пушкин в изгнании подает нам ярчайшие примеры, — поддержал фальцетом Вильгельм Кюхельбекер.

— Пушкин — наш Прометей! Наши неудачи испускают его творения! — Александр повысил голос. — Господа! Его поэма «Цыгане» не принадлежит еще печати, но уже принадлежит словесности. В ней сверкают очерки вольной жизни и глубоких страстей! Пушкин воспламеняет наши мысли огнем гения! Поэт бросает вызов веку! Он не должен и не умеет молчать и раболепствовать! И поэзия наша оживает! Тому свидетельство новая рукописная комедия!

Все повернулись к человеку, сидящему рядом с Фаддеем Булгариным, издателем «Северной пчелы». Человек этот, несмотря на взгляды, обращенные к нему, не шелохнулся. Сквозь толстые линзы очков он смотрел пристально на собравшихся.

— Это рукописная комедия господина Грибоедова, присутствующего сегодня среди нас! — произнес Александр Бестужев. — Это феномен, какого не видели мы со времен «Недоросля»! Будущее достойно оценит сию комедию и поставит ее в числе первых творений народных!

Следует уповать только на будущее, — подумал Торсон, — так везде и во всем, процветает безнравственность, а таланту обещают только будущее. Как-то адмирал Рикорд сказал, что проекты его, Торсона, для будущего, что их оценят через десятки лет, будут строить по ним. Но ведь через десятки лет найдут пути и получше для устройства кораблей. Мы сами замедляем свое движение, сами!

Когда Александр Бестужев закончил, бурно заплодировали, в гостиной стало шумно, все пришло в движение. Большинство тянулось к Грибоедову.

Торсон вдруг почувствовал, как одинок этот человек, привлекающий всеобщее внимание. Быть автором неизданной комедии и в то же время дипломатом, говорят, даже пользующимся покровительством высоких сановников. Строки его комедии повторяют наизусть во всех салонах, а он занят устройством дел на Кавказе!

— Только у нас умеют так пренебрегать талантом! — сказал Бестужев.

Торсон кивнул. Он старался не отходить от Николая, который здесь, в обществе любителей словесности, был своим, становился как бы центром притяжения, с ним обменивались суждениями, просили одобрения, поддержки. Он знакомил своих литературных товарищей с Торсоном. Представлял друга с пафосом: «Старший адъютант министра флота его величества — талантливейший человек!»

Они перемещались от одной группы к другой. Обрывки фраз, строки стихов, возгласы. «Талантливо! Восхитительно! Шедевр!»

Высказывались смелые, крамольные мысли. Высказывались без оглядки.

Общество недаром называли «ученой республикой», здесь обсуждались не только литературные опусы. Говорили о вольных хлебопашцах, о наделении крепостных земель, об Иване Якушкине, давшем вольную своим крестьянам, и находили, что его примеру должны последовать многие. Осуждали запретительную систему в торговле...

Людей случайных, чуждых свободолюбивым веяниям не встречалось, а если и попадал в общество такой человек, его с позором изгоняли.

Так было с Каразиным. Пушкин во время возвращения императора из Варшавы, где тот на открытии польского сейма пообещал конституцию, написал свой знаменитый «Noel»: «Ура, в Россию скачет кочующий

деспот...» Каразин, втершийся в Вольное общество любителей словесности, сделал донос министру внутренних дел Кочубею, что стало поводом к ссылке поэта на юг. Общество изгнало Каразина, а Федор Глинка, служивший чиновником особых поручений и адъютантом у графа Милорадовича, не упустил случая, наказать доносчика. Во время следствия по делу Семеновского полка Глинка, чтобы спасти истинного автора крамольных прокламаций, найденных в Преображенских казармах, подсказал графу, что здесь видна рука Каразина, и тем самым подверг каре правительственного шпиона.

Торсон пришел на заседание всего второй раз, он старался не вмешиваться в споры, хотя и было все очень близко его мыслям. Все разговоры шли о комедии Александра Грибоедова. Торсон читал ее в списках. Комедия, безусловно, должна стать достоянием сцены! Сегодня Николай подтвердил, что делается все возможное, чтобы дать ход пьесе, Грибоедов читал ее уж высокопоставленным сановникам.

— Времена меняются, — сказал Бестужев, — никто не хочет быть осмеянным и прослыть ретроградом. Все хохочут до колик, не воспринимая резкости комедии на свой счет, и заявляют в один голос: «Гениально!» Глинка устроил встречу Грибоедову с Милорадовичем. Генерал, страстный любитель императорского театра, выслушав комедию, воскликнул: «Разрешить ее играть в театре — значит изменить своему отечеству. Здесь же нет ничего святого!»

— Я не понимаю осторожности боевого генерала, — заметил Торсон, — писать правду значит желать блага отечеству, значит печься об устранении зла на пользу государству!

От Грибоедова ни на шаг не отходил Булгарин. В своей неизменной черной венгерке, толстый, подвижный, он всем угождал и всем давал понять, что

Грибоедов его лучший друг, что в создании комедии и его, Булгарина, немалая заслуга.

— Почему он здесь? — спросил Торсон у Николая Бестужева.

— Ты прав — тот, кто хоть раз предал отечество, не преминет повторить сие! Ему здесь не место! — сказал Бестужев.

Булгарин сделал вид, что не расслышал оскорбительных слов, и нарочито громко, обращаясь к Вильгельму Кюхельбекеру, продолжал говорить о намерении опубликовать комедию в новом альманахе «Русская Талия».

— Вот за это ему можно все простить, не так ли, Константин? — сказал Александр Бестужев.

Торсон не ответил. Пусть, конечно, оправдывают действия Булгарина: мол, таковы были обстоятельства, попал в плен, вынужден был воевать на стороне французов. И все же такое ничем - не смоешь! Почему с этим издателем дружен Александр Бестужев, хотя и подсмеивается над ним? Адресует ему письма не иначе, как «господину капитану французских войск в отставке». Как может Грибоедов мило улыбаться этому беспардонному толстяку?

А Булгарин восторженно читает наизусть стихи из комедии, сбивается, заразительно хохочет, восклицает:

— Каков Молчалин! А Фамусов! Не в бровь, а в глаз. Конечно, кое в чем сверх меры. Но это поправимо!

— Ну полно, господа, — наконец произнес Грибоедов, — почему только о моей комедии? Что нет других новостей? Едем к Одоевскому, господа, он ждет нас! Да и не хватит ли споров? Пора заменить слова делом!

Дома, на Галерной, уже спали, стояла тишина, лишь потрескивали березовые плашки в камине. Тор-

сон долго перебирал бумаги. Больше всего на свете он любил эти ночные часы, когда мысли ясны, когда остаешься один, вне суеты, вне мелочных забот. «Пора сменить слова делом» — так, кажется, сказал автор знаменитой комедии. А где это настоящее дело? Разве можно свершить что-либо в стране, где царит дух рабства. Комедия запрещена цензурой. Правда никому не нужна. Как это у него?.. «Я князь — Григорию и вам фельдфебеля в Вольтеры дам, он в три шеренги вас построит, а пикните, так мигом успокоит».

Доказывать что-либо сановникам, жаждущим собственных выгод, разоряющим казну, все равно, что головой биться о корабельную переборку: за шумом волн никто сих звуков не услышит. Изменишь ли что-либо своими делами и идеями! Сколько можно устилать своим трудом путь к карьере высокопоставленным тупицам! Создавать им славу, питать их своими мыслями. Да дорого ли им отечество! Им равно где находиться — в этой стране или в другой. Все они чужеземцы, чужеземцы душой. Все эти Моллеры, Траверсе, Дибичи.

Если живешь в России, если эта страна твоя родина и ты проливал кровь за нее, если ты плоть от плоти с ней, с ее народом, возможно ли не любить ее... Важно не происхождение, главное — кто ты сам. Достойный сын отечества или просто искатель легкой наживы. Переделывают имена — Иоганны становятся Иванами, Антуаны — Антонами, — а в сердце ненависть к стране, вскормившей их. Сколько брезгливости ко всему русскому у начальника Морского штаба Моллера, и он не скрывает этого! Где же настоящие российские флотоводцы? Почему талантливейший адмирал Дмитрий Сенявин в опале? Вокруг иноземцы, в полном смысле этого слова. А герои войны выходят в отставку, не выдерживая несправедливых обид, притеснений и всей никчемности плац-парадной системы.

И вот новые назначения: Карл Пирх — командиром лейб-гвардии Преображенского полка, в лейб-гренадерский — Стюрлера, в Московский полк — барона Фредерикса. Многим ли они отличаются от самодура Шварца, погубившего Семеновский полк? И такие же иноземцы те, кто мнят себя подлинно русскими, ведут род от древних бояр, а отечеству несут разорение. Такие, как Аракчеев и его свора. Жестокие тираны, презирающие, закрепостившие народ. И доколе терпеть сие? Доколе будут молчать просвещенные умы и дремать правосудие?

Камора-музей располагалась в здании Адмиралтейства. Николай Бестужев переправил сюда свои станки, инструмент, здесь он все время что-то вытачивал, выпиливал, клеил. Делал модели кораблей, собирал материалы по открытиям и путешествиям, систематизировал все, составил указатель с кратким описанием экспонатов. Как и все другие увлечения, а работа всегда превращалась для него в страстное увлечение, музей поглотил все его время. Он дневал и ночевал в Адмиралтействе. Чиновники счетной экспедиции были недовольны, жаловались начальнику Морского штаба на беспокойного капитан-лейтенанта: мол, эти стуки сбивают расчеты, отвлекают, и кому нужны все эти затеи, игрушки-модели! Николай с Моллером постоянно столкивался, часто их разговоры происходили на повышенных тонах.

Бестужев позволял себе смелые высказывания, и казалось, что он говорит не от себя лично, что за его спиной все флотские экипажи, готовые по его слову подняться и взять на бордаж любой департамент, тормозящий дело.

Торсон часто заходил к другу в камору-музей. Они говорили подолгу о делах на флоте.

Бестужев возмущался, отбрасывал инструменты, ме-

рил большими шагами зал, превращенный в мастерскую и заваленный будущими экспонатами.

— Вот увидишь, — восклицал он, — так долго не будет продолжаться! Возмущения в поселениях — первые сигналы! Страна, заведенная в тупик, просыпается ото сна!

— Будь осторожен, — советовал ему Торсон, — особенно здесь, в Адмиралтействе!

— Ты прав, — соглашался Бестужев, — вокруг полно доносчиков, даже среди литераторов. Ты помнишь Булгарина? Этот продаст отца родного, коли будет угодно графу Милорадовичу. Но если бояться доносов, если жить, угодничая и скрывая свои мысли, то лучше и не жить вовсе!

— Я не боюсь доносов, — возразил Торсон, — еще ни один мой шаг, ни одно мое слово не были направлены против пользы отечества. Но что можно сделать в одиночку? Я убедился, что нельзя ввести переустройство на флоте, не изменив существующих порядков повсеместно. Но люди, радеющие за общее благо, нынче не в чести. Вот если бы они, все честные люди, объединились и заявили открыто все меры, противные развалу и расхищению казны, государь, возможно, и поддержал бы их и даровал бы народу конституцию с твердыми законами!

— Государь? — переспросил Бестужев и улыбнулся.

— Но ведь заявил он в речи на Варшавском сейме, что в скором времени намерен дать конституционное правление народам!

— После того сейма многое изменилось, — возразил Бестужев.

Торсон отошел к верстаку, где лежали полированный корпус модели и свежеструганные рейки. В музее пахло сосной и варом, как на верфях.

— А если, как ты говоришь, честные люди объединятся, ты будешь с ними? — спросил Бестужев.

И по тону вопроса Торсон понял, что задан он не случайно, что за ним кроется нечто серьезное.

— Я бы почел за честь быть в их рядах, — ответил он. — Но кто они?

— Я открою тебе, — сказал Бестужев, выражение его лица стало сосредоточенным, — я открою тебе... Не думай, что я хотел это от тебя скрыть, просто не было решено. Такое общество существует. Пока оно тайное. Люди, составившие его, готовы не щадить живота на пользу России, дабы привести ее к свободному правлению на основе законов. Я получил согласие на прием тебя!

Торсон, обычно сдержанный в вопросах, довольствующийся тем, что ему сообщено, на этот раз хотел узнать от Бестужева все досконально. Он, конечно, доверял Николаю, но возникали сомнения — не поддался ли Николай с его увлеченностью на доводы мечтателей и фантазеров? Не будет ли это очередной масонской ложей?

И чувствуя его сомнения, Бестужев продолжил:

— Это общество существует уже давно, оно не возникло случайно. Это союз единомышленников! Вначале это был Союз Спасения, потом Союз Благоденствия с его уставом — «Зеленой книгой», и наконец сегодня — это обширный тайный союз, соединивший всех честных и просвещенных людей. Общество имеет несомненную силу, есть люди с именем и положением, генералы и сановники, готовые привести в действие войска. Люди, не боящиеся риска и готовые пожертвовать жизнью на благо народа! Герои двенадцатого года! И время перехода от слов к делу пришло — терпение не бывает беспредельным!

— И как скоро мыслится введение законов? Приготовлены ли они? — остановил его Торсон.

— Пока еще трудно назвать срок, — ответил Бестужев, — нужно время, надо просветить народ, сделать

его достойным свободы! Надо заставить зазвучать ве-
чевой колокол Новгорода!

— Но для сего нужна гласность, а не тайна. Надо раскрыть глаза всем сословиям на беззакония, взять меры, чтобы не допускать назначения на высокие посты лихоимцев, невежд, казнокрадов!

— Но, ежели сразу открыться, не сплотив единомышленников в союз, будет ли этому делу содействовать успех? — заметил Бестужев. — Вспомни свои деяния? Возможно ли добиться блага, коли в правлениях и министерствах восседают сановники, подчиненные не законам, а воле и настроениям одного человека?

— Ты прав,—согласился Торсон,—общество должно обрести силу, умножиться, тогда перед лицом его монарх последует примеру Иоанна Безземельного и дарует хартию вольностей, коей народ российский достоин не менее англичкого!

— Готов ли ты содействовать сему?

— Передай тем, кто стоит во главе общества: мысли мои согласны с их направлением!

Дав согласие на вступление в тайное общество, Торсон не хотел просто числиться в составе этого общества, он ждал от Николая Бестужева каких-либо реальных поручений, жаждал внести свою лепту в дело, которое, как он чувствовал, стало делом жизни Николая, и только ли Николая. Теперь и он, Торсон, в достижении цели не будет биться в одиночку, ибо рядом пока еще неизвестные ему, но единомышленники! И весьма возможно, что и Головин, и Мордвинов тоже в обществе, они не могут оставаться вне сего движения!

Наконец Николай Бестужев сообщил Торсону, что его хочет видеть один из директоров тайного союза.

В этот февральский вечер в столице мела метель. Желтый свет фонарей едва пробивался сквозь хлопья

мокрого снега. Они с трудом разыскали извозчика и сквозь пургу помчались по площади, затем через Синий мост на набережную Мойки. Там, в доме Российско-Американской компании, их ждал Кондратий Рылеев.

Торсон не был знаком с Рылеевым, хотя и видел его несколько раз на заседаниях Вольного общества любителей российской словесности. Он и не предполагал, что этот пылкий поэт является одним из руководителей тайного общества.

В прошлом году Рылеев стал правителем дел канцелярии Российско-Американской компании. До этого он и его друг, бывший лицеист, коллежский ассессор, Иван Пущин, совершили необычный по тому времени шаг — они вышли в отставку и решили служить отечеству, восстанавливая справедливость в судах. Оба они стали заседателями Петербургской палаты уголовного суда. О деятельности их в суде по стране быстро разнеслась добрая молва, их заступничества искали униженные и несправедливо притесненные. Но два человека не в силах были сломить действующую практику взяточничества и несправедливости.

Российско-Американская компания привлекала Рылеева своей деятельностью, открывала новые перспективы в приложении сил для служения на благо отечества. Усилиями компании осваивались далекие земли, развивалась торговля с Америкой. Рылеев по характеру был столь же энергичен, как и Николай Бестужев. Он с успехом вел дела компании, сочинял поэмы, выпускал альманах «Полярная звезда» и горел желанием укрепить союз свободомыслящих людей.

В прихожей Торсона и Николая встретил Агап Иванович — крестьянин из Великих Лук, прислуживающий в доме Рылеевых. Он стряхнул снег с шинелей, изучающе посмотрел на Торсона.

— Свои, свои! — сказал ему Николай.

В коридор выбежал Александр Бестужев, ставший в последние годы самым близким другом Рылеева. Они шумно поздоровались. Дверь в кабинет была открыта. В просторной комнате Кондратий Федорович складывал какие-то бумаги.

— Мы думали Греч заявился! — объяснил Александр Бестужев. — Вот и прибираем от его глаза. Прочтет — наутро всему Петербургу известно!

— Вы уж извините, что не встретил! — Рылеев подошел к ним, обнял Николая, поздоровался с Торсоном.

Глаза у Рылеева были большие, казалось, что они излучают свет. Рылеев стоял у досок, обтянутых холстом. На них лежали листы корректур альманаха, пахнущие типографской краской. Торсон увидел проволоку, прикрепленную к поясу Рылеева, и, сразу поняв, зачем она, улыбнулся.

Это все Николай придумал! Изумительно удобно, — сказал Рылеев, — время экономит!

Проволока тянулась от пояса к свече, укрепленной на другой более толстой проволоке, висящей над доской. При передвижениях Рылеева свеча скользила по толстой проволоке, ее не надо было переносить.

Лицо у Рылеева было серьезное, но когда он улыбался, неожиданно изменялось, становилось необычайно обаятельным. Белизну кожи подчеркивали совершенно черные, завитые по моде волосы, узкие бакенбарды. Рылеев отвязал от пояса проволоку, быстро ходил по комнате, голову при этом наклонял вперед, как бы устремляясь в поисках простора, и говорил, почти не переставая.

Александр Бестужев уселся на кожаный стул, по обыкновению поджав под себя ногу. Он смотрел на Рылеева влюбленными глазами и почти во всем соглашался с ним. Александр в этом году настолько сблизился с Рылеевым, что, имея квартиру рядом с Юсу-

повским садом, забросил свои роскошные апартаменты и постоянно находился в доме Российско-Американской компании, дневал и ночевал здесь и даже библиотеку свою потихоньку перетащил в комнаты Рылеева. И кабинет у него был во флигеле, где ему лучше всего писалось, как он уверял Торсона.

Рылеев, стремясь распознать нового члена общества, чаще всего обращался к Торсону — он пытался оценить, насколько будет полезен обществу морской офицер, приближенный к министру, могут ли быть в подчинении у него экипажи и корабли, сколько и какие.

Говорили о путешествиях Головина, о людях, составивших гордость российского флота.

— Иван Крузенштерн, Фаддей Беллинсгаузен, Михаил Лазарев — их изыскания вывели Россию на океанский простор, и только благодаря им еще существует у нас флот! — с жаром сказал Николай Бестужев.

— У нас, в Российско-Американской компании, всегда жаждают видеть деятельных мореплавателей, — заметил Рылеев, — здесь их ждут настоящие дела, в иных любых начинаниях — спертость, духота! Здесь же есть надежда, что в новых землях способны жаждущие обрести свободу!

— Многие флотские офицеры стремятся на суда компании, — подтвердил Торсон.

— У них здесь своя республика, с флота берут самых лучших, — сказал Николай Бестужев.

— До своей республики еще далеко, — улыбнулся Рылеев. — Но было бы здорово купить земли в Калифорнии и основать колонию независимых. Собрать там тех, кто хочет жить без произвола, не зная лихоимства и беззакония! А?.. Интересная мысль?

— Но как же? — возразил Александр, до этого во всем соглашавшийся с Рылеевым. — Я не мыслю счастья вне своего народа, я не мог бы быть счастлив, когда

тираны продолжали бы пить кровь моих соотечественников, а я пребывал бы в Калифорнии! Вот Торсон, он часто бывал в длительных вояжах, видел иную жизнь. Скажи, Константин, тебе не хотелось там, в Бразилии, бросить напрочно свой якорь или вступить в ряды борцов за независимость в любой иной стране, где происходит революция?

— К чему такой вопрос, коль в своем отечестве возможны перемены? — ответил Торсон.

— Я рад, что вы мыслите именно так! — воскликнул Рылеев. — Сейчас я понимаю, что любой честный человек не будет искать иного пути. Калифорния слишком далека и призрачна. Мы добьемся освобождения своего отечества! Именно здесь от нас ждут решительных действий! И нас большинство, стремящихся сокрушить деспотизм. И он рухнет! Стоит только заявить об этом громогласно!

— Ах, если бы ты был прав, — возразил Николай. — Я завтра же встал бы у входа в Сенат, собрал шкиперов с лужеными глотками, и мы провозгласили бы свободу. Но нас ведь никто не станет слушать. Просто обявят сумасшедшими.

— Ты ошибаешься, брат, — сказал Александр, — у нас есть поддержка везде.

— Я знаю, ты хочешь сказать, и в Сенате?

— И в Сенате тоже!

— История покроет позором тех сенаторов, которые не примкнут к нашим рядам! — сказал Рылеев. Он остановился посредине комнаты. — Отечество ожидает общих усилий, полной отдачи от каждого честного гражданина. Души с благородными чувствами должны стремиться к свержению деспотизма, а не пресмыкаться во тьме. Зло следует уничтожить, ибо оно, чувствуя безнаказанность, расплозается и разъедает общество!

Его речь лилась плавно, он весь горел благородными чувствами. Торсон подумал, что если бы каждый

имел возможность выслушивать Рылеева, то ряды тайного общества умножились. Он рожден для парламента. Истинно народный трибун!

Рылеев подошел к столу, взял кружку с водой, ломтик лимона и сделал несколько глотков.

— Может быть, изопьем чая, господа? — предложил он.

Будто услышав его слова, в кабинет вошла его жена, Наталья Михайловна, высокая, миловидная женщина. Ее представили Торсону. Константин Петрович поцеловал смуглую руку и на слова Александра Бестужева, обращенные к Наталье Михайловне: «Вот, Натали, наш неподкупный Катон!», смутился и заметил:

— Меня сегодня пытаются возвысить мои друзья в глазах вашего мужа. Хочу заметить, что сие определение больше подходит ему, слава и бескорыстие его в судах известны всему Петербургу!

— Но еще больше известна красота его жены, — вставил комплимент Александр.

Жена Рылеева была очаровательна — смуглая кожа, темные глаза, плавные движения. Наталья Михайловна несколько дней назад вернулась из имения Рылеевых, расположенного неподалеку от Петербурга, в Тайцах. В деревенской тиши она успела соскучиться по обществу и не хотела никого отпускать, настаивала на том, чтобы гости поужинали. Николай отказался, Торсон тоже, сказал, что его ждут дома.

— Бог вас простит, господа, но это нечестно, — обиделась Наталья Михайловна.

— Никуда они не уйдут, душенька, — успокоил ее Кондратий Федорович, — сейчас мы договорим, жди нас в столовой.

— Ну отпусти со мной хотя бы Николая Александровича, не как заложника, нет, он просто мне нужен. В этом доме без него все рушится. Часы в гостиной

стоят, а я так привыкла к их мелодичному бою, да и Настенька тоже.

Дочь Рылеева, Настенька, маленькая девочка шести лет, выглядывала из-за дверей, ожидая своего кумира. Николай уже искал необходимый инструмент.

Когда они ушли, Александр пошутил:

— Смотри, Кондратий, отобьет этот дамский угодник у тебя жену. Женщины любят, когда мужчина умеет все делать сам. За ним нужен глаз, тоже, пожалуй, пойду посмотрю...

Рылеев взял Торсона под руку, подвел к письменному столу:

— Рекомендация Николая Бестужева для меня, да и для всех в обществе, весьма весома, а теперь я вижу воочию, что он нисколько не преувеличивал. Я рад, что вы с нами!

— Благодарю за столь лестное мнение, — сказал Торсон. — Я понял, что бороться в одиночку значит обречь дело на поражение. Николай вдохнул в меня надежды на скорое переустройство. Стало даже свободнее дышать, когда понял, что не один, что есть, хотя и тайные, но люди общих со мной стремлений. Я желал бы принести пользу обществу, пользу делу, несущему благо всей стране! Что касается службы и карьеры, то я готов и этим пренебречь! Личных благ я не ищу!

— Нет, нет, — остановил его Рылеев, — дела службы должны быть едины с делами общества. Напротив, чем прочнее будет ваше положение в Морском штабе, тем больше пользы вы сможете принести обществу.

— Каковы же мои задачи? — спросил Торсон.

— Пока еще не настало время выступления, но надо торопить его и готовить, — ответил Рылеев, — а посему искать людей, близких по устремлениям, принимать в общество флотских офицеров, хорошо бы создать морскую отрасль общества в Кронштадте. Вы

близки к флотским экипажам, вы знаете, на кого там можно положиться.

— Лучше, конечно, вовлекать в общество людей, имеющих вес, — заметил Торсон, — таких, как генерал Головнин и сенатор Мордвинов, тех, кто имеют влияние при дворе...

— Я думал - об этом, так, конечно, было бы действеннее, но не всегда нас поймут сановники, пользующиеся всеми благами и при деспотическом правлении...

Торсон внимательно слушал Рылеева и удивлялся той перемене, что произошла в этом резком и пламенном человеке. Сейчас, оставшись наедине, Рылеев говорил спокойно, сдержанно, чувствовалось, что он заранее обдумал свои предложения, что он ищет практических путей для изменения существующего правления.

Торсон видел образец правления в английской системе, ему нравилась постановка службы на флоте в Англии, ему казалось, что английский парламент блюдет законы.

Рылеев возражал ему:

— Англия не может быть примером подражания на путях к свободе, она сама в тяжелом рабстве от аристократии и освободится после всех! Она стремится поработить другие народы. Страны прочие должны ждать примера от России. У нас интервенты не смогут задушить революцию, как они это сделали в Неаполе, Пьемонте и Испании!

— К вам можно? — спросила, приоткрыв дверь, Наталья Михайловна. — Скоро ли вы? Константин Петрович, Кондратий, наверно, замучил вас своими стихами?

— Напротив, ни одной рифмы, — откликнулся Рылеев.

— А у нас часы пошли, — радостно сообщила Наталья Михайловна. — Идемте, ровно девять, сейчас бу-

дет бой. Оцените мелодичность, Константин Петрович, музыка в них ну просто чудо! И все Николай, что бы мы делали без него! Руки у него золотые!

Они прошли в гостиную. Несколько десятков горящих свечей наполняли помещение мягким светом. Николай, стоявший на лесенке у часов, чуть тронул большую узорчатую стрелку, и зазвучала мягкая переливающаяся музыка, как будто волшебник прошелся по струнам, звук нарастал и потом смолк, чтобы смениться ровным протяжным боем. Девять ударов отзвучали, и Александр крикнул:

— Виват, Николя!

Маленькая Настенька захлопала в ладоши.

— Вы уж извините, но нам все-таки пора, итак оторвали вас от дела, — сказал Николай Бестужев.

— Нет, постойте, — задержал их Александр, — постойте. Послушай, Кондратий, прочти что-нибудь свое. Константин Петрович наслышан о твоих «Думах».

— Нет, из «Дум» не буду — все очень длинное, лучше другое! Ну хотя бы это...

Наталья Михайловна села в глубокое кресло, рядом примостилась Настенька. Рылеев встал посередине гостиной. Он начал тихо, потом постепенно повысил голос, взмахнул рукой, как бы рубя воздух:

Я ль буду в роковое время
Позорить гражданина сан
И подражать тебе, изнеженное племя
Переродившихся славян?

Это были не просто звучные вирши, это было политическое кредо, набатом звучали в стихах отголоски новгородской вольницы, мысли, волнующие всех:

...Пусть с холодной душою бросают хладный взор
На бедствия своей отчизны
И не читают в них грядущий свой позор
И справедливые потомков укоризны.
Они раскаются, когда народ, восстав,
Застанет их в объятьях праздной неги

И, в бурном мятеже ища свободных прав,
В них не найдет ни Брута, ни Риети.

Когда Кондратий Федорович закончил, в гостиной на мгновение воцарилась тишина, а потом первым — не выдержал — бросился к нему Александр.

— Ай да Кондратий! Вот это в точку! Вот строки, нужные России, вот тот набат, который должен возвестить свободу!

— Я плохой ценитель высокой поэзии, но Александр прав. Эти стихи могут пробудить душу к самым высоким порывам! — подтвердил Торсон.

...К ночи метель утихла. Вокруг лежал первозданный искристый снег. Казалось, все вокруг затаилось до поры до времени, чтобы потом взметнуться в вихрях, в таянии, ручьями пробивая путь к полноводным рекам. Морозец еще держался, но даже среди пушистых сугробов снега чувствовалось, что близится весна.

Торсон с трудом уговорил Николая не ехать на Васильевский:

— Видишь, извозчиков давно нету. А ко мне рядом: через площадь — и мы дома, есть прекрасный английский чай, недавно привезли на шлюпе «Камчатка».

Дома на Галерной они, осторожно ступая, чтобы никого не потревожить, прошли в кабинет Константина Петровича.

Разговор в основном шел о делах общества. Бестужева радовало, что Торсон и Рылеев быстро сблизились. Торсон находился под впечатлением встречи. Рылеев поразил его смелой пылкостью и стихами. Единственное, что смущало Торсона, необычайная открытость поэта. Сумеет ли такой человек сохранить тайну, не слишком ли он доверчив... Он собирается расширить круг общества. Не приведет ли это к возмущению большого числа людей? Ведь могут примкнуть к обществу просто честолюбцы, жаждущие сму-

ты и крови. Не явится ли новый Бонапарт? Четка ли программа у общества?

Николай Бестужев старался уверить друга в том, что его сомнения излишни: есть проект конституции, где все определено, есть план действий, очевидно, известный только членам Думы. Всеу свое время. Торсон добивался ясности: как изложено будущее устройство, что решено с армией, с поселениями... С каким наделом освободят крепостных? Будут ли равны все сословия?

В каждом деле Константин Петрович любил определенность. Николай же, полагая, что если во главе общества стоят люди, столь честные, как Рылеев, не доверять им нелепо.

— Смею тебя заверить, — продолжал он, — Рылеев — личность героическая. Жить надо только так, как он — в горении! Его правота в постоянном стремлении к справедливости. Мне понятно каждое движение его души. Поначалу, правда, меня тоже отпугивала страстность, казавшаяся мне театральной, но это не наигранные жесты! Все действия его ознаменованы печатью любви к отечеству. А в его «Думах» заложены пласты великих мыслей. Он ищет в истории примеров для подражания, примеров идеальной честности и любви к отечеству! Ты же помнишь, как рассказывали о его делах в суде, между простыми людьми его честность вошла в пословицы! Здесь не может быть никаких сомнений!

— Я благодарен тебе за то, что ты ввел меня в этот круг, — сказал Торсон. — Но я пока не вижу ясного пути для достижения цели. Я понимаю, что ты не имеешь права раскрывать мне во всей полноте планы Общества... Но я ведь должен знать, как действовать мне.

— Я не скрываю от тебя каких-либо планов, известных мне, поверь, меня тоже мучают сомнения, но видеть дольше, как разоряют дорогое мне отечество,

я не могу, не имею права! И общество наше не только в Петербурге, с нами все мыслящие люди России, есть управы в Москве, Кишиневе, Тульчине, Каменке, сотни честных людей готовы к самым решительным действиям...

Уже светало, послышались первые шаги, шорохи, хлопнула дверь в коридоре, — начинался новый день, надо было собираться на службу в Адмиралтейство, опять туда, в суету чиновничьих департаментов, где царили льстецы и угодники, где холеные сановники бездушно взирали на беззаконие и наживались за счет флота казнокрады и лихоимцы...

В один из весенних дней Николай Бестужев передал Торсону проект Конституции.

Проект был переписан рукой Рылеева. О том, что его автор поручик Генерального штаба Никита Михайлович Муравьев, один из основателей тайных обществ и директор Северного общества, Торсон не знал. Для него Муравьев был известный талантливый офицер, имя которого не связывалось с деятельностью людей, жаждущих освобождения России от крепостничества. Тем более, что в это время Никита Муравьев стал одним из самых богатых владетельных помещиков: умер его дед, сенатор Колокольников, который завещал матери Никиты свое миллионное состояние — тысячи душ крестьян и огромные угодия плодородных земель.

Николай Бестужев, передавая бумаги, свернутые в трубку, пояснил:

— Это еще далеко не окончательный вариант. Рылеев просил подойти к нему критически, он хочет знать наше мнение. У южан мысли весьма отличны от наших — там сторонники республиканского правления. У них иной документ — «Русская правда». Есть планы собрать съезд всех руководителей обществ и решить,

какой проект принять за основу при перемене правления. Я там сделал пометки. Все, что думаешь, заметь для себя, потом поговорим подробнее.

Торсон обстоятельно изучил проект, многое было здесь согласно с его мыслями, он думал точно так же, просто не смог бы выразить на бумаге столь точно и кратко необходимые положения. Он сразу понял, что автор проекта — лицо состоятельное, имеющее влияние не только в тайном обществе, но, возможно, и при дворе, что человек, изложивший Конституцию, знаком с американскими законами, с конституциями европейских стран.

Особенно четок и точен был первый параграф: «Русский народ, свободный и независимый, не есть и не может быть принадлежностью никакого лица и никакого семейства... Источник Верховной власти есть народ, которому принадлежит исключительное право делать основные постановления для самого себя».

Власть должна принадлежать народу, а не отдельному лицу — узурпатору и тирану, становящемуся таковым, потому что все дозволено! Общество должно создать для себя твердые законы, гарантирующие свободу. И потому совершенно справедливо было написано: «Нельзя допустить основанием правительства произвол одного человека — невозможно согласиться, чтобы все права находились на одной стороне, а все остальные обязанности на другой. Слепое повиновение может быть основано только на страхе и не достойно ни разумного повелителя, ни разумных исполнителей. Ставя себя выше законов, государи забыли, что они в таком случае вне закона, вне человечества!..»

Затем была изложена статья «О гражданах». Гражданство давало право участвовать в общественном управлении. Определение гражданства не вызвало возражений у Торсона. Полностью разделял он мнение автора о состоянии, личных правах и обязанностях

русских, изложенное в следующей графе, которая начиналась четким и кратким параграфом: «Все русские равны перед законом».

При этом русскими считались и коренные жители России, и дети иностранцев, родившиеся в России. Таким образом давалось еще раз равенство жителям великой державы, происхождение не бралось в основу. Следует ли, например, его, Торсона, считать шведом, если его предки проливали кровь за эти земли, если родной язык его русский, если признает Россию отечеством, на благо которого готов не щадить жизни.

Далее было четко записано: «Крепостное состояние и рабство отменяются, раб, прикоснувшийся земли Русской, становится свободным...»

Почему слова эти должны быть тайными? Почему этот проект не оттиснен в типографии? Все это во благо, значит, должно стать достоянием любого мыслящего человека.

Проект давал всем равные права. Все люди от рождения равны. Почему одни могут жить в роскоши, а другие задыхаются от непосильных оброков? Чем заслужили помещики свое право? Только своим происхождением, только полученным наследством и землями.

Конституция отменяла «Табель о рангах» — разделение на четырнадцать классов. Всякому предоставлялось право заниматься тем промыслом, который ему выгоден, будь то земледелие, скотоводство, охота, рыбная ловля или торговля.

Уничтожались ненавистные народу военные поселения, где жизнь, даже по сравнению с барщиной, казалась адом.

Но как решается основной вопрос? Как быть с землями? В проекте записано: «Земли помещиков остаются за ними». Освобождались только удельные земли. Давались поселянам дома и огороды.

Торсон, не имевший своего поместья и далекий от сельской жизни, слабо представлял будущее экономическое построение — безземельный крестьянин, по его разумению, снова должен был идти в кабалу. Здесь автор проекта и сам не видел готового решения, а потому предлагал: «Последующие законы определяют, каким образом сии земли поступят из общественного в частное владение каждого из поселян и на каких правилах будет основан сей раздел общественной земли между ними».

Возражение у Торсона вызывало то, что права граждан определялись в зависимости от их состояния. Участвовать в выборах могли те, кто имел недвижимой собственности на 500 рублей серебром. Чтобы быть избранным в управители в уездном городе, надо было тоже обладать солидным капиталом.

Всею страной должно управлять Народное Вече. В названии самом дань памяти свободному Новгороду, возрождение древних демократических традиций. Вече составляется из Верховной Думы и Палаты народных представителей. И вот, чтобы быть избранным в Думу, полагалось тоже обладать большим имением или капиталом. Значит, опять власть остается тем, у кого состояние, у кого богатства, а не тем, кто достоин ее по своим деяниям и зрелости мысли. И это несмотря на сложную, казалось бы, демократическую систему выборов.

И все-таки, если согласиться даже с такой конституцией, это будет означать для России гигантский шаг вперед, простор для стремительного развития!

Торсону представлялось, как сзывается народ на выборы, как разворачиваются дебаты в палатах. И эти споры, эти высказывания вынуждены выслушивать сановники и император, ибо без разрешения Вече невозможно изменить что-либо в стране! Члены палаты представителей неприкосновенны, их не имеют права

взять под стражу даже по указу императора. Да и какие могут быть у того указы, если предварительно они должны быть одобрены на заседаниях Думы. Император только утверждает положения, представленные ему, чтобы они приняли силу закона!

Но все же не слишком ли много власти оставляет конституция императору? Не будет ли он вновь иметь возможность переступать законы? Он, по конституции, — верховный начальник сухопутной и морской силы. Значит, в его руках войско — та сила, которая может заставить замолчать голоса народных представителей...

Для того, чтобы этого не произошло, должно подняться на иную ступень нравственности, образовать народ, сделать его не слепым исполнителем высочайшей воли, воспитать свободных граждан России... На это потребуются долгие годы, смена поколений, общее образование, воздействие на умы... Можно ли этого достигнуть?..

Нужны ограничения верховной власти. Автор конституции предлагает устранить преимущество особ, составляющих семейство императора.

Важно еще то, что император не должен употреблять власть и сам принимать решения без глав Приказов, то есть без министров. А те, в свою очередь, тоже будут лишены возможности самоуправствовать и расхищать казну, проект конституции четко определяет: «Все гражданские чиновники, главы Приказов, правитель временный и прочие могут быть лишены своих должностей, если, вследствие обвинений Палатою представителей, уличены будут Думою в расхищении общественной казны...»

В случае принятия конституции закончится власть людей, подобных Моллерам и маркизу Траверсе, ставящих на «выгодные» и значительные посты своих родственников или людей, угодных им, — льстецов и мздо-

имцев! Пора заставить чиновников отвечать за свои действия, сделать их подконтрольными народу! И никто не может оправдаться полученным приказанием, ибо в гражданском быту слепое повиновение не может быть допущено...

Можно было ограничиться замечаниями на полях проекта, как это сделали читавшие конституцию до него, но Торсон захотел более ясно изложить свои мысли. Ведь Бестужев предупредил, что все проекты будут еще обсуждаться, что на юге есть совсем другие положения, что многие жаждут республики. Действия же по осуществлению конституции можно начать, когда будет одобренный проект, окончательный вариант, который следует предложить императору и сенату, и чем яснее и точнее будет этот проект, тем меньше он вызовет разногласий.

Торсон очинил перо, взял бумагу и углубился в работу.

Он несколько раз начинал писать и, неудовлетворенный изложенным, откладывал листы на край большого дубового стола — рассуждать легче, чем излагать мысли на бумаге.

Прежде всего следовало отметить, в чем заключалась разница палат, не все можно вслепую заимствовать у англичан, где в верхней палате заседают наследные лорды. В проекте предполагалось, что верхняя палата — Верхняя Дума — имеет право окончательного решения по любым государственным вопросам, нижняя палата имеет право представлять проекты, требовать, а верхняя рассматривает представленное, может судить поступки государственных мужей — министров, значит, ее, эту палату, должны составлять люди, известные по уму, опытности в государственных делах и любви к отечеству.

Но что может получиться на деле? Как исключить выбор в верховную палату людей недостойных? Мо-

жет ведь получиться так, что при выборах, полагаясь на принятую конституцию, выдвинут в верхнюю палату людей, не по заслугам и опыту, а по их богатствам. Не справедливее было бы назначать людей не по принципу их богатства, а, хотя и бедных, но имеющих заслуги перед государством. Тогда палата эта, составленная из людей известных, будет лавровым венком для граждан, она будет тверда в решениях и не станет изменять их по воле богачеев.

И власть народа должна быть постоянной, а не от заседания к заседанию. Необходимо оговорить присутствие в столице депутатов, пусть в ограниченном числе, но постоянное присутствие. Сколько возникает сиюминутных дел, требующих разрешения! Они, эти депутаты, должны быть ходатаями по жалобам. Они же смогут требовать суда над министрами, неправыми, употребляющими свою власть на собственную пользу. Ибо даже и честный дотоле человек, сделанный властителем, часто попадает под влияние льстецов, которые и его втягивают в казнокрадство. Поэтому нужен постоянный надзор со стороны народа, а кто сможет лучше осуществить его, чем народные представители!

Торсон записал мысли о палатах, о качестве народных избранников, откинулся в кожаном кресле и долгое время сидел размышляя. Знал бы Моллер, чем занят его адъютант! Когда будет принята конституция, найдутся более достойные мужи для правления флотом. Есть Василий Головин, Дмитрий Сенявин, Михаил Лазарев — множество умов. Но примет ли император конституцию, подпишет ли ее добровольно? Поймет ли необходимость сего?

И не слишком ли много власти оставляет конституция монарху? «Император должен действовать только через своих министров, — записал Торсон после долгого раздумья, — министры за все дела должны отвечать народу своей головой... ни одно повеление им-

ператора без подписи министра не должно быть выполнимым».

И следует сделать так, чтобы император не смог противопоставить армию против законов, ограничивающих его? Вся сила для любого воздействия заключена в войсках. Здесь надо записать в конституцию, что число войск определяется палатами, чтобы войска не были обременительны для государства и чтобы могли в то же время обеспечить целостность границ в случае непредвиденной войны. А для того, чтобы император не обольстил гвардейские полки, надо иметь силу, противостоящую им. Необходимо учредить народную милицию. Милиция эта числом должна равняться войскам. И когда депутаты обнаружат злоупотребления министров и даже императора — милиция соберется в полки и поддержит решение палат. Она станет твердою опорой вольности граждан!

Войска должны служить для отражения неприятеля, а не для подавления вольности. Прямо в конституции следует записать, что ни один солдат ни под каким видом не имеет права силою входить в дома граждан или действовать против граждан. За убийство гражданина воин должен наказываться смертью! И еще одно: император не должен лично командовать войсками, только через министров, тогда войска не будут подчиняться прихотям деспота, если таковым станет властвующий государь, а будут выполнять законы и стоять на охране законов.

Пусть император имеет право объявить военные действия, но чтобы трактат о войне стал обязательным, его должны утвердить министры и Палата народных представителей, там же в палате потребуют объяснений и, если трактат вреден, отдадут министров под суд. Россия еще не готова ко многим свободам, но если останется народ в невежестве и темноте, под рабством, то и никогда не приготовит себя к иным прав-

лениям. Нужно как можно скорее разрешить народ от бремени крепостничества...

Когда Торсон передал переписанный набело текст своих рассуждений о конституции Бестужеву, Николай тотчас прочел, в нескольких местах попросил разъяснений, спорить не стал, но сказал:

— Может статься, что все пойдет иным путем. Слишком мы уже привыкли, что Россией должен управлять помазанник божий. Власть народа и власть отдельных лиц несовместимы!

— Ты считаешь, что Россия может быть управляема без монарха? — спросил Торсон.

— Так полагаю не только я, но и многие среди нас. На юге же, где влияние общества велико, не мыслят иной системы правления, кроме республики. Там полковник Павел Пестель — истинно государственный ум — создал свой проект, «Русскую правду», и, будучи здесь в Петербурге, требовал принятия сего устава. Наши, северные, не во всем согласны с ним. Он резок и сторонник крайних мер. Надо ждать общего съезда!

— В России привыкли видеть во главе государя. Он — опора всему, так ведь испокон веков заведено, — заметил Торсон.

— Но если он встал на пути отечества и, не желая внимать голосу разума, отдал страну под власть Аракчеева?.. — Бестужев говорил взволнованно, голос его срывался.

— Есть же Сенат! — пытался возразить Торсон.

— Сенат, в котором государь ни разу не появился, сегодня в России Аракчеев заменяет и Сенат и Государственный совет.

— И как порешило общество? Надо ведь не медлить, надо представить государю проект конституции...

— Надежд на принятие конституции монархом я не питаю, — сказал Бестужев, — возможно, и правы

южане, когда говорят об обреченных отрядах, о царевубийстве...

— Значит кровопролитие? — растерянно произнес Торсон.

— Как самая крайняя мера.

Весной 1825 года ученик и помощник Торсона — Михаил Бестужев — решил перевестись в Московский гвардейский полк. Он, принятый в тайное общество Торсоном, сразу и безоговорочно воспринял идеи, страстно проповедуемые Кондратием Рылеевым, и к своей великой радости обнаружил, что его старшие братья Николай и Александр тоже в обществе.

Торсон пытался охладить пыл своего ученика, но он явно не заметил, что Мишель давно уже из юноши, остро переживавшего всяческую несправедливость, превратился в бойца, который не желает ни с чем смириться и готов на самые крайние и решительные меры, вплоть до низвержения императора.

О своем намерении перейти в гвардию Мишель сообщил Торсону в Архангельске. В этот северный порт они прибыли, чтобы ускорить работы на верфях. Здесь строились 74-пушечный корабль «Царь Константин» и 36-пушечный фрегат «Елена». Адмиралтейская комиссия наконец-то утвердила штаты по вооружению кораблей, составленные Торсоном. И теперь на этих вновь строящихся кораблях использовали его расчеты. Однако предварительная заготовка всех деталей встретила упорное сопротивление со стороны чиновников казначейской экспедиции, понявших, что с упорядочением строительства и строгим наведением учета исчезают беспредельные возможности по извлечению наживы.

В Архангельске все не клеилось: лес для кораблей был выделен сырой, заготовленный в прошлом году неизвестно куда исчез, под Архангельском подходя-

щие деревья давно были вырублены, и теперь надо было организовывать заготовку леса под Казанью.

Форштеймейстер* — кряжистый старик, ведающий корабельными лесами в Архангельске, — оказался родственником корабельного мастера Амосова. Он отстаивал каждое дерево. «Срубить лесину — ума великого не надо, смотри на Соломбале уже голо, а что далее будет, помыслить тяжко», — говорил он Торсону.

Нетерпеливые мастера и тимерманы* жаловались на старика. Торсон тоже спешил, можно понять строителей, но не прислушиваться к словам форштеймейстера было нельзя: следовало прекращать неразумную вырубку.

Здесь, в Архангельске, Торсона поражало умение поморов играючи орудовать топором. Деревянные хоромы, деревянные купола, деревянные часовни, мельницы на курене, всегда разворачивающиеся на ветер, — все это было сооружено без единого гвоздя. Даже пилами пользовались неохотно — считали, что в распиле дерево впитывает влагу, гниет.

Торсон довольно удачно договорился о подряде на вывоз леса из Казани, и следовало лишь получить разрешение исполнительной и казначейской экспедиций. Он рассчитывал на помощь генерала Головнина, но тот уехал отдыхать в свое имение. Чиновники дело затягивали, и Михаил после очередной схватки с «адмиралтейскими крысами» сказал:

— Терпению всякому наступает предел. Я, конечно, не перестаю удивляться вашей неиссякаемой энергии, Константин Петрович, но тратить ее на столь ничтожных финансистов полагаю нелепым! Сейчас, когда открылись иные пути, когда близится коренное переустройство, когда мы призваны дать освобождение народу, — терпеть далее невозможно! Страна в полном расстройстве!

— Надо положить этому конец, — согласился Тор-

сон, — но ведь если на служебном поприще мы опустим руки, кто тогда будет радеть за отечество!

— Как понимать радение, — возразил Михаил Бестужев, — к чему оно привело? Ежели проект ваш удачен — слава достается другому, ошибетесь — соберете все шишки! Начальник штаба Моллер использует ваш ум для того, чтобы предстать в выгодном свете перед императором. Вы сэкономили миллионы для казны вводом новых штатов на постройку кораблей, а эти миллионы идут на забавы и развлечение царских фрейлин! Имеет ли выгоду от сих мер флот? Корабли, устроенные по последнему слову всех ваших деяний, употребляются для царских прогулок! Вот итог!

— И поэтому ты избрал более легкий путь, — усмехнулся Торсон, — столица, гвардия, балы.

— Это не прихоть, — ответил Михаил, — переход мой в гвардию согласован с Думой тайного общества.

...Через неделю Михаил покинул Архангельск. Они расстались, и теперь Торсон почувствовал, как остро ему не хватает пылкого помощника: не с кем было поделиться, не на кого опереться, вокруг, казалось, только и ждали, когда споткнется слишком ретивый адъютант. Но работа была ему успокоением, и уже зрели иные проекты совершенствования флота. Надо закончить перестройку кораблей в Архангельске, переделать внутренние помещения и камбуз на «Сысое Великом» и «Гангуте». Подготовить шлюпы, строящиеся на Охте, для дальнего вояжа.

Из Архангельска в Петербург Торсон в старинном екатерининском дормезе добирался больше двух недель. В просторной карете можно было бы отоспаться, если бы не прескверные дороги — сплошные хляби, рытвины, да холодные ветры, пронизывающие насквозь. От холода не спасали ни башлык, ни медвежья полость.

В столицу Торсон приехал простуженным, но сразу

же помчался на Охту. Здесь не торопились с постройкой шлюпов. Обещанное предприятие по изысканию северных путей откладывалось на следующий год. Директор верфи — опытный корабельный мастер Александр Попов — был переведен в Новое Адмиралтейство, и без него на Охте порядка не стало.

Копылья, специальные клетки на спусковых ползьях, просели под шлюпами, пришлось бить под них клинья, на резен-киль* на одном из шлюпов пустили расслаивающееся дерево, следовало менять, обмазка бортов смолой так и не была произведена.

Корабельный мастер Стоке, тот самый, кто столь неудачно соорудил шлюпы «Восток» и «Мирный», прохаживался по верфи во французском кафтане, в жабо и манжетах, помахивая изящной тростью, считал себя непогрешимым и никого не хотел слушать. Пришлось писать Головнину, искать поддержку у Амосова. Все это, конечно, возымело свое действие, но год был потерян.

В Северном обществе Торсона ждали с нетерпением.

Рылеев не оставлял своих планов по созданию морской отрасли тайного общества в Кронштадте. Эти планы привели к реальным действиям, особенно после появления в его доме беспокойного флотского лейтенанта Дмитрия Иринарховича Завалишина.

Молодой двадцатилетний офицер был не по годам развит, он слыл большим эрудитом. Маленький, темноволосый, с подвижными голубыми глазами, Завалишин сторгал от нетерпения. Он был просто одержим желанием перестроить общество не только в России, но и во всем мире. Сын начальника казачьего войска, человека весьма состоятельного, Завалишин был вхож в самые знатные дома Петербурга.

Его хватало на все: он изучал иностранные языки,

посещал лекции в хирургической академии, в Горном корпусе и в Академии художеств. Завалишин побывал в кругосветном путешествии на фрегате «Крейсер» под командой Михаила Лазарева. Из Портсмута, куда зашел «Крейсер» перед отправкой к берегам Русской Америки, Завалишин послал письмо императору, предлагая начать преобразование общества не только в России, но и во всем мире, организовав Вселенский Орден Восстановления.

Когда «Крейсер» достиг берегов Калифорнии, Лазарев получил приказ отправить Завалишина в Петербург, к Александру I. В столице Завалишину объявили, что Александр находит его идеи увлекательными, но неудобноисполнимыми. И Завалишин был послан в Российско-Американскую компанию, так как его проекты заинтересовали адмирала Мордвинова. Здесь-то и произошло знакомство с Рылеевым, ибо именно Рылееву Мордвинов поручил разобраться с теми разделами планов, которые касались использования Калифорнии.

Дмитрий Ириархович предстал перед Рылеевым в новеньком, с иголки, темно-зеленом мундире флотского офицера, подвижный и жаждущий деятельности. Завалишин сообщил, что является командором Вселенского Ордена Восстановления, стремящегося привести весь мир к справедливости и свободе, и предложил Рылееву соединить Орден и Тайное общество. Завалишин выложил перед Рылеевым устав Ордена. Устав за двумя печатями, текст был на французском.

Обычно откровенный и доверявший людям Рылеев не стал раскрывать перед Завалишиным цели и задачи Тайного общества и даже отрицал существование его в Петербурге. Он решил сначала присмотреться к пылкому юноше, а потом использовать его энергию в целях побуждения к более активным действиям флотских офицеров.

Завалишин стал частым гостем в доме Российско-Американской компании.

Собирались обычно после полудня на так называемые «русские завтраки». Жена Рылеева проводила лето в имении, и в квартире царил холостяцкий беспорядок. Журналы, газеты и рукописи были разбросаны по всем комнатам. В гостиной на большом столе Агап Иванович сдвигал журналы и бумаги в сторону, ставил графин водки, клал ржаной хлеб и кочан кислой капусты.

— Прошу, господа, откусать истинно народной пищи! — приглашал собравшихся Кондратий Федорович.

Завтраки затягивались до позднего вечера. Спорили, читали стихи, пели подблюдные песни, сочиненные Рылеевым и Александром Бестужевым.

Особенно славно получалось, когда запевал Михаил Бестужев:

Вдоль Фонтанки-реки
Квартируют полки.

Подхватывали хором:

Слава!

И снова вступал Бестужев, он сидел, раскинувшись в кресле, распахнув штабс-капитанский мундир.

Разве нет у них рук,
Чтоб избавиться мук!
Слава!
Разве нет у них штыков
На князьков-сопляков?
Слава!
Разве нет у них свинца
На тирана-подлеца?
Слава!
Да Семеновский полк
Покажет им толк!
Слава!

Раскрасневшийся, круглолицый Орест Сомов, журналист и служитель Российско-Американской компании, живший в этом же доме, умолял:

— Господа, потише, прошу потише, господа. Сегодня у Прокофьева слишком много посторонних!

Прокофьев — директор компании — жил на втором этаже, как раз над комнатами Рылеева. Его мало остерегались, часто даже собирались той же компанией к нему в роскошную гостиную на званые обеды, где, не скрываясь и не таясь, продолжали те же споры, что велись в квартире Рылеева.

На один из завтраков Николай Бестужев пригласил Торсона. Но сам Николай в этот день придти не смог — был занят на заседании.

Рылеев встретил Торсона и провел в гостиную. Здесь уже сидели несколько гвардейских офицеров, Александр Бестужев и Завалишин.

— Знакомьтесь, это Дмитрий Иринархович Завалишин, — сказал Рылеев, обращаясь к Торсону.

— О, мы уже имели честь быть в общем деле и давно знакомы, — воскликнул Завалишин, — я помню, только что вернулся из вояжа и с корабля на бал прибыл в Петербург, к наводнению! Мы славно потрудились вместе с капитан-лейтенантом. Я был восхищен вашим спокойствием и четкостью ваших распоряжений, Константин Петрович!

Выслушав пылкий комплимент, Торсон пожал маленькую, почти детскую руку Завалишина и сказал:

— Очень приятно, я не полагал, что встречу вас здесь, господин лейтенант.

В свое время Торсону довелось читать многочисленные докладные Завалишина, написанные изящным, почти женским, почерком. В них было много дельных мыслей, получалось страстно, как крик души, но в вязи слов терялась сущность... В чем не откажешь молодому лейтенанту — это в широте взглядов, в эрудиции. И все же присутствие Завалишина у Рылеева несколько озадачило Торсона. Почему тот здесь? В обществе ли он?

За столом их усадили рядом, и разговор сложился

интересный. Торсону было любопытно все, что касалось русских колоний в Калифорнии, в предстоящем путешествии ему было не миновать Ситхи. Завалишин очень подробно рассказывал о жизни на новых землях.

— А потом мне было интересно самолично увидеть Сибирь, — продолжал Завалишин, — разобраться с использованием ее богатств и положением народа в бескрайних просторах, и я сухопутным путем добирался в Петербург, это было интереснейшее путешествие! Везде я обретал единомышленников. Ибо даже в глухих уголках России люди понимают, что нужны новые твердые законы, ограничивающие деспотизм, что необходимы новые формы правления!

— Расскажите лучше, Дмитрий Иринархович, о вашем Ордене Восстановления, — вмешался Александр Бестужев, — и давайте выпьем за его процветание!

— Господа, — громко сказал Завалишин, он привстал, держа бокал двумя пальцами, — давайте не касаться сего вопроса, я очень прошу, господа! Никто не должен в столице знать об Ордене. Это тайна, господа, и поверьте мне, я связан клятвой! Я хочу добиться аудиенции у императора!

— Напрасно, Дмитрий Иринархович, вы надеетесь на благородство правителя, — остановил его Рылеев. — Тот, кто сам отказался от своего народа, тот, кто презирает свой народ, не пойдет вам навстречу.

Когда застолье кончилось, послали Агапа Ивановича купить пуд монастырских свечей. Он скоро обернулся. Зажженные свечи поставили на большой круглый стол и стали рубить смаху кинжалами.

У Завалишина ничего не получалось, свечки гнулись и падали. Александр Бестужев зато рубил отменно. Казалось, кинжал просвистел мимо, даже пламя не вздрагивало, и свеча, разрубленная пополам, оставалась стоять.

— Резче, Дмитрий, главное резче, — учил он Зава-

лишина, — придет время, когда потребуются не красивые слова, а твердость руки. Мы обнажим кинжалы за правое дело — тогда рука должна не дрогнуть!

Торсон не участвовал в забаве. Рылеев взял его под руку и провел к себе в кабинет.

— Нам надо поговорить наедине, — сказал Кондратий Федорович.

В кабинете окно было зашторено, Рылеев зажег толстую свечу и усадил Торсона в глубокое кресло.

Рылеев понимал, что теперь многое в развитии дел общества на флоте зависит оттого, сколь решительно будет действовать Торсон, человек, который не признает пылких речей и все страсти поверяет алгеброй.

— Вы, конечно, знаете, — начал Рылеев, — в стране все накалено, терпение достигло предела, дела в армии в таком состоянии, что едва ли можно их удерживать. Николай Бестужев, верно, сообщил вам, что на юге во главе общества встали люди, требующие принятия незамедлительных мер. Подполковник Сергей Иванович Муравьев-Апостол в Васильковской управе торопит нас. Командир Вятского полка Павел Иванович Пестель, ярый сторонник республики, взял большую власть над людьми, и одного его слова достаточно, чтобы привести в движение жужные корпуса — а это значит шестьдесят тысяч ружей! Нас, северян, обвиняют, и справедливо, в бездеятельности!

Рылеев встал и начал мерять комнату широкими шагами. Торсон тоже поднялся. В промежуток между шторами была видна пустынная площадь и костры, которые жгли на той стороне Мойки строители Исаакиевского собора. Постройка грандиозного храма затягивалась, и теперь торопились, работали круглые сутки. Знали ли эти люди со спинами, исхлестанными плетьюми, голодные, оторванные от своих домов, знают ли они, что сейчас в доме за Синим мостом жаждут их освобождения? Рылеев, конечно, прав, но почему необходимо

с оружием в руках добиваться законных требований? Есть Сенат, в нем есть люди просвещенные, которых можно убедить логичными доводами...

— Предлагали ли Сенату проект конституции? — спросил Торсон.

— Пока еще не пришли к согласию внутри общества, — ответил Рылеев. — Пестель привозил свой проект в Петербург, надобно соединить наши проекты. Сейчас главное даже не в этом — общество должно доказать свою силу и влияние, надо, чтобы с мнением общества считались. Посему крайне необходимо образовать морскую отрасль в Кронштадте. Я недавно был там вместе с князем Евгением Оболенским, мы гостили у Михаила Кюхельбекера, — вам, вероятно, знаком этот весьма храбрый и деятельный офицер, — и мы нашли, что среди кронштадтских моряков много либералов, за счет коих можно усилить общество! Вам, вместе с Николаем, необходимо создать там нашу отрасль. Кронштадт сможет стать нашим Леоном!

Это была давняя идея Рылеева, рожденная опытом восстания в Испании. Там восстание возглавили Риго и морской офицер Квируга, Астурийский и Испанский батальоны, возмущенные ими, вышли к побережью и заняли остров Леон. Больше двух месяцев держались они на этом острове, а потом оттуда начали поход в глубь страны.

Еще два года тому назад, испрашивая согласие на прием в Северное общество Николая Бестужева и Торсона, Рылеев доложил Думе о планах по созданию морской отрасли и о превращении Кронштадта в остров, подобный Леону. Его поддержали, и Трубецкой извещил об этих намерениях южные управы. Пестель тоже возлагал большие надежды на флот.

Тогда Рылеев выдавал желаемое за действительное. В общество были приняты всего два морских офицера — известные мореплаватели лейтенант Владимир

Романов и Федор Матюшкин, друг Александра Пушкина еще по лицу, — вот и вся отрасль. Но Рылеев был уверен, что стоит только начать, стоит только сдвинуть камень — и хлынет лавина, ибо флотские офицеры по духу своего поприща возвращены на свободолюбии, они в дальних походах видят примеры освободительных движений, да и само море с его простором — всегда свобода, воля...

И теперь, когда близка пора решительных действий, планы должны были обрести реальное подтверждение. И оно есть, ибо в Морском гвардейском экипаже весьма деятельный лейтенант Антон Арбузов сумел собрать воедино свободомыслящих офицеров. Надо наладить с ними более тесную связь, надо принимать Арбузова и его товарищей в общество! Теперь к тому же появился полный энергии Завалишин! Это все подтверждает явно, что флот сможет стать опорой восстания!

— Я хотел еще спросить вас о Завалишине, — сказал Рылеев. — Каково ваше мнение? Я полагаю принять его в общество, но хочу, чтобы это сделали вы, он не должен многого знать до определенного времени. Вам надо устроить так, чтобы его перевели в Кронштадт, там его энергия найдет достойное приложение, и он принесет пользу обществу!

Торсон попытался объяснить Рылееву, что положение в Кронштадте далеко не столь благотворно, что во время своей поездки в Кронштадт Рылеев встречался с офицерами гвардейского флотского экипажа, людьми, находящимися на острове временно, что во флотских экипажах иная картина. Там царствует пьянство, разврат и лень, разбедающие флот. А корабли, застывшие в гавани и неспособные совершать дальние плавания, мало дают пользы для развития офицеров, а напротив низвергают их к безделью и праздности.

Рылеев не соглашался с доводами Торсона, он считал, что картина, нарисованная Торсоном, слишком

мрачна, что следует возродить свободолобивые устремления флотских офицеров. И Завалишин с его кипучей энергией способен на многое.

— Но в Кронштадте он ничего не сделает, — сказал Торсон. — Если ж хотите его перевести, я поговорю с Моллером, да он, Завалишин, и сам может просить перевода.

— Кстати, хорошо, если бы вы сошлись с ним на коротке и узнали досконально, что это за Орден, в коем он состоит? Нужен человек, который сдерживал бы и направлял его порывы. Подобный вам.

— Я не советую принимать его в общество, — заметил Торсон и замолчал.

Что-то притягивало его и в то же время отталкивало в отношениях с Завалишиным. Может быть, он, Торсон, слишком осторожен и неправ, может быть, действительно, Завалишин способен составить отрасль в Кронштадте? Но все же к чему такая поспешность? Пусть раскроет свои планы, пусть представит членов Ордена, если таковой существует и стремится создать блага для развития стран и народов. Надо в таком случае соединить усилия. Но если в Ордене командором такой весьма молодой офицер, то каковы же другие?

— К чему приведет набор в общество лейтенантов и мичманов? — спросил Торсон.

Рылеев промолчал, раскуривая кальян. И Торсон ответил сам:

— К тому, что общество, расширив свой круг, может распасться и обнаружится преждевременно.

— Но, ежели вспыхнет восстание, мы не сможем собрать мгновенно нужные силы! — сказал Рылеев. — План общества таков: когда начнется здесь, в Петербурге, или на юге, вы с Николаем Бестужевым обязаны прибыть в Кронштадт и там, возмущив матросов, принять крепость под свою команду. В случае поражения мы сможем, отступив в Кронштадт, вновь собрать си-

лы и оттуда под защитой крепостных пушек диктовать свои условия.

— Пушки опасный довод, — возразил Торсон, — все сие может привести к кровопролитию, будет литься кровь наших же братьев! Возможно добиться цели иным путем. В Бразилии король даровал конституцию не под гром пушечных выстрелов!

— Конечно, и мы примем меры, чтобы воздействовать на умы, но готовиться следует к любому исходу, остановить движение уже невозможно! — сказал Рылеев.

Торсон не мог обещать решительных мер и действий. Обоих разговор не удовлетворил. И когда они вернулись в шумный круг своих единомышленников, Торсон уселся в углу с книгой и машинально листал страницы, не читая текста. «Прав ли Рылеев, правы ли горячие умы здесь и те нетерпеливые офицеры на юге, торопящие ход событий? — думал он. — В достижении любой цели надо сохранять терпение. Общество обретет еще большую силу, на это потребно не более десяти лет, и тогда противостоять введению законов никто не сможет».

Через месяц Николай Бестужев сообщил Торсону, что Рылеев вновь посетил Кронштадт, побывал во флотских экипажах и понял, что заблуждался — ему открылась совершенно иная картина, нежели при первом посещении. Теперь Рылеев уверен, что при отступлении решено использовать не Кронштадт, а военные поселения, где все подобно крюйт-камере, полной зарядов, которой для взрыва достаточно первой искры. Морскую же отрасль следует укреплять здесь, в столице, используя кружок Антона Арбузова в гвардейском экипаже.

— Я побывал там, — сказал Бестужев, — на меня очень лестное впечатление произвели и Арбузов, и братья Беляевы, и Бодиско. Многих из них я близко

знаю по совместным плаваниям. Это люди дела, и мысли их совпадают с моими мыслями, а рвение их достойно всяческой похвалы!

В это лето на Охтенской верфи завершалась постройка двух шлюпов, предназначенных для дальнего вояжа, и Торсон начал подбор участников предстоящей экспедиции. Надо было найти кандидатуру на должность командира второго шлюпа вместо Михаила Бестужева. В Адмиралтействе предлагали лейтенанта Андрея Моллера, его Торсон почти не знал и потому решил просить Владимира Романова, известного во флотских кругах своими походами на фрегате «Проворный». В «Отечественных записках» Романов опубликовал очерки об Испании со множеством любопытных наблюдений. Он же, Романов, ходил на корабле «Кутузов» к берегам Русской Америки, его подробные записки об этом плавании были сейчас у Николая Бестужева — он готовил их к публикации.

Проект Романова об исследовании американского побережья и отыскании пути между Азией и Америкой, в свое время направленный начальнику Морского штаба, заинтересовал Торсона. Читал этот проект и Рылеев, он обещал всеми возможными средствами поддержать экспедицию. Рылеев и Николай Бестужев были уверены, что Романов охотно согласится на участие в путешествии.

Хорошо было бы привлечь и Михаила Кюхельбекера, участника экспедиций к Новой Земле. Торсону был по душе этот выдержанный и опытный лейтенант. Ему можно было доверить ведение шлюпов во льдах.

Корабли строились надежно. Торсон заставил сделать необходимые переустройства. Остов судов, собранный из крепких пород дерева, хорошо просох за год, киль был изготовлен из нескольких дубовых брусьев, скрепленных нагелями так, чтобы при ударе о грунт

отваливался только нижний брус, а сам шлюп оставался неповрежденным. В июле начали ладить обшивку, плотники были опытные, каждую доску старательно подгоняли, выбирали придирчиво, чтобы не было сучков, прогнилостей. Доски распаривали в эллингах, а потом выгибали по месту. Чтоб не поломать их, предварительно сверлили отверстия под гвозди. Кницы и крепеж Торсон заранее заказал в кузнечных мастерских. Изготовлены они были из демидовского железа.

Василий Михайлович Головнин несколько раз приезжал на верфь. Последнее время насупленный и недовольный ходом постройки флота, здесь, на Охте, он оживлялся, сам лазал по декам, любовался выгнутым бушпритом, хвалил крепеж.

— Умеют у нас строить корабли, если захотят! — восторгался он.

Торсон улыбнулся и не стал объяснять, скольких усилий стоило наладить все эти работы.

— А пройдут ли шлюпы по Неве, не слишком ли велика осадка? — спросил Головнин.

Торсон объяснил, что все предусмотрено, что скоро начнут постройку специальных понтонов и при перегоне по реке приспособят эти понтоны к бортам шлюпов.

Торсон и Головнин все больше проникались друг к другу обоюдным доверием. Строгий и умный генерал, не терпящий панибратства и ни для кого не делающий исключения, понял, что адъютант министра не из штиблетных шаркунов, что Торсон тот человек, на которого можно опереться в деле строительства флота. Все сомнения о Торсоне рассеялись, особенно после того, когда Головнин узнал, что подпись Торсона, по указанию кронштадтского Моллера, подделал Сухоцкий. А когда Торсон рассказал Головнину, что медь пошла на обшивку корвета «Аполлон», генерал усмехнулся.

— И вы поверили сему? — спросил он. — «Аполлон» никогда не обшивался медью!

— Сомнения были и у меня, — сказал Торсон, — я их высказал, но это не возымело действий...

— Они уверены, что на них не найдется управы! — возмущился Головнин. — И никому ни до чего нет дела!

Он все чаще замечал, что флотские офицеры охладевают к службе. Братья жены Головнина, Ардальон и Феопемт Лутковские, только начавшие морскую службу, в общем-то, умные юноши, не могли найти приложения своим силам. И теперь дома у Головниных раздаются гневные речи, произносятся громко слова, за которые можно жестоко поплатиться; идут разговоры о делах тайного общества, об Ордене Восстановления. Легче всего все отрицать и ничего не делать! Правда, заводила этих молодых мичманов — лейтенант Антон Арбузов — не показался Головнину пустым человеком. Напротив, это был деловой, выдержанный офицер. В душе Головнин во многом соглашался с ним, однако бурные споры раздражали генерала.

...Было жарко. Наконец-то в Петербург пришло настоящее лето. Мастеровые скинули куртки из жесткой парусины, красные мускулистые спины плотников лоснились от пота. У многих на спинах были заметны рубцы — следы батоков и плетей. Следы подневольной работы. Если бы им дать волю, раскрепостить, дать заработок по труду — разве так бы они строили, во много раз быстрее и умелее! Мысли об этом не раз приходили Торсону.

Головнин, наблюдая работу плотников, думал о том же и понимал, что об их свободе ратуют молодые мичманы, и не только мичманы, многие офицеры заражены свободолюбивыми мыслями, но, как он считал, словеса здесь ничем не помогут. Легко витийствовать за столом, а как это обернется на деле?

— Вы не знакомы с Завалишиным? — неожиданно спросил он у Торсона.

— Знаком, — ответил Константин Петрович, — и хотел бы содействовать его переводу в Кронштадт...

Головнин внимательно посмотрел на Торсона.

— Почему в Кронштадт? Его из Петербурга туда никакими калачами не заманишь!

— Там нужна его энергия, — ответил Торсон, — так нужно для дела...

Если Головнин в обществе, решил Торсон, то поймет для чего, наверняка с ним уже говорили об этом переводе.

— Вы правы, — сказал Головнин, — энергии нужен выход, иначе происходит взрыв.

Его ответ привел Торсона к мысли, что генерал посвящен в дела общества, это обнадежило его: если сам Головнин в обществе, значит, оно уже имеет вес.

Они вместе поехали на Галерную — квартиры их были рядом. В карете разговор свелся, как всегда, к судьбам российского флота. Они понимали друг друга с полуслова.

Головнин был возмущен тем, что флотские офицеры утрачивают свое радение к службе и занимаются казнокрадством и стяжательством.

— Что получается? — говорил он возбужденно. — Устроились оседло, море забыли, развели собственные мызы с садами и огородами! Матросы трудятся на этих огородах, как крепостные. А господа-офицеры берут спокойно портовские баркасы — и по ягоды, по грибы! В домах у офицеров вещи с казенным клеймом! Теперь додумались, узнали, что в Копенгагене тяжеловесные екатерининские пятаки в цене, так продают их там вдвое дороже!

— Не все таковы, — сказал Торсон. — Все это идет сверху!

Головнин хотел, чтобы Торсон после возвращения

из вояжа перешел в исполнительную экспедицию и вплотную занялся переоборудованием кораблей. Предложение было лестным, и об этом стоило подумать. Торсон пока не дал окончательного ответа. Впереди все было зыбко и неясно...

Торсон давно уже обещал сестре пойти в театр на какой-нибудь модный водевиль, но всякий раз возникали неотложные дела и почти ежедневно он возвращался домой слишком поздно, а тут как раз выдался свободный вечер — и Катерина, обрадованная его приглашением, начала бурные сборы.

Торсон любил театр, хотя и не был таким заядлым театралом, как братья Бестужевы. Но благодаря общению с ними, он знал все театральные новости и посмотрел несколько нашумевших представлений.

В этот вечер они взяли билеты в Малый театр, или, как его называли по фамилии владельцев, театр Казасси.

Екатерина, в черном, переливающимся блестками платье, с высокой прической, выглядела великолепно.

Давали водевиль Хмельницкого «Говорун», довольно таки пустой и бездумный. Правда, главную роль исполнил комический актер Сосницкий, а тот мог и значащее слово произнести так, что зал захлебывался от смеха. Но даже Сосницкий не увлек Торсона, на мгновение ему показалось, что на сцене Завалишин, когда Сосницкий изображал, как охотно его принимают во дворце. Екатерина тоже скучала. Они сидели очень близко к сцене, откуда из черного пространства тянуло холодом. Суфлер чересчур громко подсказывал текст, и это тоже раздражало.

В перерыве билетер подал Торсону записку. На небольшом листке бумаги было всего несколько слов: «Жду в восьмой ложе». И вместо подписи — буква «К». Записка от Карин! Он молча положил листок в кар-

ман, поднялся. Екатерина вопросительно посмотрела на него.

— Извини, — сказал он, — я ненадолго...

Он медленно прошел через зал. Было непонятно, зачем Карин ищет встречи. Может быть, она не одна, рядом на правах жениха — коллежский советник. Почему-то этот советник представлялся ему тучным, с пальцами, скрученными подагрой.

Но Карин сидела в ложе одна, лицо ее было неподвижно и сосредоточенно, она скорее не увидела, а почувствовала, что он вошел в ложу, и медленно повернулась.

Торсон склонился к ее руке и решил, что будет предельно сдержан. Не стоит давать повод думать, что его трогает ее замужество, пусть будет счастлива, даже хорошо, что все так оборвалось, ведь он никогда не смог бы ей дать того уюта и обеспеченности, что принесет коллежский советник, владелец поместья. Надо сдержаться и показать Карин, что ничего особенно не произошло. Просто подошел на правах старого друга семьи Стэнгрэнов.

— Вы в театре? — тихо, почти шепотом спросила Карин. — Я была уверена, что вы отправились в вояж, ушли и даже не простились...

— Я не покидал столицу...

Она подняла голову и удивленно посмотрела на него.

— Я не хотел быть лишним, — продолжал он, — ваша помолвка с коллежским советником... Это было столь неожиданно!

— Помолвка? — переспросила Карин. — Господи, неужели это, неужели вы поверили... Коллежский советник... Ему было отказано сразу... Хотя он добрейший человек.

Торсон как будто окаменел, он стоял рядом, смотрел на Карин и не мог произнести ни слова. Она про-

тянула руку, он помог ей подняться, и они отошли в глубину ложи, за портьеру.

— Карин, — тихо сказал он, — я виноват перед вами! Как я мог уверовать в нелепейшие обстоятельства? Я хотел вашего счастья, я не хотел быть помехой! Но теперь, теперь... Я люблю вас, Карин, и ничто не сможет разлучить нас!

Он обнял ее, Карин отстранилась, мягко коснулась его руки:

— Есть обстоятельства, которые выше нас...

— Теперь уже нет преград!

— Женихи, это ли преграда? — улыбнулась Карин. — Скажите, вы готовы на все?

— Вы говорите загадками, Карин, но я готов для вас сделать все! — решительно ответил Торсон.

— Славный Константин Петрович! Но, увы, уже поздно. Сердце мое разрывается. Мы уезжаем, отец решил — и это решение окончательное — вернуться на родину!

Торсон не сразу осознал ее слова. Какая родина, она здесь, и иной быть не может! Что Карин имеет в виду?

— Вернуться в Швецию, — продолжала Карин, — там властвует закон, а здесь сегодня отец угоден — и он при дворе; завтра, если попадет в опалу, не сможет заработать и копейки! Там наша страна, едемте... Там вы найдете себе достойное место!

— Карин, — прервал он ее, — это невозможно! Наша родина здесь, и я никогда не считал себя никем иначе, как русским. Я сейчас же поеду к вашему отцу — в нем говорят минутные обиды. Это безумие! Я не отпущу вас никуда...

— Поздно, поздно уже что-либо изменить. Я не властна противостоять родителям, и вы не сможете уговорить их сменить решение. На днях был Сутгоф — отец не захотел его даже слушать!

— И когда решено ехать?

— В конце года...

— Еще далеко, я уверен отец раздумает. Он поймет, и я никогда не отпущу вас. В конце года, возможно, все решится по-иному, поверьте мне, Карин! И вы для меня составите счастье, и в России будут столь же крепкие законы, я объясню это вашему отцу! Он здесь?

— Нет, я с кузинами... Уже оркестранты настраивают скрипки, сейчас зайдет Мари, я не хочу, чтобы она видела вас...

Второе действие водевиля он не смотрел. Он делал вид, что следит за игрой актеров, не понимая, о чем так страстно говорят они в своих монологах. Катерина что-то спрашивала его, он отвечал невпопад. Он все время ощущал взгляд Карин сверху, оттуда, где была ее ложа.

На следующий день обстоятельства сложились так, что он не смог приехать на Литейную, в дом Стэнгрэнов. День этот был необычайно жаркий для Петербурга, солнце заполняло адмиралтейские кабинеты, помещения буквально накалились от жары. К обеду почти все департаменты столицы опустели. Оставаться в Адмиралтействе, в духоте решать какие-то незначащие вопросы не стоило. Следовало найти Стэнгрэнов, договорить их не совершать опрометчивого шага. Возможно, его предложение Карин остановит их.

Торсон взял адмиралтейский катер, чтобы пройти до Фонтанки, там в кузнечных мастерских посмотреть, начали ли делать крепеж для шлюпов, а затем уже от мастерских пройти к дому Стэнгрэнов.

Катер шел ходко. Матросы дружно ударяли веслами. Здесь, на Неве, жара уже не ощущалась столь томительно. С визгом плескалась у берегов детвора, отдельные смельчаки заплывали на середину полноводной реки, громко окликали друг друга отдыхающие на ях-

тах и шлюпках. Холодная вода была отрадой и избавлением от всепоглощающей духоты.

Когда катер подходил к берегу, Торсон заметил дым, поднимающийся почти отвесно над Охтенской верфью.

— Уж не горит ли там что? — спросил один из матросов.

— Да нет, там, верно, смолу разогревают, — отозвался другой.

— А ну, наддай на весла! — приказал шкипер.

Катер рванулся к Охтенскому берегу. Теперь уже было видно, что множество людей суетятся у эллингов. Густой дым поднимался с той стороны, где стояли шлюпы, приготавливаемые для экспедиции. Торсон, не ожидая, когда катер принайдут к причалу, первым прыгнул на берег.

Горел один из шлюпов. Огонь бушевал внутри шлюпа, в междупалубном пространстве. Вдоль эллинга по цепочке матросы передавали ведра с водой. Несколько мастеровых суетились, пытаясь запустить помпу. Плотники, вооружившись ломami, уже начали вскрывать обшивку.

— Что вы делаете? — крикнул им Торсон, на ходу вырывая лом у одного из мастеровых.

Сейчас, пока огонь бушует внутри, пламя можно погасить — оно и само задохнется от недостатка воздуха. Стоило лишь вскрыть обшивку, дать доступ кислороду, и языки вырвутся на простор, вмиг охватят сухие доски, побегут по конопатке.

— Холсты, мочите холсты! — крикнул корабельный мастер.

Как всегда на пожаре, каждый предлагал свои меры, видно было, что флотский лейтенант, дежурный по верфи, окончательно растерялся. Когда он понял, что появился человек, старший по званию, то вообще прекратил распоряжаться, ожидая решений Торсона.

— И все-таки надо ломать, там плотник один в трюме остался, задохнется сердечный, — объяснил Торсону бородастый мастеровой.

— Людей в трюм! Быстрее! — распорядился Торсон. Несколько смельчаков бросились к шлюпу. Надо было проникнуть в трюм, подать туда воду. Работала всего одна помпа, шланги от нее потащили в помещение, соседнее с горящим трюмом, там в переборке должен был находиться лаз. Торсон тоже забрался на шлюп. Деревянные доски палубы были раскалены, жар ощущался даже сквозь подошву сапог.

— Ваше высокоблагородие, разрешите я полезу, — к нему подбежал матрос — кудрявый здоровяк в белой рубахе.

— Иван, Суздалев! — крикнул матросу корабельный мастер. — Возьми кошму, завернись!

Суздалев обмотал тело кошмой, матросы облили его. Вода, попадая на кницы, шипела.

— Привяжите его канатом, чтобы потом можно было вытащить! — приказал Торсон.

Суздалев нырнул в междупалубное пространство навстречу огню и едкому дыму. Дым вырывался из щелей и стелился по палубе.

Тем временем у набережной успели наладить еще две помпы, матросы дружно налегали на рычаги качалок, рукава шлангов зазмеились, вздулись, наполняемые водой.

— Константин Петрович! — суетился рядом лейтенант. — Я вот что предлагаю, надо стащить шлюк в воду, в Неву!

— Пока мы тащим, от шлюпа останутся одни головешки. Идите лучше распорядитесь, чтобы всех людей поставили на помпы, — приказал ему Торсон.

С очередным катером прибыло адмиралтейское начальство. Появление высоких особ сразу внесло излишнюю суету. Распоряжения, одно отменяющее дру-

гое, посыпались, как из рога изобилия. Обычно невозмутимый и напыщенный корабельный мастер Стоке метался от одной начальственной особы к другой. Среди прибывших был сам начальник Морского штаба Моллер.

Пот катился по крутому лбу адмирала, он был недоволен всеми, в том числе и адъютантом, он требовал найти виновных.

— Почему не следили за шлюпами, они строятся для вас, а не для меня! — накинулся он на Торсона. — Что за медлительность? Надо ломать обшивку, пусть сгорит один шлюп, зато спасены будут все другие корабли.

— Ваше высокоблагородие! — к Торсону подбежал растерянный корабельный мастер.— Там Суздаев застрял!

— Прошу Вас, Антон Васильевич, — обратился Торсон к Моллеру, — дайте мне право завершить начатое. Верфи пока ничего не угрожает, а шлюп терять я не намерен!

Торсон поднялся снова на палубу горящего шлюпа. Дым вроде бы поубавился. Матросы тщетно пытались вытащить из трюма Суздаева с помощью каната. Торсон выхватил ведро у одного из матросов, вылил на себя и бросился вниз, в помещение, соседнее с трюмом. Его сразу окутали клубы дыма, дышать было почти невозможно. За ним спрыгнули еще шесть матросов, сверху подали шланги, струи воды забили в тлеющие доски.

Матросы взломали переборку, и в развороченное отверстие хлынул дым, показались языки пламени. Прямо на огонь накинута кошму, подали шланги.

Из дыма, как привидение, возник Суздаев, он нес на плечах плотника, рубаха на Суздаеве дымилась. Торсон бросился навстречу, накинул на Суздаева мокрую кошму. Плотника подхватили матросы, выволокли наверх.

И все же плотника вернуть к жизни не удалось — слишком сильно он обгорел.

Суздаев сидел на земле, стонал, не в силах выдержать боль от ожогов. Руки его покраснели, правый глаз был выжжен.

— Видно, тоже не жилец, прости господи, — сказал лейтенант.

— В госпиталь его, быстро, — приказал Торсон.

Помпы продолжали бесперебойно качать воду. Дым уже перестал валить из трюма. Тлели разбросанные по земле доски.

Вокруг Моллера толпились офицеры, обсуждая происшедшие события. Моллер вытирал пот большим зеленым платком и отдувался.

— Полагаю, все же здесь есть злой умысел, — сказал Стоке, — на верфи полно беглых!

— Вы правы, мой друг, нужно найти злоумышленников, — согласился Моллер.

— В такой жаре не надо умысла, — заметил корабельный тимерман, — удар кресала, одна искра — и папка занимается огнем почти мгновенно.

Торсону пришлось снять мундир, прожженный в нескольких местах, ему принесли куртку из холстины. Моллер с удивлением посмотрел на своего адъютанта, по виду теперь не отличающегося от обычного мастерового.

— Вы были решительны, — сказал Моллер, — но всегда надо прислушиваться к советам: спасая один шлюп, вы подвергали опасности всю верфь!

— Раньше пожаров не возникало даже в самые знойные летние дни, — вмешался штабной офицер, — а сейчас высушивают доски заранее — и вот результат сего нововведения!

Это был камешек в огород Торсона.

— Высушивали и будем высушивать, — сказал он, — не давать же им гнить на бортах и палубах, а будь они

пропитаны по-настоящему известью, как я этого требовал, им был бы не страшен и огонь!

— В своих требованиях вы не желаете иметь предела, — остановил его Моллер. — Все привыкли только требовать! Повсюду требования и голоса недовольных, их есть множество — даже в Адмиралтействе. Все стремятся иметь власть. Если бы офицеры смотрели за введенным им делом, пожары бы не имели место!

Моллер отбыл со своей свитой на адмиралтейском катере. Торсон остался на верфи. Надо было проследить за тем, чтобы навели порядок, и тщательно просмотреть, не осталось ли где тлеющих досок или пакли.

Каждая новая стычка с Моллером теперь все больше усиливала неприязнь Торсона к этому бездеятельному сановнику. Пустые слова, резонерство и попытка обвинить других за свои ошибки — вот путь, на который встал Моллер. Но недолго уже осталось ему расхищать казну. Он и сам понимает, что время его сочтено. Должен слышать разговоры вокруг, и не исключено, что ему доносят о тех тайных планах и спорах, которые возникают в Морском гвардейском экипаже. Ну что же, пусть знает! Таким, как Моллер и его брат, не место в министерствах!

Ни для кого не секрет, что Моллер содержит две яхты за счет казны, сам и его домашние пользуются казенными адмиралтейскими лошадьми, даже погреб свой Моллер набивает льдом за казенный счет. Если при дворе великие князья все делают за счет казны — и дворцы и загородные резиденции строят, и любовниц содержат, — то почему не урвать свой куш и министру. А там, глядя на него, и все его приближенные норовят запустить руку в казну. И в этом не видят ничего дурного, а, наоборот, даже стараются перещеголять друг друга. Нет, пора положить этому конец! Пора прекратить разорение России!

Торсон добрался на Галерную только к ночи, на следующий день он поехал к Стэнгрэнам, но не застал их дома, тогда он помчался к Сутгофу. Поручик собирался на дежурство, они переговорили буквально на ходу.

— Еще ничего не решено окончательно, — успокоил его Сутгоф. — Артур Стэнгрэн — человек настроения, а не действий, он тоже сросся с Россией, и она ему столь же дорога, как и нам! Во всяком случае это дальние планы. Да и здесь все может измениться мгновением!

И хотя ответ Сутгофа несколько успокоил его, следовало все же решать окончательно — задержать Стэнгрэнов сможет только его предложение.

Но как объяснить Карин, что все может стать иным, он не имеет права открывать ей замыслы тайного общества. Если бы она знала, что грядут перемены! Необходимо остановить ее отъезд. Он несколько раз принимался за письмо к ней, рвал написанное и снова писал. Слова любви, начертанные на бумаге, теряли смысл. Имеет ли он право сейчас рисковать и ее судьбой?

Вольные либеральные разговоры велись почти повсеместно. Было трудно разобраться — кто причастен к обществу, а кто нет.

Николай Бестужев часто увлекал его к своим многочисленным друзьям. Не только в доме Бестужевых и у Рылеева шли пылкие споры, они не затихали и на званных обедах у директора Российско-Американской компании Прокофьева, и на четвергах у известного издателя Николая Ивановича Греча.

Греч жил в доме Бремме у Исаакия. В роговых очках, в синем фраке с Владимирским крестом на шее, чрезвычайно остроумный, Греч пришелся по душе Торсону и отвечал ему взаимной симпатией.

Всякий раз при приходе Торсона Греч восклицал:
— Господа, а вот и наш славный адмирал!

В просторном кабинете Греча всегда было многолюдно. Греч успевал и приветить гостей и решить многочисленные дела. В углу кабинета был люк, и вниз, в типографию, вела чугунная лестница.

— Мне очень лестно с вами беседовать, — говорил Греч, обнимая Торсона, — вы не пишете опусов, а по-сему не стремитесь печатать их в моем «Сыне отечества», и это превосходно!

Литераторы у Греча ценили анекдоты и шутки, любили подтрунивать друг над другом. Доставалось Булгарину, который недавно женился на Ленхен — особе, весьма неравнодушной к его друзьям. Булгарин не обижался шуткам, был беспардонен, врал, нимало не смущаясь, и, сказав одно, делал другое. Его газета «Северная пчела» тоже был поводом для едких шуток. И когда Рылеев сказал ему прямо в глаза: «Ты не «Пчелу», а клопа издаешь!», Булгарин и тут не обиделся, а просто отшутился, мол, куда мне до путеводных звезд, имея в виду альманах Бестужева и Рылеева «Полярная звезда».

Осторожный Булгарин часто выходил в переднюю или высовывался в окно, чтобы посмотреть, не подслушивает ли квартальный. Над Булгариним смеялись: опасаться какого-то будочника — мыслимо ли?

На одном из таких четвергов Торсон встретил Михаила Бестужева. Мишель очень ему обрадовался, и весь вечер они не покидали друг друга. Речь Мишеля, как всегда, была пылкой, он рассказывал о своей новой службе в Московском полку.

— Капитан Мартьянов, у коего я принял фузилерную * роту, ярый любитель фрунта! — продолжал Мишель, обращаясь к Торсону. — Избивал солдат шомполами, я же с первых дней отменил не только шомпола, но и палки, и розги. Сначала солдаты приняли это за

мою слабость, но после нескольких случаев все поняли, и я заслужил их любовь и доверие! Теперь, я уверен, солдаты моей роты пойдут за мной в огонь и в воду! Единственное, что меня убивает, — это постоянный фронт! В гвардии это как наваждение!

— Напрасно ты бросил флот, — сказал Торсон. — Ты бы мог и в Петербурге быть в Морском гвардейском экипаже.

— Я думал об этом, но решено было — именно Московский полк, и решение было верным, ведь в экипаже достаточно Антона Арбузова, этот лейтенант стоит многих! Вам надо познакомиться, вы чем-то схожи...

Вокруг бурно спорили. Торсон раскурил трубку.

— Они все с нами? — кивнул он в сторону спорящих.

Мишель улыбнулся и замолчал. Рядом буквально над головой Торсона мелким смехом рассыпался Булгарин.

— Полноте, Фаддей, — Греч взял Булгарина за руку, — это старая шутка, весь Петербург уже понял, что девиз на гербе Аракчеева «Без лести предан» следует понимать как: бес лести предан, не «з», а «с».

— Но как мог государь не раскусить этого деспота? — продолжал Греч. — Сменил на всех своих любимцев! Где они? Где негласный комитет? Какие люди! Отказывались от парадных почестей: Николай Новосильцев всего лишь с Владимиром в петлице, Адам Чарторижский с Анной!..

— Но и Аракчеев отказывается от наград, — сказал Булгарин и опять засмеялся. — Просил от Александра сей бес только царский портрет, который и носит вместо образа!

— Портрет в драгоценном обрамлении, оправа из лучших бриллиантов, — вмешался Александр Бестужев, который не пропускал ни одного четверга Греча. — И всю Россию вместе с портретом! Вот что он полу-

чил! Россию, стонущую под его шпицрутенами! И он не остановится. Но ножи на деспота уже отточены!

— О, мой друг, карбонарий, не так громко! — зашептал Булгарин.

...От Греча ушли поздно. Стоял тихий августовский вечер. Над Петербургом раскинулось звездное небо, какое редко можно наблюдать над северной столицей. Расставаться не хотелось, долго стояли у Синего моста и наслаждались мягкой прохладой.

— Сегодня Греч был просто сам не свой, так он старался казаться крайним либералом, — заметил Николай.

— Даже Торсон уверовал в него! — сказал Михаил. — Не так ли, Константин?

— Что ж, полагаю, он это от чистого сердца, — ответил Торсон.

— Вы поосторожнее с Гречем! — предупредил Михаил. — Не далее как позавчера он пристал ко мне, скажи и все тут — скажи, принадлежишь ли к тайному обществу и в чем его цели, какие намерения. И настойчиво допытывался ответа, я не выдержал и сказал ему: «Вы не сыщик, а я не доносчик и, как Иуда, за тридцать серебряников не продам неповинных!»

— Шпионов приумножилось, ты прав, Мишель, — согласился Николай, — даже в письмах надо об этом помнить, ибо политика такова: запечатывание умов и распечатывание писем!

В начале сентября весь Петербург был потрясен дуэлью Чернова с Новосильцевым. Константин Чернов, подпоручик лейб-гвардии Семеновского полка, двоюродный брат Рылеева, вызвал на дуэль знатного флигель-адъютанта Владимира Новосильцева. Причиной вызова была оскорбленная честь семьи Черновых. Новосильцев длительное время ухаживал за сестрой Чернова и официально считался ее женихом. Но под влия-

нием своей семьи стал уклоняться от женитьбы. Не мог, якобы, приближенный ко двору, потомок Орловых, по родству и связям принадлежащий к высшей аристократии породниться с простой мелкопоместной дворянкой, дочерью бедной помещицы, жившей даже не в столице, а в маленькой деревеньке.

Оскорбленный глава семейства, отец Черновых, заявил: «Погибнет старший сын, стреляться будет следующий, если все будут перебиты, стреляться буду я...»

Старшему, Константину Чернову, как и Новосильцеву, было двадцать лет, он принадлежал к тайному обществу, был честен и бескомпромиссен. О примирении не могло быть и речи. Вместе с ним в Петербург приехал его брат Сергей, готовый в случае смерти старшего встать у барьера.

Кроме секундантов и доктора на дуэли присутствовало несколько десятков человек. Кареты на рассвете остановились за Выборгской заставой, в парке Лесного института. Выбрали широкую поляну, окруженную кленами. Было решено стреляться на весьма короткой дистанции — восемь шагов. По третьему взмаху платка Рылеева они выстрелили одновременно.

Когда дым рассеялся, все кинулись к противникам, лежащим на земле. Чернов был смертельно ранен в грудь, а Новосильцев — в живот. Помощь и старания доктора ничего не дали.

Дуэль разделила столичное общество на два лагеря. В последний путь Новосильцева провожала петербургская знать. Похороны Чернова превратились в настоящую манифестацию. После отпевания в соборе за гробом двинулись более двухсот карет; сотни однополчан из Семеновского полка, склонив головы, шли в похоронной процессии. Здесь же были и морские офицеры, близкие к кругам тайного общества.

Торсон ехал в карете вместе с Александром Бестужевым. Александр не мог сдержать слез, Чернов был

его близким другом. Утро перед Дуэлью Александр Бестужев и Чернов провели вместе, составив письмо, где говорилось, что Чернов не видит другого исхода, что хочет стреляться на короткой дистанции, потому что обязан закончить дело сам, зная своих братьев, которые непременно в случае его неудачного выстрела бросят вызов Новосильцеву, что он не может простить оскорбления, нанесенного семье, и желает пасть, но доказать, что золото и знатный род не могут безнаказанно насмеяться над благородством души.

Торсон знал Чернова, порывы юноши не могли не трогать его души, он хотя и был противником дуэлей, но здесь понимал, что иным путем не могли разрешиться события, и если бы так же кто-либо из знатных повес покусился на честь его сестры, рука бы его не дрогнула.

На Смоленском кладбище стояли люди, соединенные общими чувствами. Торсон видел знакомые лица, видел слезы на глазах офицеров, не раз смотревших в лицо смерти на полях сражений.

Константин Чернов выразил то, что кипело в их душах, — беззаконию и безнравственности сановных, надменных аристократов должен быть положен конец.

Осенний день был светел. Чистое небо и неяркое солнце, пробивающееся сквозь желто-красную листву кленов. Листья неслышно падали на гроб. И вот первые комки земли ударили о крышку гроба. Люди долго стояли в безмолвии. Потом были пронзительные слова прощанья.

Долговязый, неуклюжий Вильгельм Кюхельбекер читал стихи:

Клянемся честью и Черновым:
Вражда и брань временщикам,
Царей трепещущим рабам,
Тиранам, нас угнесть готовым...
...Я ненавижу их, клянусь,
Клянусь и честью и Черновым!

С кладбища поехали к Рылееву, в этот день Торсон, увлеченный общим возмущением, тоже говорил о решительных мерах и необходимости действия.

Все склонялись к мысли, что надо ускорить ход событий. Но как? Силы тайного общества еще были явно недостаточны, основные управы располагались на юге, там решено было поднять войска в следующем году, во время императорского смотра корпусов второй армии, и предъявить императору требование о принятии конституции, а в случае отказа применить самые крайние меры, вплоть до цареубийства.

К тому времени многие честные и бесстрашные члены общества вызывались совершить его.

Через месяц при очередной встрече у Рылеева, когда они остались с Торсоном наедине, Кондратий Федорович сообщил новое решение общества.

— Если император будет противиться введению конституции, — сказал он, — и не примет законов, надо отправить на корабле всю царствующую фамилию за границу! — и спросил. — Можно ли иметь в этих целях надежный фрегат и быть уверенным в его экипаже?

Торсон ответил не сразу — вопрос был слишком серьезным и породил сомнения.

— А как же прежние планы? — спросил он.

— Теперь переменяли, — ответил Рылеев, — нам не нужно кровопролития, отправка на корабле — самый надежный вариант, все зависит теперь от вас, и общество надеется, что вы справитесь!

— Я не совсем уверен, — ответил Торсон, — не знаю пока надежных офицеров, однако думаю, что можно найти. Но есть ли нужда отправлять морем?

— На время принятия конституции надо обязательно удалить, иначе будет смута, — сказал Рылеев.

— А если оставить во дворце?

— Здесь, в Петербурге, нельзя, разве что в Шлис-

сельбурге, приставя солдат бывшего Семеновского полка, в случае же возмущения есть пример с Мировичем *!

Рылеев замолчал. Он смотрел на Торсона пристально, ожидая решения. Он уже не раз сталкивался с колебаниями и неуверенностью своих друзей, когда речь заходила о судьбе царской фамилии. Кровопролитие претило и ему.

Торсон опустил голову. Принятие конституции государем, такое же, как было в Бразилии, вряд ли повторится здесь. Заключенных в Шлиссельбург императора и великих князей, конечно же, попытаются освободить сторонники монарха. И тогда Рылеев примет меры. Солдаты Семеновского полка — надежные стражники. Но как воспримется это кровопролитие? Не ляжет ли оно тяжким обвинением на честное предприятие?.. И у Рылеева нет выбора: любой оставшийся в живых из великих князей может собрать войско, и тогда — братоубийственная война...

— Итак, — после долгого молчания сказал Торсон, повернувшись к Рылееву, — там, в Шлиссельбурге, в случае заговора всех лишить жизни?

— Зачем всех лишать? Коли согласитесь, фрегат — лучший выход!

После этого разговора Торсон понял, что Рылеев уверен в том, что план увоза императорской семьи будет осуществлен. Что ж, это был самый верный исход. Если главные события развернутся летом следующего года, времени для подготовки фрегата предостаточно.

Торсон поделился своими мыслями о плане Рылеева с Николаем Бестужевым. Николай выразил сомнение в реальности этого плана.

— Флот зависит от причин физических, — сказал он, — в предприятии, где минута решает все, один только ветер не с той стороны задувший, опровергнет все

намерения. И надо иметь власть над Кронштадтом, иначе сей приготовленный тобой корабль потонет под пушечными выстрелами крепости, не сумев выйти из гавани...

— Можно заранее ввести корабль в Неву, — сказал Торсон.

— Может быть, ты и прав, но подожди. Это дело будущего.

Событиям однако суждено было иное, стремительное развитие.

19 ноября 1825 года в Таганроге от желтой лихорадки умер Александр I, не оставив прямого наследника престола. Запретили играть оркестрам на разводах в полках, в церквях служили панихиды с утра до вечера, дамы оделись в траур. В офицерских кругах разносились противоречивые слухи. Петербург замер в ожидании...

Теперь императором должен был бы стать старший из его братьев, Константин. Тот самый Константин, который после целого ряда скандальных историй был удален из Петербурга в Варшаву, там женился на Иоанне Грудзинской, особе не царской крови, и потому был лишен возможности в дальнейшем передать престол своему наследнику.

Поэтому еще при жизни Александр составил завещание о передаче права на трон другому своему брату Николаю. Гвардия ненавидела Николая — любителя фронта и жестокой муштры.

Завещание хранилось в тайне. Государственный Совет под нажимом военного генерал-губернатора Петербурга графа Милорадовича решил присягнуть Константину, чтобы избежать возмущения войск, стоящих в столице.

Николай согласился с решением Государственного Совета. Но Константин принимать корону не собирался.

Он продолжал оставаться в Варшаве, но официального отречения от престола не присылал.

Наступил период междуцарствия. Хотя императором и считался Константин, и уже чеканились монеты с его курносым профилем, и подорожные выписывались от его имени, но фактически царя в России не было. Из Петербурга в Варшаву и в обратном направлении мчались особо уполномоченные курьеры.

Члены тайного общества понимали, что теперь необходимо использовать сложившуюся ситуацию и попытаться обрести свободу для России. Однако присяга Константину прошла спокойно, несмотря на то, что в обществе было ранее решено: смерть императора и восшествие на престол его наследника — сигнал для начала восстания.

Николай Бестужев и Торсон подписали текст присяги на верность Константину в Адмиралтействе. Был обычный день, полный суеты и служебных дел. Были другие заботы. Все шло своим чередом. Начальник Морского штаба Моллер ходил по апартаментам весьма довольный и рассказывал о своем близком знакомстве с новым императором.

Бестужев и Торсон, не стовариваясь, вышли из Адмиралтейства. Извозчик вмиг домчал их через площадь к дому Российско-Американской компании.

Николай Бестужев скинул шинель, вытер лицо и стал рассказывать о присяге, он говорил необычно быстро, кружился возле кресла, в котором сидел Рылеев:

— Где же общество? Что оно? Настала минута показаться! Где собираемся? Что предпримем? Почему общество, если оно сильно, не знало о болезни царя? Во дворце уже больше недели получали бюллетени о сем. Если есть план, намерения, скажи нам, мы приступим к исполнению!

Рылеев молчал, известие застало его врасплох. На днях Сергей Трубецкой, встретив его в доме Лавалей, сказал, что император при смерти, что надо съехаться и обо всем поговорить подробно. Трубецкой полагал, что на юге, как это ранее решено с Пестелем, смерть Александра послужит сигналом к выступлению. Корпуса южных армий во главе с Пестелем и Муравьевым-Апостолом двинутся к столице, и надобно приготовиться сколько возможно, чтобы содействовать южным членам общества. Следовало, конечно, не упускать время, а собраться заранее, и теперь мгновение, столь ожидаемое, упущено — гвардия присягнула Константину.

Рылеев молча сидел, положив голову на руки. Мысль о том, что все планы рушатся, что все осталось лишь разговорами, не обрета действия, убивала его. Наконец он встал, подошел к Бестужеву и сказал:

— Это обстоятельство дает нам понять о нашем бессилии. Я обманулся сам, никакие меры не приняты, число наличных членов общества в Петербурге невелико, но, — тут Рылеев оживился, стал прежним, глаза его заблестели, — мы соберемся сегодня вечером... Дайте знать Арбузову, пришла пора действовать!

Звякнул входной колокольчик, их беседу прервали появившиеся в дверях Александр Бестужев и Гавриил Батеньков. Бестужев был возбужден и горел желанием тотчас же поднимать полки. Батеньков протирал очки большим клетчатым платком и тоже был настроен по боевому.

С этого момента почти не умолкал колокольчик у входа, и в квартире Рылеева начались непрерывные совещания. Дом Российско-Американской компании превращался в штаб предстоящего восстания.

Торсон чувствовал, что теперь события неостановимы, значит, неизбежно возмущение, ведущее к кро-

вопролитной схватке... И даст ли все это желаемые плоды? Народ, задавленный бременем крепостничества, лишенный просвещения, готов ли к переменам? Нужны годы, чтобы образование и свободомыслие коснулось всех кругов. Сумеет ли общество, даже взяв верх, все в корне изменить? Способно ли оно опрокинуть устои, сложенные столетиями? Возможно ли в России республиканское правление, не приведет ли это возмущение к тому, что явится новый Бонапарт и еще более стеснит народ?

Бурные споры у Рылеева не разрешили сомнений Торсона. В последних совещаниях он не участвовал. Но он ежедневно виделся в Адмиралтействе с Николаем Бестужевым и от того узнавал о развитии событий. Бестужев сообщил ему о главном намерении общества — выводить войска на Петровскую площадь в случае переприязи Николаю и под защитою штыков требовать от Сената созыва Всероссийского Собора.

— Не должно спешить, — пытался доказать он Бестужеву, — лучше десять или двадцать лет дожидаться и в это время все подготовить, чтобы не наделать великих зол при перемене!

Николай не хотел внимать рассудочным словам своего друга, он весь уже проникся стремлением к действию. Он почти не слушал, о чем говорит Торсон, пытался переубедить его. Он хотел, чтобы Торсон был вместе с ним в тот особый час, который приближается и в который должна решиться судьба России. Скоро он понял, что убеждения бесполезны.

— К тому же у нас почти нет необходимых сил для прямых действий, — продолжал Торсон, — у моряков ни малейшего движения я не усматриваю, по-моему, им все безразлично. Вчера был очередной кутеж — это главное, и все...

— Едем в гвардейский экипаж, — вспыхнул Бестужев. — Ты убедишься в обратном, там все готовы к воз-

мущению. Жаль, конечно, что Федор Матюшкин в кругосветном плавании на шлюпе «Кроткий» и вернется не ранее, как через год. Но зато есть Арбузов!

Рылеев, по его настоянию, в эти дни принял Антона Арбузова в тайное общество. Всем пришлось по душе твердый, несколько даже жесткий, решительный лейтенант Арбузов, и высокообразованные, вдумчивые братья Беляевы, и брат Вильгельма Кюхельбекера Михаил, и пылкий юноша мичман Василий Дивов. Они сумеют поднять флот на возмущение.

Торсон ехать в гвардейский экипаж отказался. Весь день он был замкнут и дома, не проронив ни слова, прошел в свой кабинет и там сидел, не зажигая свечей.

Двойственное положение угнетало его, планы Рылеева казались непоправимой ошибкой. Прежде чем начинать возмущение, полагал он, надо все тщательно взвесить: и на чьей стороне будет гвардия, и каково будет решение Сената. При этом следует найти понимание у сенаторов, многие из них должны внять голосу разума, ведь немало есть достойных мужей, таких, как Мордвинов, Сперанский... Почему этого не хочет осознать Николай Бестужев?

Ночью Торсон не спал. Ломило в висках, ныло тело. Утром он решил обязательно показаться лекарю.

На следующий день Торсон с трудом пробыл в Адмиралтействе до обеда, движения его были вялы, слова окружающих он воспринимал так, будто доносились они издалека и звучали приглушенно. Он решил поехать домой — отлежаться, поставить пивовок, напиться чаю с малиной. У входа в Адмиралтейство свободных экипажей не было. Холодный ветер проникал под шинель, пронизывал насквозь.

Его догнала карета, извозчик что-то прокричал, Торсон не сразу понял, что зовут именно его.

Каково же было его удивление, когда в проеме

распахнутой дверцы он увидел Карин. Она была в меховом капоре и котиковой шубке. Торсон вскочил в карету, извозчик взмахнул кнутом, и лошади понесли.

— Я сегодня была уверена, что встречу вас, мой капитан, — сказала Карин.

Он обнял ее. Карин не отстранилась.

— Если судьбе будет угодно, все решится скоро, — сказал Торсон. — Но если нет, обещайте забыть меня: согласитесь с родителями!

— О, у вас жар, вы весь в огне, — сказала она, дотронувшись ладошкой до его лба.

Карета мчалась по Невскому, им было все равно, куда ехать.

— Я слышала, — продолжала она, — что затевается возмущение, дайте мне слово, что вы не с ними. Отец утверждает, что все моряки и гвардия будут возмущены... Поклянитесь мне, что вы... Я не могу, не хочу потерять вас, еще не обрета!

— Не волнуйся, Карин, милая, — сказал он, — постарайся не думать обо мне!

— Я так и знала, что ты с ними, я так и знала... Но что бы не случилось, клянусь, мы будем вместе, будем вместе!

— Карин, милая, если что-либо случится, уезжай с родителями — так будет лучше!

У моста они повернули карету, и, сделав два круга по Петровской площади, мимо Сената выехали на Галерную, он сошел из экипажа прямо напротив здания флотских казарм.

Именно теперь он не имел права связывать ее каким бы то ни было обещанием. Карин не должна подвергаться риску, для него же путь к отступлению отрезан, ибо жизнь его теперь зависит от действий общества, которое далее не намерено сдерживать возмущения.

На квартире Рылеева решалась судьба восстания. Члены общества, движимые единым порывом, группировались вокруг него, от него ждали решительного сигнала. Велись нескончаемые споры, взвешивались силы, шла деятельная подготовка к выступлению.

Мысль, единую для всех, выразил Иван Пущин.

— Случай весьма удобный. Если мы не будем действовать, мы заслужим имя подлецов!

— И канем безвозвратно! — поддержал его Евгений Оболенский.

Поручик лейб-гвардии Финляндского полка, адъютант командующего гвардейской пехотой князь Евгений Оболенский действовал четко и методично. Он принял в общество новых молодых офицеров и был твердо уверен в их решимости поддержать выступление.

Александр Якубович оставался сторонником самых крайних мер, он с жаром предлагал разбить кабаки, дозволить солдатам и черни грабеж, вынести из церквей хоругви и идти ко дворцу.

— Нашему солдату нужны сильные средства для возбуждения к действию! — восклицал он.

Отставной кирасирский поручик Петр Каховский утверждал, что крови бояться не должно.

— Любезный друг! — обратился к нему Рылеев. — Ты сир на сей земле. Ты должен пожертвовать собой для блага общества — открой нам путь, убей императора!

— Умрем! Ах, как славно мы умрем! — в каком-то упоении повторял Александр Одоевский.

Князь Сергей Трубецкой, слово которого было решающим, соглашался как на самую крайнюю меру — мирную демонстрацию войск.

Подполковник в отставке, бывший моряк, барон Владимир Штейнгель предложил возвести на престол императрицу Елизавету, жену Александра I и, если она

согласится даровать народу конституцию, действовать ее именем.

Окончательно решено было: выработать манифест, вывести войска на площадь перед Сенатом, не допуская сенаторов к присяге Николаю, вручить им манифест.

— Потрясение необходимо, — пылко утверждал Рылеев, — тактика революций заключается в одном слове: дерзай, и ежели это будет несчастливо, мы своей неудачей научим других!

Диктатором предстоящего восстания, как старший в звании и один из директоров Думы Северного общества, был избран полковник князь Трубецкой, доказавший свою храбрость и талант военачальника в сражениях под Бородино и при Кульме в Отечественную войну. Ему в помощники были назначены любимаец гвардии, бывший командир 12-го Егерского полка полковник Александр Булатов и храбрый кавказец, не раз стоявший под пулями и ядрами капитан Александр Якубович. Евгений Оболенский, как адъютант командующего, державший в своих руках все нити связей с офицерами гвардейских полков, был назначен начальником штаба. Николай Бестужев стал одним из самых деятельных участников подготовки восстания. Он не раз побывал в Морском экипаже, в гвардейских полках, повсюду обретая сторонников. С помощью Торсона он был намерен убедить в необходимости выступления члена общества командира 2-го батальона Финляндского полка Моллера, племянника начальника Морского штаба, с которым Торсон был близко знаком.

Они поехали в Финляндский полк. Пролетка лихо промчалась по наплавному мосту на другой берег Невы. Легкий снег медленно опускался на набережные, река уже стала, и люди шли по льду, протаптывая в снегу темные извилистые тропинки.

— Отказаться от выступления немислимо, — говорил Николай, — не верить в победу — преступление. Пойми, теперь обнаружилось, что при дворе извещены об обществе! Удар в спину — донос Якова Ростовцева. Помнишь этого заику, автора глупых трагедий! Он сам объявил Оболенскому, что донес на нас! Он высказал будущему императору самое важное — то, что в день присяги войска рано утром будут выведены к Сенату. Ежели теперь мы откажемся от своего плана, нас перехватывают в постелях сонных, как куропаток, мы уйдем из этого мира, так и не совершив возложенного на нас историей! Нам дается последний шанс, упускать который смерти подобно!

— Так почему же Ростовцев пошел к Николаю, а среди общества не нашлось ни одного приближенного ко двору, который бы открылся и предложил наследнику принять условия общества? Почему молчат сенаторы? Сейчас пока еще не присягнули, они вправе просить конституционных реформ, вправе высказать свое мнение! И где же директора тайного общества — пришло время явить конституцию будущему императору! Надо только все хорошо и обстоятельно объяснить... — сказал Торсон.

— Ты так ничего и не понял! — раздраженно заметил Бестужев. — Можно ли полагаться на милость будущего императора? Разве ты не знаешь, что представляет собой Николай? Это будет тиран похлеще своего усопшего брата, он не станет заигрывать с либералами. Он жаждет полного изничтожения свободомыслия. Сейчас все зависит от того, сумеем ли мы возмутить полки. Брат Александр и Рылеев ночами ходят по городу и дают понять солдатам, что необходимо требовать отмены второй присяги, что Константин обещал сократить срок службы до пятнадцати лет. Солдаты настроены поддержать нас! Вся гвардия бурлит! Я уверен, на юге полки уже под ружьем! Они ждут

только нашего сигнала! Лишь решительными действиями можно обрести свободу для России! Если ты и сейчас против выступления, я не собираюсь тебя уговаривать больше, но с Моллером ты должен помочь. Если будешь говорить ты, он послушает тебя — найди нужные доводы!

У казарм Финляндского полка они остановили пролетку и сказали извозчику, чтобы не дожидался их.

Полковника Моллера на месте не оказалось. Дежурный офицер доложил, что командир уехал в Морской штаб. Пришлось мчаться назад, опять на Английскую набережную.

В штабе они нашли полковника, но разговор на ходу не получился. Моллер не был настроен к выступлению, он смотрел на них бесцветными глазами, такими же, как у дяди. Смотрел бесстрастно, не проявляя ни малейшего интереса к делам общества.

— Я не намерен служить орудием и игрушкой других в таком деле, где голова не твердо держится на плечах, — заявил он и отвернулся, давая понять, что дальнейший разговор излишен.

Наверняка не все гвардейские полки столицы готовы поддержать общество, подумал Торсон. Сумеет ли Трубецкой возглавить гвардию, увлечь ее?.. Нужны генеральские эполеты, а Трубецкой полковник... Следует прежде, чем возмущать войска, избрать достойных депутатов, которые представят Государственному Совету и Сенату проект конституции. Найдутся сенаторы, готовые поддержать конституцию, способные убедить принять ее.

Вечером Торсон пришел к Бестужевым, на Васильевский остров.

У двери дома он столкнулся с Петром Бестужевым. Обычно спокойный и неторопливый, сегодня Петр был необычайно взволнован. Он приехал в Петербург

из Кронштадта три дня назад, сопровождал Любовь Степовую. Как и Карин, она почувствовала, видимо, что в столице готовится возмущение, пыталась уговорить Николая уехать с ней в Кронштадт. Николай категорически отказался. С Петра он взял слово, что тот вернется на остров вместе со Степовой. Торсон понимал, что Николай не хочет подвергать риску младшего брата, недавно принятого в общество.

— Но я не намерен оставаться в Кронштадте сейчас, когда решается судьба отчины! Я еду к брату Александру, он поймет меня! — сказал Петр.

— Нет, нет, — крикнул Торсон, — ты ни в коем разе не должен оставаться!

Но Петр уже не слышал его, буквально на ходу он вскочил в сани и уже оттуда воскликнул:

— До встречи завтра!

В доме Торсон застал только сестер. Николай, по их словам, должен был вот-вот появиться.

Был тихий мирный ужин в кругу семьи, и казалось, ничто не предвещало завтрашних событий.

Николай Бестужев возвратился домой поздно, он был не один, шумно вошли в комнаты покрасневшие от мороза и возбужденные Кондратий Рылеев и Иван Пущин.

Они только что закончили на квартире у Рылеева совещание. Там был окончательно определен порядок завтрашнего выступления. Было решено, что Зимний дворец займет Морской гвардейский экипаж, который возглавит Александр Якубович. С ними, как на самом важном участке, будет Рылеев. Полки, расположенные вдоль Фонтанки, должны будут следовать один за другим к площади у Сената, а лейб-гренадеры смогут занять Петропавловскую крепость, так как Петровские казармы, где они квартируют, находятся на Аптекарском острове, поблизости от крепости.

Все они были твердо уверены, что удастся поднять

шесть гвардейских полков — Измайловский, Егерский, Московский, Лейб-гренадерский и Морской гвардейский экипаж и даже Финляндский, несмотря на отказ от действий полковника Моллера.

Торсон не вышел навстречу гостям, он оставался в комнате Прасковьи Михайловны с Еленой и Ольгой. Ему хотелось поговорить с Николаем Бестужевым, он понимал, что своим отказом от участия в завтрашнем предприятии он отодвинул себя от всех, стал как бы чужим. Ему надо было поговорить с Николаем наедине. Объяснить, что он, Торсон, не менее других жаждет введения конституционного правления, что есть средства к достижению цели иным путем. Ему казалось, что Николай слишком увлечен пылким настроением молодых офицеров, поддался общему порыву, не взвесил все «за» и «против», что все это приведет к тому, что они погибнут в начатом ими самими водовороте. Возможно, и Николай, и Рылеев считают, что он, Торсон, отступился от общества в самый решительный момент. Но он ведь тоже пламенно жаждет перемен...

Николай Бестужев был увлечен разговором со своими гостями, он только на мгновение зашел к матери, обнял ее, кивнул Торсону. Говорить что-либо при Прасковье Михайловне нельзя, чувствовалось, что и так она о многом догадывается и переживает, не смея что-либо высказать сыновьям.

Потом в коридоре Николай сунул Торсону несколько листов плотной бумаги и сказал:

— Прочти, может быть, это убедит тебя. Здесь изложено все, за что мы пойдем! Это наш манифест! Окончательный текст у Трубецкого, это же мои наброски, но суть одна!

Торсон прошел в кабинет Николая, уселся в кресло и стал читать. Все было изложено предельно четко. Этот манифест завтра будет предъявлен на рассмотрение Сената. Любой здравомыслящий сенатор должен

понять, что здесь содержатся совершенно законные требования. Правда, немного излишен пафос, это, вероятно, Владимир Штейнгель или Александр Бестужев... «Император Александр I скончался, оставляя Россию в бедственном положении. В завещании своем наследие престола он предоставил Николаю Павловичу. Но великий князь отказался, объявив себя к тому не готовым, и первый присягнул императору Константину I. Ныне же получено известие, что цесаревич решительно отказывается. Итак, они не хотят, они не умеют быть отцами народа».

Далее уже почерком Николая Бестужева шло главное — объявление об уничтожении существующего правления, отмена крепостного права, равенство всех перед законом, свобода торговли, учреждение выборов во всех губерниях, созыв Народного Вече, сокращение срока солдатской службы с двадцати пяти до десяти лет, роспуск военных поселений, свобода тиснения и гласность суда.

Все изложенное в манифесте было понятно, пожалуй, этим манифестом даже можно увлечь войска, особенно сокращением срока солдатской службы. Но если это случится завтра, если произойдет возмущение, новый император перед лицом гвардейских полков пойдет ли на уступки? Не выставит ли против верные ему полки? И тогда решится ли дело просто переговорами? Страна будет втянута в стихию кровопролития. Единственное, на что сейчас надеялся Торсон, — это оглашение манифеста в Сенате до восстания и принятие его сенаторами, тогда манифест возьмет силу и будет представлен императору от имени Сената!

Бурные споры продолжались. Пришли новые гости, говорили шумно, обнимались, настроение у всех было приподнятое. Торсон решил уйти незаметно, Николай Бестужев проводил его.

— Нам осталась ночь, теперь уже все предрешено. Ты согласен с манифестом? — сказал Бестужев.

Торсон кивнул и спросил:

— На чем порешили сегодня?

— Прежнее решение в силе, — ответил Бестужев, — собираемся на площади. Иного пути у нас нет! Будешь с нами?

Бестужев пристально посмотрел на своего друга, в последний раз он ждал ответа. Неужели Торсон так ничего и не понял? Сегодня его, Торсона, обстоятельность и практичность излишни — события не поддаются расчету! Наивна вера в то, что перемен можно добиться уговорами и медленным воздействием на умы!

Торсон так ничего и не сказал в ответ. Он медленно спустился с высокого обледеневшего крыльца. Редкие огоньки светились в окнах домов, город спал. Какая-то настороженность чувствовалась вокруг — и в чрезмерно громких окриках будочника, и в цокании копыт кавалерийских разъездов, и в желтеющей среди облаков полной луне. И, казалось, успокаивая себя и других, хрипло провозглашал бородатый будочник: «Ничто не угрожает спокойствию столицы!» И бил в колотушку.

Чуть свет 14 декабря 1825 года Торсон пошел в дом Морского министра. На площади перед Сенатом никого не было. На чистом свежем снегу следы полозьев, несколько карет у входа в правительственное здание. Тишина. Он вздохнул облегченно, решив, что мнение переменялось и гвардия не будет выведена из казарм. Наверно, теперь все отодвинуто на более благоприятное время — до тех пор, пока общество окрепнет, а члены его займут видные посты в Государственном Совете.

И тут же шевельнулась иная страшная мысль: не означает ли безлюдие и тишина площади того, что но-

вый император, не знающий сомнений, ярый враг проявления мысли, уже отдал приказ об аресте всех членов тайного общества и друзья сейчас под стражей? Он тоже будет арестован Моллером, как только войдет для доклада. И все планы, все будущие вояжи, переустройства оборвутся словами: «Сдайте Вашу саблю, капитан-лейтенант!»

Но в доме Морского министра начинался обычный день, понедельник. Моллер был еще под впечатлением вчерашнего вечера, проведенного у князя Сергея Голицына, и не желал заниматься бумагами. Он велел принести лимонного сока и попросил Торсона предупредить всех господ офицеров, чтобы не разбегались с утра, ибо вскоре они должны будут собраться в Адмиралтейском департаменте и там присягнуть на верность новому государю.

— Вы что-то слишком мрачны и озабочены, капитан-лейтенант. В чем причины? — спросил он.

— Перемены погоды столь часты, я простужен, ваше превосходительство, и, верно, не смогу сегодня приносить пользу на служебном поприще, — ответил Торсон.

— В такой день надо иметь немножко силы и перебороть себя, — заметил Моллер, — ибо что есть лучше и знаменательней, чем восшествие на престол наследника. Николай Павлович сумеет крепкой рукой обуздать русского коня. Русским нужна сильная фигура и немного приучения к порядку, а он это доказал, командую Измайловским и Егерским полками!

Через час прибыл посыльный из Адмиралтейства, и они на четырех каретах поехали через Петровскую площадь. Площадь по-прежнему оставалась пустынной. Лишь у Исаакиевского собора было оживленно, рабочие шумно переругивались, тащили сваи, хриплые голоса нарушали тишину морозного декабрьского утра. Еще не совсем рассвело, и в морозной дымке памятник

Петру не казался монументальным, он был как бы сотканным из седого инея и дрожащего тумана. Никаких признаков движения гвардейских полков. У здания Сената тоже было пустынно — ни саней, ни карет.

В Адмиралтействе Торсон узнал, что Сенат присягнул необычайно рано, в семь утра, и понял — наследник упреждает события. Господа сенаторы давно разъехались по домам завтракать, и теперь некому предъявить манифест, даже если войска и выйдут на площадь. Дежурный офицер сообщил, что присяга в гвардейских полках началась и проходит спокойно.

В Адмиралтействе штабные офицеры и чиновники многочисленных экспедиций быстро подписали текст присяги, не вчитываясь в обычные в таких случаях слова.

Моллер, стремящийся в столь торжественный день быть ближе к высоким особам, сказал, что едет во дворец, и предупредил Торсона, чтобы в случае поступления особо важных документов из Главного штаба незамедлительно посылали за ним.

Казалось бы, ничто не предвещало нарушения привычного хода дня, когда вбежал запыхавшийся офицер в расстегнутой шинели со съехавшим набок эполетом и крикнул:

— Господа, московцы в полном возмущении! Они с барабанным боем прошли по Гороховой с боевыми знаменами и сейчас выстроились в каре у памятника Петру! Они отказываются присягать на верность престолонаследнику и требуют Константина!

Офицер этот был первым вестником. В Адмиралтействе забегали курьеры, появились люди, своими глазами видевшие возмутителей. Рассказы их были сбивчивы и разноречивы.

Торсон весь напрягся, он ловил каждое слово — значит, началось, и уже не остановимо, и теперь нужны только решительные действия, и если это Москов-

ский полк, то наверняка во главе его Мишель Бестужев. Вправе ли он, Торсон, знающий, что такое настоящие батальоны, оставаться в бездействии, когда его друг и ученик обнажил саблю!

Теперь уже надо отбросить все сомнения. Первый камень сдвигает лавину. И не пристало быть в стороне и наблюдать, как товарищи гибнут в камнепаде. Но что предпринять? Только ли москвичи? Поддержат ли их другие полки?

Торсон быстро прошел в ту часть Адмиралтейства, из окон которой была видна площадь у Сената, и ему открылась необычайная картина. Ряды москвичей, оцепившиеся штыками, толпы любопытных, стекающихся со всех сторон, и грозное и неотвратимое движение кавалерийских полков, окружающих безмолвное каре.

Было одиннадцать часов утра, и неяркое зимнее солнце, пробившееся сквозь редкие белые облака, казалось, недвижно повисло над площадью.

К широкому окну, из которого открывался вид на площадь, потянулись другие морские офицеры, находящиеся в Адмиралтействе.

Перед каре, ближе к их зданию, напротив бульвара рассыпалась цепь стрелков. Это было правильное решение, значит, Трубецкой там, значит, командует опытный военачальник. Вдоль цепи бегал офицер, и на мгновение Торсону показалось, что он узнал князя Оболенского. По цвету мундиров солдат он понял, что цепь составлена тоже из москвичей. Основная же часть солдат слилась в неподвижное каре, в рядах можно было различить офицеров в парадных мундирах и несколько штатских. Толпа простолюдинов все росла, множество народа скопилось на Адмиралтейской площади, на прилегающих улицах, на набережных Невы. На мгновение народ у бульваров расступился, и рота Преображенского полка ровными рядами прошла вдоль

доставившегося дома министерства финансов. На углу строй замер, и солдаты разом зарядили ружья.

Неожиданно прямо на каре помчался всадник с лентой через плечо. Он остановил коня, подъехал почти вплотную к мятежному каре. И вдруг белый шар возник перед ним, выстрела слышно не было. Всадник упал. К нему бросились, подхватили, поволокли в сторону Манежа.

Тем временем к площади продолжали стягиваться конные войска. Конногвардейцы, обогнув Исаакиевский собор, выехали вперед, и ряды их вытянулись между собором и домом Лобанова. Навстречу им, стремясь замкнуть цепь, окружающую каре, двигались кавалергарды. В Галерной улице замелькали мундиры солдат Павловского полка.

Конница построилась для атаки. Гвардейская конница — вышколенные всадники в тяжелых кирасах, лихие рубаки. Казалось, мгновение — и они сомнут восставших. Но в рядах каре грянули ружейные залпы. Конники, которые уже достигли рядов московцев, сгрудились в замешательстве, кони сшиблись, конногвардейцы в панике отступили.

Лицо Торсона побелело, пальцы нервно впились в ладони. Его окликнули, он продолжал стоять неподвижно.

— Что с вами, капитан-лейтенант! — спросил дежурный офицер.

Оказалось, что Моллер разыскивает его.

Моллер был возмущен, он только что вернулся с площади. Речь его была прерывиста, обычно неподвижные глаза теперь испуганно бежали.

— Это есть безумие, это бунт! Слава господа, среди смутьянов нет моряков! Среди моряков бунт не возможен, я заверил в том государя!

— Там, среди мятежников — сброд, — подтвердил один из офицеров, сухой и долговязый, он склонился

к Моллеру: — Там чернь и полно фрачников! Это статские подбивают солдат к неповиновению. Я сам видел. Я стоял вблизи. Я видел, как выехал к ним Милорадович. Генерал пал от руки фрачника! Это безумие, это надо пресечь! Государь напрасно медлит!

— Милорадовича с трудом отыскали, — вставил другой офицер, — он был у Телешовой. Сгоряча он помчался на каре!

— Напрасно вы так! Он пытался образумить московцев! — продолжал долговязый. — Он обратился к обманутым солдатам с призывом разойтись. Он спросил, был ли кто из них в сражениях вместе с ним, они молчали. Тогда он воскликнул: «Слава богу! Здесь нет ни одного русского солдата!» Вы знаете его крутой характер. Он закричал: «Буяны, разбойники, мерзавцы, осрамившие русский мундир, военную честь, звание солдата! Пятно России! Преступники! Падите к ногам государя. Следуйте за мной!» И он добавил им соленых истинно русских слов. И тогда, представьте, из рядов бунтовщиков выскочил фрачник с глазами разбойника — и прогремел выстрел. Это ужасно!

— Господа, возмущение будет подавлено, конница окружила бунтовщиков. Но следует обеспокоиться о Морском экипаже. Мы должны быть там, чтобы знать точно! — сказал Моллер.

Он встал, ему тотчас подали шинель.

— Едем со мной! Господин Торсон, соберите офицеров! Что это с вами? Вы бледны, как это сказать... как полотно.

— Я болен, ваше превосходительство. Доктор советовал ставить мушку, но сие не помогло, — ответил Торсон.

В это время дверь распахнулась, и, звеня шпорами, вбежал адъютант Дибича. Все повернулись к нему, он бросил кивер на стол и крикнул:

— Морской гвардейский экипаж ввергнут в бунт,

господа! Флигель-адъютант, посланный остановить возмутителей, избит прикладами!

— Канальи! — закричал Моллер, лицо его перекосилось, глаза налились кровью.

— Во главе мятежников историограф Бестужев, — добавил посыльный.

Торсон вздрогнул, и ему показалось, что высокий лепной потолок опускается на голову.

Вслед за Моллером и штабными офицерами он сбегал вниз.

Они с трудом пробились сквозь плотную толпу народа к Манежу, туда, где со своей свитой находился новый император.

Матросы гвардейского Морского экипажа, как потом выяснилось, в количестве более тысячи человек были действительно выведены на площадь Николаем Бестужевым. О том, что Якубович отказался встать во главе экипажа, Николай Бестужев узнал из записки, которую утром привез ему Петр Бестужев от брата Александра.

Николай спешно выехал в казармы на Крюковом канале и здесь собрал офицеров из кружка Арбузова. «Кажется мне, все здесь собрались за общим делом и никто из нас не откажется действовать. Откиньте самолюбие, пусть начальником вашим будет Арбузов, ему можно верить», — сказал Николай Бестужев. В экипаже был бригадный командир Шипов, который попытался уговорить моряков принять присягу, но все офицеры единогласно отказались. Тогда Шипов приказал арестовать офицеров. Но, по приказу Николая Бестужева, братья Петр и Александр Беляевы поднялись наверх в казармы и освободили товарищей.

В это время до морских казарм донеслись выстрелы с Сенатской площади — это москвичи отражали первые атаки конной гвардии. Тогда мичман Петр Бестужев крикнул: «Ребята, что вы стоите? Слышите стрельбу?»

Это наших бьют!» Антон Арбузов приказал зарядить ружья боевыми патронами. И Николай решительно взял инициативу в свои руки: «За мной, на площадь! Вырывать своих!» И восставший экипаж со знаменем впереди двинулся к Сенату.

Поздно было что-либо предпринимать, Моллер понимал это. Единственное, что он хотел сделать, — появиться перед императором, оправдаться, доказать свою преданность, сообщить, что он заранее принял меры, что остальные флотские экипажи в Кронштадте верны дворцу.

Но подойти к императорской свите было не просто. Простолоудины, вооруженные кольями, напирали на солдат. Из толпы в офицеров летели камни и поленья, в царскую свиту бросали смерзшиеся комья снега. Белые лосины флигель-адъютанта из императорской свиты были заляпаны грязью, андреевская лента порвана. Застоявшиеся кони вздрагивали и храпели. С какого-то свитского штабного офицера мужики сорвали шинель и эполеты. В толпе кидали вверх шапки и кричали «Ура!». Ясно, что вокруг не простые зеваки, что все они на стороне тех, восставших, и среди криков «Ура, Константин!» явно слышны и другие: «Ура, конституция!».

На мгновение конногвардейцы, сдерживающие толпу, крупами лошадей расчистили проход, и Торсон совсем близко увидел мертвенно бледное лицо нового императора. Его окружали генералы и царедворцы: среди них знакомая фигура в штатском — знаменитый российский историк Карамзин. Зачем он здесь? Почему в рядах коннопионеров и кавалергардов мелькают лица офицеров, которых Торсон видел у Рылеева? Вот этот высокий увалень, кудри из-под каски, это ведь Анненков. Неужели он отошел от общества? И Торсон понял, насколько шатко сейчас положение правительственных войск, когда в их рядах тоже заговорщики,

и если начнется схватка, трудно будет разграничить, кто с кем. И его видят сейчас среди офицеров, подле Моллера, и думают точно так же, как он об Анненкове. Пока еще не поздно, пока предоставляется выбор — надо прорваться туда, к каре, к Бестужевым, к Рылееву.

Смерть ему не страшна. Он не единожды смотрел ей в глаза в морских баталиях. Разве в этом дело? Положить голову за общее благо, быть вместе с единомышленниками, а не здесь, подле Моллера! Но как помочь тем в каре, вокруг которого стягивает петлю окружения царская конница? Если бы не лед, сковавший Неву — подойти на многопушечном фрегате! И не надо возмущения полков, этого каре, сумятицы на площади. Корабельные орудия стали бы веским доводом для принятия конституции!

Силы восставших меж тем росли. По льду Невы с криками «Ура!» с той стороны появились лейб-гренадеры, их целая лавина, впереди поручики Александр Сутгоф и Николай Панов.

Декабрьский, столь короткий по времени и полный бурных происшествий день подходил к концу, уже смеркалось, и теперь в темноте все могло перемешаться, вся площадь могла стать мятежной.

Царь торопил командующего артиллерией Сухозанета.

У Манежа расступились войска, чтобы очистить место для батареи. Три орудия выкатили перед Преображенским полком, их стволы направлены от дома Лобанова к Петровской площади.

И вот уже Сухозанет, пытавшийся говорить с восставшими, ускакал от них под свист и улюлюканье. И на ходу выдернул из шляпы белый султан. Это знак.

Первый залп картечи поверх голов — дробь по стенам Сената, еще залп — картечь ударила в мостовую. Каре ответило беглым ружейным огнем. И третий

залп — прямой наводкой в густой строй. Смертельный шквал картечи косил каре.

Народ, теснимый конными гвардейцами, ринулся, ища спасения, в ближайшие улицы, под прикрытие зданий. Восставшие отступали по Крюкову каналу, по Галерной и по Английской набережной. Часть москвичев бросилась по льду через Неву. Раненые стонали на затоптанном снегу.

Картечь продолжала сеять смутение и смерть.

Общее движение вынесло Торсона к Адмиралтейскому каналу, он отскочил к стене здания, протиснулся за деревьями. В висках стучало, голова, казалось, разламывается, движения его были скованы, и все происходящее воспринималось, как в дурном сне, когда не хватает усилий воли, чтобы прервать сновидение, и ты сам совершаешь действия, противные тебе и твоей совести. Грохот артиллерийских залпов стоял в ушах, как бы застряв, повиснув в морозном воздухе. Как они могли — прямой наводкой по тесным рядам! Живы ли друзья? Где Бестужевы?

...Совсем стемнело. Жандармы довершали то, что начала картечь. Восставших ловили в соседних улицах, окружали на льду Невы, сгоняли на площадь перед Сенатом, туда, где еще несколько часов назад они стояли в грозном каре.

На площади жгли костры, вокруг которых жались, переступали с ноги на ногу озябшие солдаты, позвякивали шпорами офицеры, окликались друг друга. Конный разъезды рыскали повсюду.

Колонны арестованных представляли печальное зрелище. Мороз усилился, и солдаты в одних мундирах бредли, сжавшись и понурились головы.

Дворники засыпали свежим снегом следы крови, повсюду были поставлены пикеты егерей и измайловцев. Два эскадрона кавалергардов так и остались в

строю, и в темноте были слышны окрики командиров, треск горящих дров. Пламя костров вырывало из темноты лица сановников, распорядившихся облавой.

Трупы убитых свозили на санях к Неве, затаскивали поспешно в дымящиеся холодом проруби, иногда в гряде тел раздавались стоны, но их старались не слышать: старались как можно быстрее расчистить площадь.

Торсона несколько раз останавливали: видимо, вид его был подозрителен и выдавало смятение на лице. Всякий раз ему приходилось подолгу объяснять, кто он. Один из пикетчиков, молодой и заносчивый поручик, когда Торсон заметил ему, что не следует задавать вопросы старшим по званию в столь грубом тоне, сказал:

— Сейчас ваше звание мне ни о чем не говорит, я имею рескрипт Бенкендорфа проверять любого, независимо от его звания. Кстати, в том числе и капитан-лейтенантов флота, один из них весьма нужен — тот самый, кто заварил эту кашу, — капитан-лейтенант Бестужев, и извольте доказать, что вы не Бестужев!

Торсон с трудом сдерживал себя, чтобы не наговорить грубостей этому холеному юнцу. Мысль о том, что сейчас сотни подобных охотятся на улицах столицы за его друзьями, была ужасна.

— Как вы смеете! Не вам судить! — возмутился Торсон. — Ваш мундир в крови, и ее ничем не смыть! Постыдно офицеру превращаться в жандарма!

Поручик сделал шаг в сторону и споткнулся. Торсон резко повернулся и отошел от костра.

Еще раз он услышал о Бестужевых, когда проходил мимо кучки купцов, обсуждавших события. Один из них живо изображал прошедшие события, причем фантазировал, как мог, ему поддакивали.

— Так вот, это все Бестужевы, — продолжал он, — их много братьев. Так один из них, вот те крест, за-

хватил стопушечный корабль, лед проломил, двинул на этом корабле в Кронштадт.

— И не догнали? — спросил кто-то из слушателей.

— Где там, — ответил рассказчик, — ищи теперь ветра в поле!

«Если бы это было так, — подумал Торсон. — Если бы не зима! Корабли могли решить все!»

Он свернул на Английскую набережную. На берегу стояло несколько саней, покрытых рогожей, из-под рогожи торчали босые посиневшие ноги убитых. Пожилой фельдфебель на чем свет стоит крыл нерасторопных солдат.

Когда Торсон подошел к саням, ему послышался слабый стон. Около саней, прямо на снегу, лежал полураздетый мастеровой. Торсон наклонился к нему, и каково же было его удивление, когда он узнал Салова. Лучший конопатчик Кронштадтского Адмиралтейства, спасенный им от плетей. Как он попал сюда?

Салов дышал с трудом. Торсон присел на корточки, приподнял его голову. Рыжая борода Салова слиплась от запекшейся крови, рана на груди кровоточила.

— Салов, Федор, очнись!

В глазах Федора что-то промелькнуло, может быть, он узнал его, Торсона. Торсон подхватил Салова под мышки и осторожно поволок по снегу во двор дома Лавалей. У самой ограды он остановился: дыхание у Салова стало прерывистым. Торсон наклонился к нему.

— Ваше высокоблагородие, — прохрипел Салов, — оставьте меня... помираю, себя загубите, оставьте, ваше... для флота нужны вы... ох, горит все... для флота российского жизнь... оставьте...

Салов захрипел, судорога прошла по его телу. Глаза остекленели.

Торсон перекрестил мастерового, сложил ему руки на груди. За что его, Салова? Быть убитым в бою пулей врага одно дело, а здесь — свои! Свои — и те, кого

заталкивают в прорубь, и те, что стреляли! Может быть, в одной из повозок и Николай, и Михаил...

«Прости, Салов, — прошептал он, — прости, это я должен был быть, а не ты...»

Торсон сел на снег, уронил голову на руки, прикрыл глаза.

...Домой Торсон возвратился поздней ночью. В гостиной его встретил Михаил Бестужев, и эта встреча сразу вывела из оцепенения — значит, не все потеряно! Может быть, и Николай жив! Мишель был не в своей штабс-капитанской форме, а в каком-то старом флотском вицмундире.

Шарлотта Карловна кинулась к сыну.

— Господи, наконец-то! — выдохнула она.

— Она ничего не знает, но, по-видимому, догадывается, — успела шепнуть брату Екатерина Петровна, когда Шарлотта Карловна занялась распоряжением об ужине.

Михаил и Торсон есть отказались. Но беспокойная Шарлотта Карловна все ж приказала поставить самовар.

— Боже мой, ты не представляешь, как я благодарен судьбе. Мишель, ты жив! — сказал Торсон, крепко обнимая друга.

— Он явился в енотовой шубе, бледный, пропахший гарью, — сказала сестра. — Мы с трудом объяснили матушке сей машкерад тем, что неловкий извозчик опрокинул его и штабс-капитанский мундир сушится.

— Все равно милейшая Шарлотта Карловна догадывается, она переживает за тебя, — сказал Михаил, — но все позади! Для тебя нет опасений, для нас же все кончено. Но ты держись! Богу дано спасти тебя!

— Я не ишу спасения, Мишель, я готов к любой каре, — сказал Торсон и запнулся, заметив, что мать вслушивается в его слова.

— Что вы там вырезали на нашем столе, Михаил Александрович? — спросила Екатерина Петровна у Бестужева, чтобы переменить разговор и не давать матери повода для излишнего беспокойства.

Бестужев подошел к круглому столу, к тому месту, где он просидел несколько часов в ожидании Торсона.

— Вы уж извините меня, испортил крышку, но это память обо мне, обо всех нас, крест и одновременно он же якорь...

Шарлотта Карловна убрала со стола карты, разложенные в незавершенном пасьянсе, свернула вязание, освободила место для самовара.

Все четверо сидели за столом в молчании, к еде никто не притрагивался. Екатерина Петровна с трудом сдерживала слезы, выступающие на глазах. Она закашлялась, вскочила из-за стола и убежала к себе в комнату.

Торсон понимал, что сестра переживает за Николая. Что с ним, где он, жив ли? Он был готов и сам кинуться в ночь на розыски, если бы знал, чем и как помочь ему.

Было уже за полночь, когда Шарлотта Карловна, вздыхая, отправилась в спальню.

Они остались вдвоем, в тишине, защищенные стенами своего дома. При свете оплывающих свечей под треск поленьев в английском камине они говорили беспрерывно.

Михаил старался произносить слова полупшепотом, но пережитое еще так ярко стояло перед его глазами, что иногда он забывался, вставал, вскрикивал. В Михаиле не было страха. Ужасные события обнажили суть деспотизма, выстрелы картечи подвели черту, пробудили город.

Торсон, перебивая его рассказ о событиях кровавого дня, сказал:

— Это я виноват, я мог остановить тебя! Я должен

был действовать более настойчиво. Я принял тебя в общество, вверг в кровавые события, и теперь... Что будет теперь!

Михаил встал из-за стола, положил руку на плечо друга:

— Это не дано было остановить никому...

Михаил размеренно ходил по комнате, опустив голову, картины прошедшего дня вставали перед ним. Торсон слушал его молча.

— Мною овладела решимость, — продолжал Михаил. — Никто не смог бы удержать меня! Брат Александр и я построили роты москвичей в казарменном дворе. Все присоединились к нам без малейших колебаний. Солдаты заряжали ружья, и когда ударил полковой барабан, то, услышав его, генерал-майор Фредерикс намерился остановить движение. Он вызвал к себе командира роты лихого рубаку — князя Дмитрия Щепина-Ростовского, и Щепин дерзко при солдатах ответил, что знать его не хочет. Командиры других рот тоже отказались повиноваться.

Солдаты выбежали на плац, где был установлен аналой для присяги. Все уверовали в то, что присяга ложная! Со знаменами мы двинулись к выходу из казарм. И здесь пролилась первая кровь. Щепин-Ростовский, увидев, что у знаменного унтер-офицера пытается отобрать знамя солдат, ранил последнего саблей, а тот, падая, крикнул: «Ваше сиятельство, вы ошиблись, я за императора Константина!»

И лавина солдат ринулась на набережную Фонтанки. Наперерез солдатам выбежали полковой и бригадный командиры, генералы Фредерикс и Шеншин. Брат Александр, которому все подчинялись, ибо он выдавал себя за адъютанта Константина, остановил их. «Отойдите прочь!» — крикнул он генералу Фредериксу и навел на него пистолет. Фредерикс отскочил влево и наткнулся на Щепина-Ростовского, и тот рубанул ге-

немала саблей по голове, а Шеншина сбил на землю рукой.

Если бы с нами был Трубецкой! Он сумел бы начать действия, и я уверен, что мы добились бы желанных свобод и сокрушения тирании! Но слишком малы у всех нас были эполеты. Предлагали возглавить войска брату Николаю, как старшему по чину, он отказался: на море он мог бы принять начало, но здесь на сухом пути он не обучен действиям.

Михаил замолчал, снова и снова перед глазами пронеслись картины разгрома — падающие солдаты, брат Николай, пытающийся остановить людей в узком проеме Галерной улицы, долговязая мечущаяся фигура Вильгельма Кюхельбекера, стоны, вздыбленные лошади конноопионеров.

— Ты помнишь? — продолжал он. — Помнишь, в моей роте был умница, ефрейтор Любимов, красавец. Три дня назад он женился, я сам благославлял его, когда он шел под венец!

Торсон кивнул, он был напряжен, нестерпимо ломило в висках. Он сейчас винил себя в том, что не сумел ничего предпринять... Ему казалось, что был иной путь, не требующий кровопролития.

— Так вот, — продолжал Михаил, — Любимов бежал рядом со мной. «Я не покину вас!» — твердил он и вдруг упал к моим ногам, пораженный картечью. Я дал ему свой платок, кровь из глубокой раны остановить было невозможно. Это что-то ужасное! Наши братья по крови, по вере не поняли святых чувств, подвигнувших нас на возмущение...

На льду Невы я с помощью моих славных унтер-офицеров остановил бегущих и стал строить колонну, чтобы идти на Петропавловскую крепость и занять ее. Если бы это удалось, оттуда мы начали бы переговоры с императором при пушках, обращенных на дворец! Но мой замысел ничего не дал — пушки с Исааки-

евского моста ударили прямой наводкой по нашей колонне. Лед под тяжестью солдат, к тому же разбиваемый ядрами, не выдержал и стал проваливаться. Огромная полынья поглощала тех, кто уцелел от ядер. Мы бросились к берегу...

В гостиной было дымно, они курили трубку за трубкой. Бестужев приоткрыл окно, в темноте ночи слышались голоса, скрип телег, цоканье копыт. Растревоженная столица не спала. Что мог принести следующий день? Есть ли надежда на то, что общество не будет раскрыто?

Ни Торсон, ни Михаил еще не знали, что уже начались аресты, что во дворце идут допросы, и их товарищи со связанными руками, как воры или убийцы, предстали перед царскими сановниками, и Николай I, входя в роль следователя, уже начал неправый суд, сменяя угрозы лживыми посулами. Взяты уже Щепин-Ростовский и Рылеев, и с каждым часом число арестованных растет. В руках царя прежние доносы, многие готовы сообщить все новые и новые имена. И фамилия Бестужевых произносится все чаще и чаще. Ибо мысль о том, что возмущение возглавили статские, сменилась убеждением, что корень зла заключен в братьях Бестужевых.

...Светало, а они все еще не прекращали беседы, передавая друг другу заветные мысли, обещая друг другу, что если один из них уцелеет, то довершит дела другого. Михаил волновался за братьев, ему до боли было жалко Анету. Как раз перед восстанием он успел побывать в доме адмирала Михайловского. Он обнял и поцеловал в последний раз любимую. Анета задрожала, она предчувствовала, что Михаил прощается с ней, побледнела, упала без чувств. Торсон обещал другу, если вдруг его минует расправа, позаботиться о дорогой ему семье Бестужевых, об Анет. Он думал и о своей судьбе. На кого покинет он мать и сестру, за

что заставит страдать Карин? Зачем он дал ей повод для надежд?

— Если бог даст и мы обретем помилование, — сказал Торсон, — обещай, Мишель, что ты вернешься во флот, шлюпы на Охте готовы, мы отправимся в дальний вояж, откроем новые земли. Это будет истинная польза России!

— Нет, — возразил Бестужев, — теперь мои помыслы неизменны. Государь должен опомниться: он увидит, что в обществе люди, жаждущие улучшения и благ для отечества!

— Но сейчас, пока все неясно, расправа может быть крутой и неправой, — сказал Торсон, — тебе надо попытаться скрыться, обязательно надо, ты молод, ты сможешь еще многого достигнуть. Наймись на купеческие суда, ты ведь рожден для моря! Сколько еще мы успеем сделать! Сколько неведомых путей проложить!

— Только при том условии, что ты будешь со мной, — сказал Михаил.

— Я думаю, что мне не следует опасаться, к тому же, ты знаешь, я не смогу бросить своих: мать сойдет с ума, она не выдержит. Я уверен, меня помилуют, я никогда не хотел ничего предосудительного, я сумею доказать свою пользу. Я нужен российскому флоту...

— Нельзя полагаться на судьбу, — решил Мишель. — Я переоденусь в одежды мужика, будто бы я приказчик и еду с обозом из Петербурга в Архангельск. Надо только достать паспорт, и это сможет сделать Борецкий, мой друг, артист. Он даст мне и парик, и бороду, и костюм мужицкий достанет! Лишь бы выбраться за заставу, а там из Архангельска, когда начнется навигация, я на корабле доберусь до Англии. Прошу тебя, бегим вместе.

— Нет, это не для меня, — возразил Торсон, — и в Борецком я сомневаюсь. Впрочем, у меня тоже есть план, более верный даже. Зайдем сейчас к шведу, ста-

роверу, у него ты найдешь самый безопасный приют!
Я уверен — заставы перекрыты, надо выждать!

Порешив на этом, они, стараясь ступать осторожно, чтобы не разбудить Шарлотту Карловну и Екатерину Петровну, вышли. Предательски скрипнула половица, звякнуло ведро. Они остановились, прислушались — в доме тихо.

На улице их обдало хлестким ветром и изморосью. По Английской набережной двигались солдаты, конные разъезды гарцевали вдоль бульвара. Казалось, вся столица не спала в эту ночь. Им удалось все-таки довольно легко миновать конные патрули, потом их несколько раз остановили, и в который раз выручил адъютантский мундир Торсона. Самый убедительный довод. Его никто не разыскивал, он понял это, он мог смело называть себя.

На Козьем болоте, где жил портной, Торсон оставил Бестужева во дворе и по шаткой лестнице поднялся на второй этаж. Портной, старый знакомый Торсона, юркий и подвижный человек с узкой козлиной бородкой, объяснил, что ночью полиция переписала у всех мастеров наличных работников и приказано строго-настрога не принимать никого вновь без особого на то разрешения.

Надежды на спасение таяли. Столица была наполнена пикетами, все заставы охранялись войсками, везде стояли царские стражи, мелкое сито облав процезивало город, волна арестов катилась по особнякам и офицерским казармам.

Друзья расстались в Коломне, крепко обнялись и мысленно благословили друг друга.

Михаил решил все же отправиться к Борецкому — иного выхода у него не было. Там у артиста он провел тревожный день и беспокойную ночь.

А утром, переодетый в мужицкую одежду, в парике,

с накладной бородой, он вышел на улицу и направился к ближайшей заставе.

И когда он перешел Адмиралтейский бульвар, напрямик через снег, сквозь хрупкие ветки заиндеветых деревьев, и вышел на Невский проспект, он увидел толпу любопытных, идущих за арестованным офицером.

Что-то знакомое в походке офицера, в твердости его поступи, в легком припадании на правую ногу остановило Бестужева. Он не поверил своим глазам. То был Торсон! Его друг шел со связанными руками, не склонив голову, глядя вперед на здания утреннего города, на светлеющее небо. Лицо его было отрешенным и спокойным. Он не заметил Мишеля, пробирающегося сквозь толпу.

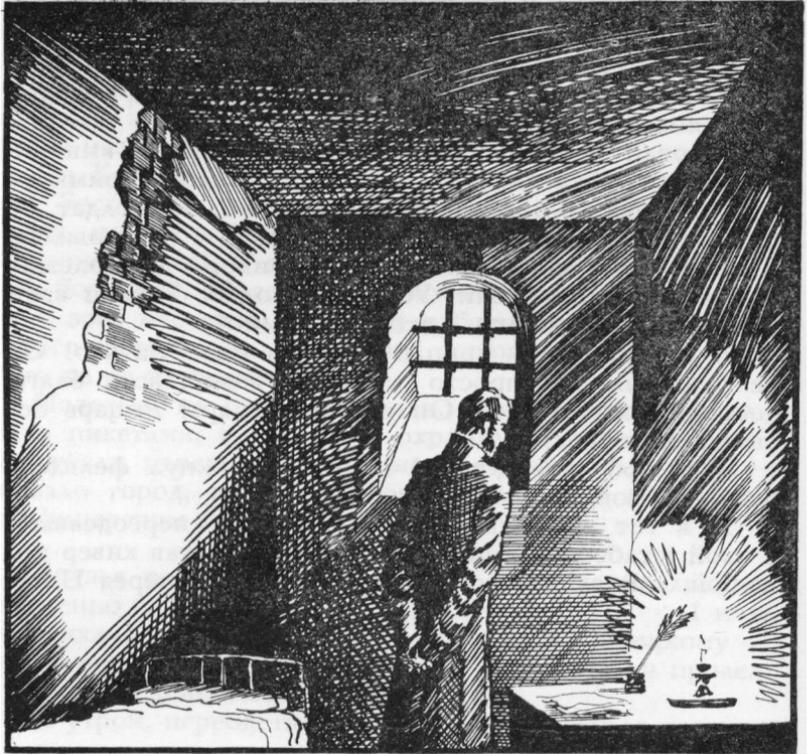
Впереди Торсона с самодовольным видом вышагивал флигель-адъютант Лазарев, позади, примкнув штыки, следовали фельдфебель и несколько солдат.

Бестужев подошел совсем близко и остановился. Что делать? Броситься на охранников — бесполезно, у него нет даже сабли! Убегать — подло: Торсон взят, а он будет скрываться — это немыслимо!

— За что его! — хрипло крикнул он. — За что! Он не бунтовал! Он просто пламенно желал всем блага, стойте, опомнитесь! Он просто рыцарь! Рыцарь без страха и упрека!

— Освободите дорогу! — грозно крикнул фельдфебель. — Разойдись!

И в тот же день Михаил Бестужев, переодевшись в свой штабс-капитанский мундир и спрятав кивер под шубой, сам явился во дворец и предстал перед Николаем I.





К вечеру пошел снег. Он медленно опадал на Разводную площадь, залепляя масляные фонари у входа в Зимний дворец. Фельдъегери метались от Главного штаба к Эрмитажу. Фигуры арестованных, сопровождаемые павловскими гренадерами, возникали из снега, как видения.

Из дворца допрошенных отправляли в крепость. За два дня Петропавловская крепость быстро переполнилась лицами, подозреваемыми в принадлежности к тайному обществу. Комендант крепости Сукин срочно перегораживал помещения в кронверках*, готовя новые камеры. Но и они не могли вместить всех арестованных.

Торсона вначале привели на гауптвахту Главного штаба, он не относился к тем, в ком подозревали главарей общества, имя его не фигурировало в многочисленных доносах.

Длинное и мрачное помещение гауптвахты было переполнено. Раньше здесь располагался начальник штаба первой армии. Теперь от прошлой обстановки остались только стулья с высокими спинками да портрет Александра I на белом коне. Распределял арестованных незнакомый Торсону генерал. Какое-то безразличие было в каждом его движении.

Вокруг суетились, громко разговаривали, входили и выходили, приводили людей, в расстегнутых мундирах, со связанными руками. Трещали свечи в массивных медных шандалах, было накурено и дымно. Торсон никак не мог ослабить веревки, стянувшие запястья, и руки немели.

Потом через площадь его повезли в санях во Дворец. Он был без шинели, но холода не чувствовал. Напротив, жар, который был вызван давней простудой, усилился, голова раскалывалась, болело горло, очень хотелось пить, и он пытался слизывать снег с губ и жадно ловил ртом холодный воздух.

Во дворце и в прилегающем к нему Эрмитаже было еще больше суеты, чем в Главном штабе. Залы заполнились лязганьем ружей, глухими рыкающими головами, топотом, как будто и не дворец это был, а какая-то съезжая, где собрались на дикий шабаш разнужданные, обезумевшие царедворцы, забывшие про свои титулы, ленты и эполеты.

Штабс-капитан Преображенского полка грубо втолкнул Торсона в пустую комнату с высокими потолками, примыкающую к помещению, в котором велись первые допросы. У двери выросли два гренадера с обнаженными саблями, и на его просьбу о том, чтобы дали воды, никто ничего не ответил, а штабс-капитан осуждающе посмотрел на него и хлопнул дверью. Для них он теперь перестал быть человеком, офицером, он перешел в разряд преступников, которые не должны ничего просить, а должны каяться в содеянном и отвечать чистосердечно.

Огромные картины в позолоченных рамах заполняли стены комнаты. Судя по манере письма, это были полотна мастеров голландской школы, которые так любил Николай Бестужев. Где он сейчас? Может быть, в одной из таких же комнат? Почему он всегда рвался к бурной деятельности, а не стал художником? Чело-

век, способный восславить своим талантом Россию, теперь будет тоже причислен к разряду преступников! Торсон, чтобы не думать ни о чем, стал рассматривать одну из картин. На ней было изображено распятие Христа. Спаситель принимал последние муки. Кровь проступала из-под гвоздей. Нещадное солнце томило жаждой. Всадник с надменным лицом занес копьё, чтобы ткнуть в лицо пророка губку, пропитанную уксусом. На лицах людей, заполнивших Голгофу, было написано скорее любопытство, нежели скорбь. Солдаты в кости разыгрывали, кому достанутся одежды пророка. И только дева Мария убивалась в безутешных страданиях...

Да, без Голгофы нет пророка. Пророк становится им, когда муками возвысится и докажет свою правоту! Надо быть готовым ко всему, к самому жестокому, ибо не останутся ни перед чем — ни перед костром, ни перед пыткой...

Шум, усиливающийся в соседних комнатах, крики, топот и бряцанье не предвещали ничего хорошего. Потом на мгновение все смолкло, как перед грозой, и Торсон догадался, что сейчас туда вошел новый император, который один может либо казнить, либо помиловать. И слышен был только его голос, голос «фельд-фебеля», привыкшего отдавать команды на плацу, почти металлический, не сулящий участия и милости:

— Вы назовете всех! Я повторяю: всех!

В ответ — молчание, и спустя минуту — голос уставшего человека, почти безразличного к происходящему:

— Дворянская честь не позволяет мне доносить на товарищей!

— Вы не имеете понятия о чести! Знаете, что вы заслуживаете? Вы думаете, что вас расстреляют, что будете интересны? Нет, я вас в крепости сгною! Участь ваша будет ужасна! Ужасна!

Так вот, значит, куда увозят после допроса, в кре-

посты! Значит, нет надежд на мгновенную смерть, а ждет гибель в заточении.

— Уведите этого безумца! Упрямец, он думает, что мы в неведении! — раздалось за дверью.

Кто-то рассмеялся. И потому, как опять все зашумели, как захлопали двери, Торсон понял, что император прошел в другие комнаты.

Уже совсем стемнело за окнами, арестованных продолжали приводить беспрестанно.

Все рушилось. Все надежды на помилование, на освобождение...

Давали показания люди, стоявшие во главе возмущения, назывались новые фамилии, извлекались из папок старые доносы, сверялись имена. И фельдъегерские тройки мчались по заснеженному ночному Петербургу по вновь открывшимся адресам. Волна арестов захватила не только северную столицу. Членов общества доставляли из Москвы и южных управ.

В комнате, где томился Торсон, оплыли и погасли все свечи, лишь огонек одной еще вздрагивал, шипя и утопая в растекающемся воске. Теперь, в полумраке, на картине отчетливо выделялось только распятое тело Христа. Голова, склоненная на грудь. Последние мучения. И все же надежда, ибо он был уверен в своей правоте и в спасении. Ему же, Торсону, не на что было надеяться. Он почувствовал, как страшная пустота безразличия окутывает его. Жар, обволакивающий тело, усиливался. Но звать кого-либо, просить о милости, просить воды, унизиться — нет!

Он уже истомился от ожидания, когда в третьем часу ночи дверь распахнулась и встрепанный полковник с выпуклыми глазами крикнул:

— К Левашеву, прошу!

Торсон вошел в зал, освещенный десятками свечей. Упругой походкой к Торсону подскочил генерал-адъ-

ютант Левашев, молодой и кудрявый, полный энергии. Казалось, многочисленные допросы, которые он провёл, придали ему заряд бодрости и усердия. Нить заговора распутывалась легко и быстро. Левашев сиял, ибо чувствовал свой звездный час. Его усердие отметил император! Это обещало будущее!

— Я требую, с высочайшего повеления, от вас полной откровенности, — начал быстро и привычно Левашев. — Ваше имя и чин? Присягали ли на верность государю императору?

— Капитан-лейтенант флота его величества Константин Торсон, присягал на верность в Адмиралтействе, — ответил Торсон и почувствовал, что у него перехватило дыхание. Голос его стал прерывистым.

— Развяжите ему руки и дайте воды, — приказал Левашев.

Торсон пил жадно, занемевшие руки с трудом удерживали стакан.

— Я готов отвечать и понести заслуженную кару, — сказал он, — мне нечего скрывать, вина моя перед государем велика, но я не мог поступать иначе. Теперь же я готов ко всему...

— Похвальное благоразумие, — усмехнулся Левашев, — но не слишком ли поздно? Нам доподлинно известно, что вы принадлежите к злоумышленному обществу. Скажите с полной откровенностью, это может смягчить вашу вину, с кем вы состояли в сношениях?

Торсон молчал, он почти не вслушивался в смысл слов Левашева, вопросы сыпались один за другим.

— Не вздумайте заператься, — продолжал Левашев, — на вас показали и Рылеев, и Александр Бестужев, и Сутгоф, и многие другие, кто уже раскаялся и проявил похвальную откровенность. Смотрите — это их показания!

Левашев схватил со стола густо исписанные листки синей бумаги и потряс ими перед лицом Торсона.

«Он не назвал Николая Бестужева, это значит, что Николай или не сдался, или ему удалось уйти, — подумал Торсон, — или, что самое страшное, его уже нет...» От этой мысли у Торсона на миг потемнело в глазах, и он пошатнулся.

Левашев принял это за испуг, за страх арестованного перед уготовленной ему участью и громко стал повторять вопросы. Судя по этим вопросам, Левашеву уже были известны и план выхода войск к Сенату, и манифест, и то, что он, Торсон, был частым гостем в доме Российско-Американской компании.

Отрицать это было бессмысленно.

— В Петербург я приехал по назначению меня в адъютанты к вице-адмиралу Моллеру в 1823 году, — начал Торсон, — никакие тайные общества не влекли меня, я был занят переустройством флота и составлением штатов на постройку кораблей...

— Я не думал, что вы станете запираяться и изворачиваться, — прервал его Левашев, — ваши товарищи давали вам лестные отзывы как одному из самых честных людей! Государь скорбит оттого, что вы связались с преступниками. Вы офицер и дворянин, не раз обласканный покойным монархом, где ваша дворянская честь? Не заставляйте нас прибегать к иным мерам!

Левашев отошел к середине зала, резко повернулся и уже издали немигающим взглядом смотрел на Торсона.

— Я не собираюсь бежать наказания, я виновен, — сказал Торсон и замолчал.

— Говорите ж, — приказал Левашев, повысив голос, — какое вы имели намерение, взойдя в сие общество, и что вас на сие склонило?

Левашев сел, закинув нога на ногу, лосины обтягивали полные ляжки.

— Имея желание видеть отечество мое, водимым законами, — сказал Торсон, голос его окреп, и он по-

вторил уже громче: — законами! Законами, ограждающими собственность и лицо каждого! Я был обнадежен, что в тайном обществе есть люди с весом и положением, и я пристал в него. Я не желал возмущения и был при своем министре. Но я полагал, что общество желает блага... Только случай переменял все...

— От вас требуется назвать имена тех злоумышленников, с которыми вы были в преступных связях, а не разводить турусы на колесах! — прервал его Левашев. — Говорите, кто был в обществе? Где скрывается Николай Бестужев, возмутивший Морской гвардейский экипаж!

Торсон облегченно вздохнул! Значит, Николай жив, значит, ушел с площади.

— Говорите же! — требовал Левашев.

Допрос уже начал утомлять его, он не ждал ничего нового, ответы Рылеева, Трубецкого и других показали, что Торсон немного знал в делах общества, что он действительно не был сторонником открытого возмущения. Пора было заканчивать. Император вот уже час, как не появлялся в зале, а значит, в его отсутствии не стоит и усердствовать столь чрезмерно.

— Вы бывали у Рылеева и прекрасно знаете его, — продолжал Левашев. — Уж от этого вы не сможете отпираться.

— Я бывал у Рылеева по делам Российско-Американской компании...

— Кого вы видели там еще?

— Булгарина и Николая Бестужева, — ответил Торсон, явно сознавая, что угодливый издатель Булгарин не только не состоял в обществе, но и наверняка был осведомителем, скрывать же свои встречи с Николаем не имело смысла.

— Уведите, — приказал Левашев, — у него отшибло память, пусть подумает до утра и поймет, что здесь никто не собирается шутить. Утром он станет каяться, но будет, к сожалению, поздно!

...Беспокойную ночь сменил столь же суетный день. Собственно ночи как таковой не было, Торсон не сомкнул глаз. В зале, куда продолжали приводить арестованных, продолжались допросы, слышались крики, оханье, чудились в темноте звуки пощечин. Утром Торсону показалось, что он услышал знакомый голос Николая Бестужева, и стало ясно — все кончено бесповоротно.

Он не ошибся, это действительно был Николай.

...Николай Бестужев довольно удачно добрался до Кронштадта на извозчичьих санях. Он сбрил бакенбарды, подстриг волосы, переделся в одежды простого матроса и попытался устроиться служителем на маяке. Но нашелся доносчик, который вывел рыскавших по Кронштадту полицейских на его след. Николая доставили к начальнику порта Моллеру, который приказал связать строптивного историографа флота и отправить во дворец.

Бестужева привели к императору.

— Вы дрожите? — сказал император. — А я был слышан о вашей храбрости! Испуганы содеянным преступлением?

— Ваше величество, — спокойно ответил Бестужев, — просто я двое суток не спал и почти ничего не ел.

Его привели в одну из комнат Эрмитажа и подали обед с царского стола и бутылку красного вина.

— Я не пью красного вина, — сказал Бестужев, — если можно, распорядитесь, чтобы принесли белого.

Брат царя, Михаил Павлович, пришел взглянуть на «главного преступника» и говорил с ним во время этого обеда. Бестужев со свойственной ему логикой объяснил Михаилу действия общества, и уже потом в Петербурге ходили такие слова, якобы сказанные Михаилом после этой беседы: «Слава богу, что я с ним не познакомился третьего дня, он, пожалуй, втянул бы и меня».

Во время допросов Николай Бестужев держался стойко и позволял себе даже отпускать шутки по поводу прежних походов Левашева. И царь сам решил сбить спесь с арестованного. Но и ему Бестужев открыто и смело высказал решительно все, что думал о необходимости изменения существующего правления, о положении России и требованиях общества.

— Вы знаете, что все в моих руках, что могу простить вам, и если бы мог увериться в том, что впредь буду иметь в вас верного слугу, то готов простить! — заявил царь.

— Ваше величество! — ответил Бестужев. — В том и несчастье, что вы все можете сделать... Желаю, чтобы впредь жребий ваших подданных зависел от закона, а не от вашей воли.

Так же стойко держался на допросах и Михаил Бестужев. Он назвал только тех, кто был уже известен следствию, или тех, кому уже нельзя было повредить. Он утверждал, что был принят в общество не Торсоном, а Черновым, убитым на памятной дуэли с Новосильцевым, и всячески выгораживал своего учителя.

Николай I, вступление которого на престол было начато кровопролитием, оказался прирожденным сыщиком и провокатором. Он сумел у многих вырвать признание, он умел вывернуть душу, оклеветать, посеять в человеке недоверие к друзьям. То он выступал в роли искреннего друга и нежного отца, полного забот и жаждущего всепрощения, то представлял старым солдатом-однопольчанином, стремящимся восстановить честное имя арестованного, то всемогущим и просвещенным монархом, согласным со взглядами общества и готовым принять конституцию. И когда ему не удавалось добиться от узника признания, являлось его истинное лицо: бешенная ненависть, которую невозможно было скрыть; жажда отомщения тем, кто видел его мечущимся на Разводной площади в страхе и растерянности; грубость

солдафона, привыкшего к беспрекословному подчинению льстецов, и явная бесчеловечность. И тогда срывались с узких губ угрозы, тогда возникали намеки на пытки и другие способы добиться признания. И арестованных по личным запискам царя заковывали в кандалы и бросали в тесные камеры на хлеб и воду.

Рылеев, пытавшийся убедить императора в необходимости изменения правления и отмене крепостного права, стараясь преувеличить силу общества, доказать царю, что все просвещенные люди жаждут перемен, стал показывать их причастность к кругам тайного общества. Обласканный царем Каховский высказал самые сокровенные мысли. Завалишин фактически сам обрек себя на арест: выпущенный после первых допросов и назначенный в Адмиралтейство распорядителем музея, он написал покаянное письмо, в котором признавал свою вину и раскрывал действия моряков гвардейского экипажа.

Это было результатом веры в то, что Николай I встанет на их сторону. Они дорого заплатились за это. Надежды на царские милости быстро рассеивались. Начались очные ставки и долгие месяцы допросов в следственной комиссии.

И теперь Рылеев, стараясь спасти своих друзей, брал всю вину на себя.

От Торсона мало чего можно было добиться, он не был досконально посвящен в планы общества, отвечал на вопросы скупно, не пытался писать покаянных писем и просить милости царя.

Сразу после первых допросов его отправили в Свеаборгскую крепость. Коменданту крепости была сообщена воля царя: бывшему офицеру Торсону не позволять никакой переписки и свиданий.

Заточенный в одиночную камеру, оторванный от своих товарищей, Торсон испытал муки отчаяния. Не

раз ему казалось, что все его друзья казнены, а он просто забыт здесь навечно, замурован пожизненно в пропитанных сыростью стенах.

Свеаборгская крепость — старинный и мрачный замок — возвышалась на гранитной скале. Расположенная на острове Лонггерн, окруженная со всех сторон водой, она лишала заключенного всяких надежд. Побег отсюда был невысшим.

Бурые финские скалы, которые видел Торсон вредные минуты своих прогулок, были безлюдны и лишены растительности. Непроходимые болота тянулись за крепостью. По утрам над болотами поднимался белый плотный туман. В узком зарешеченном окне, нижняя часть которого была густо покрашена, белел только клочок хмурого зимнего неба Финляндии, по которому постоянно неслись облака, закрывающие солнце.

В Свеаборге он был избавлен от постоянных выматывающих допросов и очных ставок, от него не добились предательства. На него обрушилась другая пытка — неизвестностью. Легко быть храбрым на людях в бою, на площади. Торсон не раз смотрел в лицо опасности — молодым бесстрашным мичманом в дыму морских сражений; в штормы и во льдах, когда от холодной пучины отделяет только тонкая деревянная обшивка, он поражал своей выдержкой мореплавателей. Одинокая камера требовала другого мужества. Он подолгу ворочался на жесткой постели, мучился кошмарами бессонницы...

К духовным мукам прибавились и физические — постоянная сырость принесла обострение ревматизма. Ныло все тело, кости выворачивало. Его просьбы о враче вызвали усмешку: узнику Свеаборга врач не положен.

Три долгих месяца провел он в стенах этой крепости.

Кровать из деревянных досок, соломенный тюфяк,

камера пять шагов по диагонали, коптящий всю ночь светильник, копоть, проникающая в легкие и вызывающая приступы удушья. Молчаливые охранники. Отсутствие писем, книг — из них только евангелие, которое он уже выучил наизусть. Что станет с ним? Какая участь ждет? Сгниешь ли здесь в сыром каземате или ждет впереди мучительная казнь? Что с друзьями? Живы ли они? Что с матушкой и сестрой? Оставленные без средств на существование, сумеют ли они прожить без него? Как пережила его арест Карин? Или, быть может, она в Швеции, вдали от всего, в неведении... Хорошо, что он не сделал ей официального предложения, не связал ее словом, помолвкой, как будто почувствовал, что не следует спешить. Теперь он уйдет из жизни, не оставив сына. Так закончится их род, род Торсонов...

Вновь и вновь возникали картины Сенатской площади. Ночь расставания с Мишелем. Он тогда едва успел сжечь письма, как в дом ворвались солдаты, возглавляемые флигель-адъютантом Лазаревым. И матушка, которую сестра сразу догадалась заслонить, отодвинуть, вдруг вырвалась из своих комнат и запричитала так, что ее никто уже не мог успокоить. Она не верила его словам, не верила и убеждениям Лазарева, что это не арест, что это просто вызов в штаб, что по всей столице собирают офицеров по поводу вчерашнего происшествия. Матушка упала в обморок. И Лазарев, которому уже незачем было скрывать истинную причину прихода, дал приказание солдатам вязать руки ему, Торсону. Сестра со слезами на глазах кинулась к царским опричникам, пыталась что-то просить, доказывать.

— Екатерина,—остановил он ее, — успокойся и побереги мать. Держись и не думай обо мне!

Сестра не хотела слушать его. Растолкав вязавших его солдат, она бросилась с объятиями, прощаясь так,

как будто он уходил навеки. Возможно, предчувствие не обмануло ее.

— Я знаю, ты честен, я дойду до императора, я сделаю все, что угодно, но не отдам тебя!

— Не унижайся, сестра, все кончено, — сказал он.

Страдания близких были невыносимы. Он торопил Лазарева. Солдаты слишком долго копались в бумагах. Лазарев медленно запечатывал его кабинет.

...И вот крепость. Сколько времени будет продолжаться заключение, неизвестно. Он искал выхода, он искал возможности переписки. В этом ему было вторично отказано. Кого-то устраивала его полная оторванность от всех, ибо только так, казалось им, он будет сломлен.

Смерть не страшила его, обидно было то, что он уходит, не завершив свои деяния по переоборудованию флота, не смог осуществить на деле то, о чем мечтал в долгие вечера, проведенные за чертежами и расчетами. Некому было передать все это. Он был уверен в том, что, окажись он перед императором в момент первых допросов, сумел бы доказать свою полезность и казнь его была бы отложена, ибо не должен человек покинуть землю, не совершив все возможное на благо своей отчизны.

Он не знал, что происходит в Петербурге, он не знал, что произошло на юге, где, по утверждению Рылеева, целые корпуса стояли под ружьем и, полные нетерпенья, готовы были начать возмущение и только ожидали желанного сигнала. Не стал ли этим сигналом выход на Сенатскую площадь? И где-то в глубине души возникали слабые надежды на скорое освобождение и мощь южан, способных сокрушить существующую монархию. Надежды эти стирало время. Он понимал, что если не выступили сразу, значит, сейчас смяты, арестованы, заключены в крепостные стены. В последнем он был близок к истине.

...За два дня до восстания на Сенатской был арестован тот человек, который мог бы поднять южные корпуса. Полковник Пестель — автор «Русской правды». Были схвачены и его ближайшие сподвижники.

И только Сергей Иванович Муравьев-Апостол там, на юге, совершил попытку поднять войска. Черниговский полк, возглавленный им и пламенным поручиком Бестужевым-Рюминым, победно прошел до Василькова и оттуда двинулся на встречу с другими частями, от которых ждал взаимодействия. Но недалеко от Трилес отряд генерала Гейсмара остановил движение мятежного полка ураганной картечью.

Все было кончено...

Когда в апреле Торсону предложили ответить на вопросы следственного комитета и передали в камеру опросные листы, перо и бумагу, он даже обрадовался — наконец-то прервалась неизвестность. Теперь из этих вопросов можно узнать, что происходит там, в Петербурге!

Но чем дольше он вчитывался в бумаги, тем больший ужас охватывал его: следствие знало почти все, и даже самые тайные разговоры вдруг стали явными и теперь обратились в повод для обвинения. Изложенные сухим языком факты доказывали, что нет надежд на спасение, что взяты все участники и что они там, в Петропавловской крепости, решили ничего не скрывать, а полностью открыться перед императором.

Вопросы на первой странице были обычными, стандартными, но потом вдруг неожиданным ударом;

«Какие именно имели вы совещания с Рылеевым и другими об отправлении царствующей фамилии на флоте за границу? На кого в сем случае полагались надежды общества и каким образом предполагалось исполнить сие? Кто отвергал сие мнение и настаивал на истреблении императорской фамилии и какого в

первом и другом случае вы были мнения? Здесь объясните в особенности как образ мыслей ваших и сношений с лейтенантами Завалишиным и Арбузовым, так и суждения, какие и когда имели с ними насчет основания общества между морскими офицерами, образа действия оногo и присоединения его к тайному обществу...

...Известно ли вам, что в 1817 году капитан Якушкин замышлял покушение на жизнь покойного императора и что в минувшем году в одно и то же время решились посягнуть на жизнь его величества капитан Якубович и члены Южного общества? От кого, когда и что вы слышали о сем?»

Значит, известно все. Главное, что не будет прощено, — знание об умыслах на цареубийство, даже знание — знал, но не сообщил. Надо объяснить, надо написать, что ничего не было в обществе предосудительного. Но слова не ложились на бумагу. Он провел тяжелую ночь — всю в раздумьях и в предчувствии той ужасной участи, что неумолимо приблизилась к нему.

Утром его предупредил мрачный и неразговорчивый помощник коменданта, что ответы должны быть не позднее завтрашнего дня отправлены с фельдъегерем в Петербург.

Торсон отодвинул принесенную ему еду, не было никакого желания есть, не было желания бороться за свою жизнь. К чему оправдываться — в смертный час он будет с друзьями, разделит их судьбу...

И все же он пытался писать, он старался изобразить цели общества, он объяснял, что различные злоупотребления не могли быть исправлены правительством; что, действуя в одиночку, он понял невозможность их исправления. И понял необходимость для достижения этой цели соединения усилий, что убедился на примере Бразилии, как монарх сам даровал конституцию...

«Повторяю, — писал Торсон, — я желал видеть ис-

правления злоупотреблений в моем отечестве и введение через кроткие меры конституционного правления, я убедился, что такое общество должно до времени существовать в тайне, и, полагаясь на благоразумие человека, бывшего мне другом, я вступил в общество...»

Он перечитал написанное — доводы его, переложенные на бумагу, показались ему бессильными. Вряд ли захотят понять его. Значит, участь его неминуема. И надо не стараться уменьшать вину, надо просить единственного — позволения довести до сведения императора мысли о флоте, написать все, что известно ему, Торсону, с тем, чтобы и после его казни дела были продолжены, чтобы флот российский был восстановлен! Но как добиться того, чтобы государь выслушал узника?

Торсон спешил, он отвечал на вопросы отрывисто, он признавал свою вину и согласился с тем, что именно на него был возложен вывоз императорской фамилии за границу. Заполняя опросные листы, он не думал о себе, он готов был на любую казнь при условии, что ему дадут перед этим бумаги и перо и позволят изложить свои проекты. И эти проекты не останутся на бумаге, а будут доложены царю, и тот своим высочайшим повелением, убрав казнокрадов из Адмиралтейства, даст ход строительству новых кораблей и гаваней!

Он просил у царя единственной милости — позволить высказать свои мысли, полезные для отечества, для флота:

«...Любя отечество и пламенно желая ему всего хорошего, я терпеливо понесу мой жребий, не усташусь самой смерти, справедливой для счастья России, но мучительно для меня одно, если я с собой погребу все то, что в продолжении службы собрал полезного для флота... И потому осмеливаюсь повторить мою просьбу к монарху ...дозволить изложить на бумаге только то, что касается службы, и представить в его собственные руки».

Буквально через несколько дней после заполнения опросных листов Торсона отправили в Петропавловскую крепость. Что означала эта перемена в его судьбе, ему оставалось только догадываться. Самые темные и безысходные мысли переполняли его. Казалось, что дорога от Свеаборга до Петербурга — последний путь, что там, в столице, ему уже уготована мучительная казнь, и мысленно он прощался с миром.

Стояла весна, воздух был ослепителен и прозрачен, дрожащая синева окутывала пространство. По обочинам зазеленела молодая трава, снег почти везде стоял. По непролазной грязи, застревая в колее, двигалась бричка. Сопровождающий Торсона фельдбегер Уклонский на чем свет стоит бранил возничего. Хлестко стегал кнут по крупам уставших лошадей. На вопросы арестанта Уклонский не-отвечал, мрачнел и кутался в доху.

В Петропавловской крепости Торсона поместили в особый арестантский каземат Петровской куртины*. Почти ничего не переменялось в его существовании. Каземат был столь же сырым, как и в Свеаборге, со стен текло, стоял полумрак. Сыростью стены крепости пропитались во время памятного наводнения. Это было год назад. А кажется, прошла целая вечность. Тогда, в день наводнения, не были страшны ни разбушевавшаяся Нева, ни сильный ветер, сдерживающий ее воды, ибо надо было спасать людей. Теперь же продолжалось бездействие. Просьбу его о представлении монарху предложений, касающихся флота, передали или нет — было неизвестно. И если эта последняя нить потеряна, то стоит ли цепляться за жизнь?

В коридорах были постелены маты, и потому шагов охранников было почти не слышно. Вдруг отодвигалась задвижка, закрывающая глазок в двери, чужой любопытный глаз наблюдал за тобой, как за странным зверьком, посаженным в кунсткамеру.

Нижняя часть окна, выходящего во двор крепости, была замазана густой белой краской, через небольшой просвет вверху виднелся шпиль собора с блестящими гранями и на нем фигурка архангела с трубой. Торсон подолгу смотрел на клочок серого петербургского неба и на архангела, приготовившегося сзывать грешников на страшный суд и так и застывшего с молчащей трубой. Дальний мифический суд не страшил, Торсон весьма слабо верил в загробную жизнь, но то, что здесь его ждет несправедливый суд, — в этом он был убежден.

Томительно шло время. Каждые четверть часа отмечались боем заунывных курантов крепостных часов, звуки этих курантов проникали сквозь толщу стен каземата и еще сильнее подчеркивали бессилие узника.

Дни сменяли друг друга, утомительные своим однообразием. Его не вызывали на допросы, он ни с кем не общался. На стуле против его койки постоянно коптил ночник. Торсон не мог уснуть, ему слышались шорохи, лязганье сабель, клацанье затворов, сдавленные всхлипы. Три стены в камере были каменными, а четвертая, видимо сооруженная недавно, из сосновых досок. Именно оттуда, из-за этих досок, по ночам слышались крики отчаяния и рыданья. Он пытался стучать в стену, окликая мечущегося там, за стеной, узника, но никто не отзывался.

Под самым потолком в камере проходила железная труба, и когда в коридоре топили печь, труба раскалялась и становилось душно настолько, что он задыхался и глотал воздух ртом, как утопающий. Тараканы безбоязненно сновали по стульям и столу, выискивая крошки, оставшиеся от тюремного обеда. Тараканы были шустрыми и рыжими, и только их беспорядочная беготня вносила некоторое разнообразие.

Халат, который ему выдали сразу по приезду, был рваный и засаленный, растоптанные туфли спадали с ноги, но все эти неудобства — и копоть, и сырость,

и эти туфли, — были ничтожны по сравнению с томлением, пронизывающим его душу. В попытках угадать свою судьбу он ворочался по ночам на жестких нарах, покрытых соломенным тюфяком, а днем мерил камеру шагами и ловил каждое движение, каждый звук, доносящийся из коридора.

Несколько раз его выводили на прогулку, он брел вдоль артиллерийского цейхгауза, примыкавшего к Петровской куртине, в сопровождении пожилого солдата-инвалида*, во взгляде которого было сочувствие к участи арестованного, однако на вопросы солдат отвечал односложно: «Не могу знать» и «Не положено».

На одной из таких прогулок Торсон встретился с Дивовым.

Юноша не узнал его. Когда Торсон окликнул Дивова, тот посмотрел отсутствующим взглядом и ничего не ответил. Торсон жаждал узнать хоть что-либо о судьбе товарищей. Он мучительно долго вспоминал, как зовут Дивова.

— Мичман! — снова окликнул он юношу и вдруг вспомнил: — Василий Абрамович!

Дивов испуганно обернулся и с плачем бросился в объятия товарища. Солдаты, сопровождавшие узников, сделав вид, что ничего не замечают, уселись на каменной приступке у стены и задымили сигарками.

Торсон не ошибся: действительно, это был Дивов. Племянник сенатора, мичман Дивов. Там, на воле, они почти не встречались, может быть, всего несколько раз на смотрах, но и тогда Торсон отличал любознательного и пылкого мичмана, что-то всегда светилось в молодом лице, и была доверчивая, располагающая к себе улыбка.

Но как изменился Дивов! Лицо совсем помертвело, утрачена прежняя живость, взгляд отстраненный, весь он, чувствовалось, погружен в себя, в свои переживания. Что же понадобилось тюремщикам от этого юно-

ши? Почему Дивов здесь? Торсон ни разу не встречал его у Рылеева. Вероятно, он из тех, кто был близок к Арбузову, к обществу в Морском гвардейском экипаже. Но пусть даже так, что он ведал? Понимал ли, куда втягивают его?

Когда Дивов успокоился, Торсон спросил, не видел ли тот Бестужевых — Николая или Михаила, живы ли они. Дивов смутился, ответил, что у него должна была состояться очная ставка с младшим Бестужевым, с мичманом, но он, Дивов, отказался. Дивов говорил сбивчиво, руки его дрожали, слова его свидетельствовали о помутнении рассудка:

— Это он, он во всем виноват, этот историограф, и младший тоже. Если бы Петр Бестужев не прибежал в экипаж с криком: «Наших бьют!» Если бы не он! Мы все, поддавшись его азарту, бросились к выходу и впереди — Антон Арбузов. И теперь меня ждет ужасная казнь! Я знал, что государя должны убить, и не предупредил его. И каждую ночь мне снится один и тот же сон: я вонзаю кинжал в монаршую грудь и медленно поворачиваю, а когда выдергиваю, кровь хлещет мне в лицо, я захлебываюсь и в страхе пробуждаюсь! Я не могу отвратить сей сон, я ничего не могу с собой поделать! Я слезно просил казни, я просил ускорить сентенцию, я больше не могу терпеть! Я знаю, казнь будет ужасна — меня четвертуют, я буду обрубком лежать на плахе, но я прошу у бога этой казни, я прошу ее, как самой последней милости! Я — цареубийца!

— Успокойся, — остановил его Торсон, — сейчас же успокойся! Человек не повинен в своих снах, и замысел — не есть его исполнение.

— Нет, нет, вы даже не представляете всех моих умыслов против монарха, я предлагал отравить его еще тогда в Кронштадте, во время смотра, теперь я покалялся чистосердечно, я все рассказал, все...

Дивов ткнулся в плечо Торсона и с трудом сдерживал рыдания.

Солдаты поднялись с приступка, подошли к ним и развели в разные стороны.

Встреча с Дивовым потрясла Торсона. Юного мичмана, воспитанного в неге, в знатной обеспеченной семье, конечно, сломило заключение, он ведь почти ребенок, перед ним могло открыться любое поприще, и вот вместо славных вояжей и махровых эполет — одиночка в крепости, ожидание казни, раскаяние и помутнение рассудка. Как это жестоко по отношению к юноше, только начинающему жизнь!

Потеря рассудка — самое страшное. Не ждет ли и его, Торсона, столь печальный исход?

В камере он долго сидел неподвижно. Принесли обед — жидкую похлебку и кусок черствого хлеба. Он ни к чему не притронулся.

...Стоит ли мучить себя ожиданием в одиночестве каземата? В этом сыром и темном каменном мешке? Почему томят здесь? Ведь можно понять чистоту помыслов. Жаждали просвещения, благ для отечества, искоренения неустройств. И все, кто был в обществе, разве это враги государства? Должны разобраться в наветах, откинуть их и воспринять планы, предлагаемые обществом...

И не он один — многие из томящихся в казематах пытались изъясняться с царем, раскрыть ему глаза, но вскоре убеждались, как тщетны их попытки. Изменения участи ни для кого не последовало, посулы сменялись угрозами и кандалами. И самые твердые из арестованных попадали в Алексеевский рavelин*, о котором и тюремщики не могли говорить без дрожи в голосе. Как самые злостные преступники, закованные, оставленные почти без пищи, они задыхались в его темных камерах. Кажущиеся безысходность, поражение всего предприятия угнетали узников.

Были дни, когда даже мысли о самоубийстве неотвязно мучили Торсона. Уйти самому, оборвать все. Крепость умеет хранить свои тайны. Здесь, за ее стенами, зароят даже без отпевания, как зарывали не раз секретных узников. А вдруг его тело выдадут семье. Мать и сестра не вынесут этого: он — их гордость и надежда, и вдруг такой конец — в арестантском халате, жесткая щетина, впавшие щеки, рубец на шее. Карин ... если она еще в Петербурге ... вдруг Карин узнает, конечно, ей сообщат о его смерти. И она пойдет за гробом в черном вдовьем платье, не жена и не невеста, будет биться в рыданиях, ее осудят чопорные дамы, станут шептаться за ее спиной, и на нее падет его тень, и он останется в ее глазах не офицером в адъютантском мундире, а жалким самоубийцей. О нет! Только бы она не узнала ничего! Пусть все забудет навеки!

Надо написать завещание, но ни бумаги, ни пера... Запрещена всяческая переписка. Выцарапать свою последнюю волю на стене: похоронить здесь в крепости...

Ломило все тело, болела голова. Он промучался так несколько дней, состояние его ухудшалось. Он начал бредить, по утрам в полудреме камера казалась каютой. Каютой, из которой нет выхода на палубу. Задраенная наглухо западня на безлюдном шлюпе, зажатом во льдах... где-то там, вне ее на шканцах, слышались голоса, значит, не все еще ушли на шлюпках... Это Беллинсгаузен, с сосульками на усах, весь в снегу, напрасно звал своего вахтенного помощника...

Хорошо, что не послушал Карин, не взял ее в вояж. Женщина не должна видеть мужчин в минуты отчаяния, ее удел — ожидание на берегу. И все-таки, может быть, из-за него она не уехала, осталась одна в Петербурге, осталась совсем одна. О, только бы не это! Стать источником ее горя, заставить ее унижаться перед сановниками, писать прошения — только не это. Славная и милая Карин, она достойна иной участи,

у нее все впереди... В темноте отчетливо возникало ее лицо, полуулыбка, глаза, ветер перебирает золотистые волосы. Торсон протягивает руку — видение исчезает. И только голос ее звучит в сырой камере: «Мое сердце трепещет, как парус под ветром, решайтесь, мой капитан, пора!» И разрушая видение, стирая ее голос, со скрипом поворачивается ключ в замке, лязгает дверь.

Вносили еду. Он почти не притронулся к ней.

Жизнь утратила свой смысл.

И вот, как неожиданное избавление, как весло в бушующем море, протянутое гибнущему в волнах: ровно в полдень, с ударом крепостной пушки, дверь камеры со скрипом растворилась, и комендант возник в просвете, два солдата стояли за его спиной. Постукивая деревяшкой, одноногий всесильный Сукин, облаченный в генеральскую форму, сделал несколько шагов в глубь камеры. В руках у него пачка бумаги.

— Милостивый государь, — изрек Сукин торжественно, — вам высочайше позволяется написать его величеству о разных собранных вами сведениях касательно флота!

Торсон не сразу осознал эти слова. Ослабевший за последние дни, он с трудом поднялся навстречу Сукину и взял кипу бумаги.

Сукин поставил на стол массивную чернильницу и вынул из кармана два отточенных пера.

Торсон начал писать, и камера и крепость — все отодвинулось, перестало существовать, прежние мысли и страхи казались нелепыми: надо успеть изложить программу укрепления и преобразования флота, нельзя допустить, чтобы все, что он знал, все, что хотел осуществить, исчезло. Надо помочь возродить могущество российского флота!

Каждое слово нужно продумать, изложить дело

ясно, доходчиво и убедительно. Времени для черновиков не отпущено. Неделя, в лучшем случае — месяц... Надо соразмерить свои силы так, чтобы в этой спешке не упустить суть.

Перо не псевало за рождающимися фразами, он сдерживал руку, стараясь дописывать буквы в окончаний слов.

Потрескивал светильник, за дверью лязгали ружьями караульные, исчезло небо в небольшом пространстве окна, наступила ночь — он не замечал и не слышал ничего.

Первые страницы, исписанные четким угловатым почерком, лежали на койке, на отдельном листке он набросал план и записывал туда основные мысли.

В первую очередь следовало изменить ту систему, что ввели на флоте при Александре. И прежде всего отменить флотские экипажи. Но об этом написать надо так, чтобы не задеть самолюбие императора, не меньше Александра любящего выправку, плац-парады и строй...

«Мысль прекрасная покойного императора, — начал Торсон, — в свободное состояние от действия на море занять офицеров и матросов учением сухопутных маневров... Но, к сожалению, на эту идею обратили внимание как на главенствующую».

Что же получилось? Отняли офицеров от кораблей, отняли матросов и тем причинили вред флоту! Море стало чужим им. Они утратили былую привязанность к нему. Люди, собранные на берегу в так называемые экипажи численностью более чем в тысячу человек, — это не корабельные команды, а полки для парадов! И когда начинается вояж или баталии, их уже не собрать для сего. В армии капитан, получив однажды роту, лишается ее только за упущения по службе, а здесь, на флоте, офицеры бегут от одного капитана к другому, матросы, отвыкнув от моря, посредством

притворной болезни стараются отстать от корабля и остаться в порту...

Торсон вспомнил, как не единожды он писал рапорты об этом: «Я предоставлял о сем записку начальнику вашего Морского штаба, — написал он, — это было еще в 1823 году, но получил в ответ одни огорчения...»

Моллер возмутился, когда он представил ему ту памятную записку: «Возможно ли нарушать приказание государя! Это есть ересь! Вы понимаете, на что замахнулись?» «Нужны постоянные команды на каждом корабле, — ответил тогда Торсон, — иначе мы погубим флот!» «Флот губит то, что каждый офицер хочет рассуждать по своему! — Моллер повысил голос. — Мы добились дисциплины! Мы сделали настоящего матроса из ленивого русского мужика!»

«...Бывает, старый опытный матрос, — продолжал Торсон, сменив перо, — не виден для фрунта, но искусством работать на корабле в шторм заменяет трех матросов...»

Надо решить раз и навсегда: на каждый корабль следует назначать непеременный экипаж и командира. Пусть сохраняют береговые экипажи, но в каждом экипаже командир корабля должен иметь своих матросов и офицеров, тогда он будет стараться их образовывать, и надо капитанов готовить заранее на мелких судах из лейтенантов, давать им проявить на этих судах самостоятельность. Чтобы иметь крепкий флот, следует в первую очередь обратить внимание на приготовление его командиров. Мелкие суда дешевле держать в море, а практики для офицера на них больше, надлежит чаще посылать эти суда с эскадрами, сделав флагманами над ними таких флотоводцев, каковы Ратманов, Беллинсгаузен, Головин...

Далее, надо обратить внимание государя на штаты, где определен перечень и порядок постройки кораб-

лей, где определено изготовление всех частей корабля заранее.

Дубовый корабль стоит миллионы и более, а прослужив десять лет, уже никуда не годится! Привыкли строить бессистемно, нанося урон казне! Для постройки следует строго принимать только хороший дуб, привозить лес из Казани. Заготавливать части корабельные и класть их под крыши, а через несколько лет, дав лесу просохнуть, строить уже из сухих заготовок. И тогда каждый лишний год службы дубового корабля даст тысячи рублей экономии.

Мастеровые корабельные: парусники, плотники, конопатчики, — должны входить в состав экипажа на каждом корабле. Это будет подспорьем, когда корабль в море или в чужом порту потребует значительного исправления, не надо будет просить помощи иностранных мастеров, которым платить приходится втридорога.

Флот без практических кампаний тоже не флот. Практические плавания должны продолжаться не менее четырех месяцев. Полезно будет, если флот станет выходить в море в начале июня и возвращаться в начале октября, чтобы испытать океанские крепкие ветры, привыкнуть к бдительности в темные бурные ночи, ибо плавать, как сейчас, в небольшом отдалении от столицы, в тихие светлые летние дни — не означает плавать. В просторном месте на море, в сильный ветер надо приучать людей переменять стеньги, марса-реи, крепить паруса. Вначале будет трудно, но привыкнут и во время сражений станут действовать легко и споро. Англичане в баталиях, потеряв мачты, успевали за десять часов поставить новые! Тогда как французы ничего исправить не могли. И вот результат: казалось бы, уже выведенные из строя английские фрегаты, поправив свое вооружение, легко догоняли французов, бегущих под одним фоком...

Мысли легко ложились на бумагу — столько нако-

пилось всего! Если бы не арест, можно было бы постепенно многого достигнуть самому, теперь же следовало все вложить в эти полсотни листов плотной бумаги, и чтобы было яснее — надо озаглавить каждый раздел. На уже исписанной странице сверху он вывел крупными буквами: «Система образования офицеров и матросов на кораблях».

В России, по его убеждению, порой неразбериха и безделие рождались из-за отсутствия четкой системы. Создать нечто вроде системы он пытался при постройке кораблей — это его штаты, исчисленные для каждого типа кораблей. Необходима была столь же соразмерная система и в повседневной морской службе.

«На каждом корабле, — написал он, — должно быть расписано со всеми подробностями для каждого определенное действие при различных командах, как то: сниматься с якоря, ложиться на якорь, действовать артиллерию на один борт и на оба борта...»

Здесь Торсон, в подтверждение необходимости предложенного, привел пример того, как на английском флоте были введены так называемые табели. Табели эти в свое время перевел с английского Николай Бестужев. Он с удовольствием вывел имя друга: пусть знают, сколько пользы нес этот человек флоту, как нужен он государству! Но, к сожалению, министр даже не соизволил посмотреть переводы, не говоря уже о том, чтобы ввести их как обязательные на каждом корабле. Привыкли действовать по старинке, легче всего ничего не вводить нового, а лишь блистать орденами и эполетами на плац-парадах!

Отсюда, от лениги мысли, — устаревшая тактика морского боя, которую уж, кажется, опроверг, сломал в свое время прославленный флотоводец Федор Ушаков. Однако по-прежнему исповедуется шаблонная система баталии: корабли в линии и сходятся бортами для боя на параллельных курсах, и каждый корабль

ведет бой только с одним, расположенным против него вражеским кораблем. А действовать с успехом надо так, как учил Ушаков: прорезать строй, обрушивать огонь на носовые и кормовые оконечности вражеского корабля, окружать флагмана... Надо вести бой в любой обстановке, проявляя смекалку и самостоятельность. Пусть волнение, пусть качка!

Когда флот выходит в море на учения, надо приучать людей наводить пушки не только при слабом ветре, но и в крепкий, когда требуется проявить максимум сноровки и после каждого выстрела приходится закрывать порты* нижнего дека, чтобы избежать заливания. И батареями палить не вслепую, тратя ядра ради грохота, залпы должны быть прицельными, а для этого иметь на каждом корабле трубочки с передвижными волосками, чтобы определять по фок-мачте угол расстояния. Французы при Трафальгаре, не соразмерив дистанции, начали палить преждевременно, и англичане приблизились к ним неповрежденными — вот результат пальбы без прицела. Надо приучать бомбардиров, когда стреляют наветренным бортом и от дыма не видно неприятеля, выждать — пусть дым развеется — и, только наведя орудия прицельно, обрушить залпы...

Торсон на минуту остановился, отложил перо. И в который раз предстал перед глазами бой на фрегате «Богоявление господне», тогда шведский фрегат был вооружен большим количеством стволов, имел большой калибр пушек и залпы обрушивал чаще, но в дыму, неприцельно, и потому претерпел больше, чем нанес урона.

Теперь Торсон не замечал, как проходят дни. Казалось, мрачные серые стены каземата раздвинулись. Нескончаемой чередой дыбились волны. Оснащенные по его проектам фрегаты, несущие все паруса, птицами летели на гребнях волн, стволы пушек выдвигались по бортам, и мощь батарей была такой, что даже англи-

чане поражаются ею. Пусть он не будет уже стоять на шканцах этих новых кораблей, но его помянут добрым словом. Если бы все прониклись его проектами! Пусть тогда казнят, но будет чувство исполненного долга, уверенность в том, что жизнь прожита не зря, а отдана на благо России, для процветания ее флота.

Торсон даже не заметил, что теперь ему в камеру стали приносить уже не просто баланду, а суп с мясом, появились и капуста, и картофель.

Плац-майор Подушкин чутко ориентировался в обстановке, он проявлял свое рвение в тех пределах, которые считал угодными комитету: каждый узник получал рацион в зависимости от своего положения. Запирающихся, как их называл государь, «закоснелых злодеев», держали на хлебе и воде, заковывали в кандалы; тех же, кто проявил чистосердечие и раскаяние, следовало содержать в иных, более мягких условиях. Торсон, в глазах Подушкина, не относился ни к той, ни к другой категории, но коли монаршей милостью узнику разрешено излагать мысли, полезные для государства, значит, он лицо значительное и содержать его надо получше.

В один из дней плац-майор Подушкин собственной персоной появился в камере Торсона.

Торсон не сразу оторвался от бумаг, он продолжал писать. Потом только, разглядев, что это не простой охранник, а сам плац-майор, Торсон поднялся, посмотрел на важную персону отсутствующим взглядом. От плац-майора, как обычно, несло водкой, красное испитое лицо Подушкина напоминало перезревший плод. С того времени, как крепость стала заполняться лицами, подозреваемыми в участии в тайных обществах, у Подушкина началась иная жизнь. Что было до этого? Нескольких секретных узников, о тюремном существовании которых он знал все досконально, а теперь — более пятисот человек, и почти каждый загадка.

Сиятельные князья, графы, среди которых некоторые даже заседали в Сенате, и наряду с ними совсем молодые лейтенанты, а есть и почти дети, такие, как Дивов, и для каждого надо определить свое особое содержание. Записки государя не всегда понятны: «Не иначе содержать, как злодея...» «Содержать хорошо, снабжать всем, что пожелает, то есть чаем...» Волю государя надо выполнять точно. О Торсоне же никаких записок не было, а значит, поступай, как хочешь, и здесь легко ошибиться... Неродовит, но все же адъютант министра, кавалер Анны и Владимира, и после предоставления разрешения писать непосредственно царю плац-майор решил, что Торсон — персона важная, что надо проявить заботу и показать, что он, Подушкин, предоставляет все необходимое.

— Милостивый государь, — начал Подушкин, рассматривая Торсона колючим взглядом маленьких глаз, — есть ли у вас жалобы на содержание?

Торсон даже не сразу осознал вопрос. Впервые им заинтересовались. Какие могут быть жалобы у арестанта?

— У меня нет никаких претензий, — ответил он.

Плац-майор улыбнулся и спросил:

— Может быть, есть какие-нибудь просьбы? Я не все волен допустить сам, но могу доложить его превосходительству генералу Сукину.

Просьбы можно было высказать, их было бы не очень много, но стоило ли унижаться? Может ли облегчить его участь этот подвыпивший плац-майор? Что в силах сделать его начальник? Если бы разрешили переписку! Хотя бы одно письмо сестре и одно от нее! Облегчить ее муки, успокоить, передать Карин, чтобы не думала о нем. В Петербурге ли Карин? Нет, ей надо написать подробно потом, когда станет ясней его участь, а вдруг — помилование, вдруг государь прочтет его проекты и поймет! Тогда вернуть Карин — где бы она

ни была! А пока сестра все объяснит ей. Они обе столь чисты душой, что не смогут не полюбить друг друга!

Сестра сейчас, наверное, пытается во всех инстанциях добиться облегчения его участи, унижается перед сановниками, ищет связей. Наверное, каждый день бывает у Бестужевых — надеется узнать что-нибудь о Николае...

Знать бы, что известно там, в Петербурге, за стенами крепости, об участи арестованных? Остался ли кто-нибудь из общества на свободе? Хотя бы одно письмо! А еще лучше, об этом даже мечтать не приходится, — свидание с сестрой. Но что принесет оно? Предстать перед ней в тюремном засаленном халате, осунувшимся — излишние слезы и расстройство. Нет, нет, не свидание, хватило бы письма туда, на волю, несколько слов: я жив, не кланяйся никому, я готов принять любую сентенцию, позаботься о матери.

Но в силах ли, вправе ли явить такую милость Сукин и, если необходимо соизволение монарха, тогда стоит ли?

Торсон повернулся, поправил коптящий фитиль светильника, пламя стало ровнее. Потом он посмотрел на исписанные листы и сказал:

— У меня единственная просьба — мне нужна еще бумага...

— Будет доставлена, — бодро ответил Подушкин, — ежели что еще пожелаете, тоже рады всей душой! Для верных государю не жалею. А те, кто злодеи, тем ничего, тех — в кандалы, пока не образумятся!

— Что с Николаем Бестужевым? — спросил Торсон.

— Не велено, про других сообщать не велено, — помрачнел плац-майор и попятился к двери.

Вечером солдат-охранник принес кипу чистых листов, подал их аккуратно, стараясь не запачкать. Солдат был из инвалидной команды, половина лица обож-

жена так, что безбровый глаз казался провалившимся вглубь и страшным, вторым глазом солдат смотрел добродушно. Что-то знакомое было и в этом обожженном лице, и в неторопливой походке солдата. И только когда дверь за ним затворилась, Торсон вспомнил пожар на Охтенской верфи и этого солдата — тогда матроса флотского экипажа, пытавшегося вытащить плотника из горящего трюма.

В полночь тот же солдат, но не один, с фельдфебелем, вошел в камеру. У солдата в руках был сверток, и теперь Торсону показалось, что солдат тоже узнал его, но не подает вида при начальнике. В свертке оказался адъютантский мундир, тот самый, в котором он, Торсон, был арестован. Что означал столь поздний визит охранников, Торсон не знал. Шевельнулась ужасная мысль: конец, не успел дописать, высказать все, что накопилось за долгие годы флотской службы.

— Наденьте мундир, — сказал фельдфебель сиплым голосом, — вам надлежит предстать перед высочайше утвержденным комитетом.

Когда Торсон переоделся, фельдфебель натянул ему повязку на глаза. Спотыкаясь, как слепец, Торсон вышел из камеры. Его долго вели узкими коридорами, потом распахнулась дверь, и свежий весенний воздух опьяняюще хлынул на него.

В комендантском доме, где заседал следственный комитет, с него сдернули повязку, и он сощурился от яркого света десятка свечей.

Перед ним за длинным столом, покрытым зеленым сукном, сидели сановники — красные мундиры, блеск орденов, махровые эполеты. На лицах — усталость и безразличие. Только Левашев о чем-то оживленно переговаривался с рыжим и всклокоченным генерал-адъютантом Адлербергом. Председатель комитета военный министр Татищев полудремал, прикрыв глаза старческими веками. Генерал Чернышев оторвался от бумаг

и посмотрел на Торсона невидящим взглядом. Справа, перед столом, стоял, склонив голову, мичман Петр Беляев. Взгляды их встретились, но Беляев не узнал Торсона.

— Опять все спутали, — зло сказал Чернышев, — зачем привели?

— Для очной ставки, — пояснил Левашев, — это тот самый морской офицер, адъютант Моллера, о котором вы сами говорили.

Левашев поправил кудри, спадающие на лоб, и откровенно зевнул.

Татищев приоткрыл глаза и буркнул:

— Пусть подождет...

К Торсону подскочил Боровков и отвел в сторону. Боровкова он заметил только теперь и подивился тому, что этот человек, которого он встречал на заседаниях Вольного общества любителей российской словесности, вдруг здесь, и не в роли арестанта, а как распорядитель, судя по всему, даже облаченный какими-то полномочиями.

— Сюда, сюда, — извиняющим тоном сказал Боровков, — вам придется несколько подождать.

В левом углу стояла ширма, за ней потертый стул.

— Садитесь, вас позовут, — сказал Боровков.

В просвет между стеной и ширмой была видна только часть комнаты — край стола, покрытого зеленой скатертью, дремлющий Татищев и высокий кожаный стул рядом с ним. Этот стул, предназначенный для брата царя — Михаила, все чаще пустовал на последних заседаниях. Долгое следствие утомило уже всех членов комитета, за исключением, пожалуй, Чернышева и Левашева. Усердие проявлял и генерал-адъютант Бенкендорф, быстро делавший карьеру после декабрьских событий.

— Давайте, господа, продолжим. А то опять придется сидеть за полночь, — буркнул Татищев.

— Му, так вот-с, милостивый государь, — услышал Торсон звонкий голос Левашева, — в дополнение ваших откровенных показаний объясните следующее: вот вы собирались у Арбузова, который, кстати, не в пример вам, чистосердечно раскаялся, собирались морские офицеры, вздумавшие покуситься на жизнь монарха. Согласно показаний вашего брата, их подбивал на сие лейтенант Завалишин. Нам известно, что лейтенант Завалишин говорил о том, что если свершится задуманный вами преступный переворот, то надо начинать с головы, и прибавлял к сему: «Прекрасно выдумал мой знакомый Оржицкий — сделать виселицу, первым повесить государя, и там к его ногам и братьев...» Подтверждаете ли вы эти мерзкие слова? Когда и где Завалишин говорил их? Не было ли при том Арбузова и еще кого-либо? Какое действие на вас и на прочих произвели его слова? Знали ли вы Оржицкого?

Беляев, ошарашенный градом вопросов, молчал. Торсон вспомнил, как в наводнение этот мичман отличился изрядной сметкой и за храбрость, проявленную при спасении людей, был награжден орденом Владимира. Сколько же ему лет? Тоже, как и Дивов, почти юноша. За что же его, какие он мог совершить действия? И вдруг понял — судят даже и не за действия, судят за намерения: коли знал, слышал такой разговор, такие слова Завалишина, — а тот мог в порыве наговорить еще и похлеще, — почему слышал и молчал?.. Но откуда известно все, что говорилось, откуда?

И как бы отвечая на его мысли, Бенкендорф резко и отрывисто сказал:

— Ну что же вы молчите и краснеете, как девица перед первой брачной ночью! И ваш брат, и мичман Дивов оказались чистосердечнее! Мы уже не говорим о Завалишине!

— Опять этот Завалишин, опять будете просить, Дмитрий Иринархович: «Пощадите во мне юношу», —

забурчал Татищев, — отца своего, генерала, большого ума человека, не читали — отсюда все и пошло вольнодумство...

— Это не Завалишин, это Беляев-младший, — подсказал Татищеву Боровков, стоявший за спиной военного министра.

— Я могу зачитать показания Завалишина, — сказал кто-то, судя по тонкому голосу, Адлерберг.

— Избавьте, — остановил его Чернышев, — все уже устали... Государь просил больше не передавать ему завалишинских писем!

— Говорите же, Беляев, — сказал Левашев, — у нас не столь много времени.

— Я уже написал все в своих ответах, — сказал наконец Беляев, — об виселице же сообщить ничего не могу, где о сем говорил Завалишин, и вовсе не знаю...

— Опять старая история, им нужно сделать очную ставку, — предложил Бенкендорф.

— Ничего, разговорится, — сказал Левашев и встал из-за стола.

— Тогда поясните, что известно вам об Ордене Восстановления? — спросил Бенкендорф.

— Об Ордене Восстановления говорил Завалишин и предложил вступить в сей Орден, — ответил Беляев и добавил: — Оржицкого я совсем не знаю и не знал. Мы могли заблуждаться в нашем образе мыслей, будучи увлечены любовью к отечеству и к ближним, но мы не злодеи... не злодеи.

Беляев закашлялся и замолчал.

— Напрасно мы возимся с ним, — заключил Чернышев, — оба брата так ничего и не поняли!

— Прекрасная семья, но такие закоснелые, упорные злодеи, — начал свою обычную нотацию Татищев, — позор для матери, стыд, слезы материнские для него — ничто! Уведите, пусть подумает в камере о своей участи!

— Давайте сюда адъютанта Моллера, — приказал Чернышев.

— Тоже мне министр, Моллер, — протянул Татищев, — пригрел злодеев в Адмиралтействе. Один Бестужев-старший чего стоит!

Боровков отодвинул ширму и рукой показал Торсону на центр комнаты.

— Вы затеяли эту историю с увозом царской фамилии и должны отвечать за нее! — начал сразу Бенкендорф, уставившись на Торсона бесцветными оловянными глазами.

Что-то было общее у Бенкендорфа и Моллеров. Безумное рвение — определил Торсон.

— Я ничего не затевал и написал обо всем искренне в опросных листах, — сказал он, выдержав взгляд Бенкендорфа.

— Но есть другие показания, а посему вам будет дана очная ставка с Рылеевым, — сказал Бенкендорф и расстегнул ворот мундира.

В комнате от копоти и от раскаленного камина было душно.

— Присядьте, Торсон, — предложил Левашев, — сейчас приведут вашего друга.

Татищев, было задремавший, открыл глаза и уставился на Торсона.

— Это тот самый капитан-лейтенант Торсон, — шепнул Татищеву Левашев.

— Позор, — визгливо выкрикнул Татищев. — Как вы могли? Этаким заслуженный офицер, кавалер орденов, связались с мальчишками! Стыдитесь! Это все книги, начитались французских книг и вот вместо пользы и служения государю затеяли извести монарха. Посмотрите на меня: я всю жизнь мою читал только священное писание — и весь в орденах и в почете! На что вы обрekli свою семью? О чем вы думали!

Никто не вслушивался в поток его нравоучений.

В комитете уже привыкли к его высокопарным тирадам.

Когда военный министр смолк, Торсон наконец решился сесть. Кресло было узкое, с вытертыми подлокотниками. «Прокрустово ложе. Наверное, в этом кресле уже побывали все, находящиеся в крепости, наверняка сидел здесь и Николай Бестужев...»

Торсон не увидел, а скорее почувствовал, что ввели Рылеева. Он понял это по тому, как все сидящие за столом: и полудремавший Татищев, и оживленный Левашев, и непроницаемый Бенкендорф, — устремили свои взгляды на вошедшего. Наступило напряженное молчание.

Торсон обернулся и увидел Кондратия, трудно было даже узнать в вошедшем Рылеева. Перед сановниками стоял изнуренный человек. Похудевший, жесткая темная щетина на щеках. «Что они сделали с ним, — ужаснулся Торсон, — значит, и вправду пытки?»

Он старался перехватить взгляд Рылеева, но тот не смотрел в его сторону.

Рылеев молча сел на подвинутый ему стул. Начавший тотчас после ареста с откровенных показаний, он был измучен допросами и очными ставками. В Рылееве сразу разглядели вдохновителя заговора. Рылеев, в свою очередь, поверив в добрые намерения царя, стремился на допросах доказать, что к заговору причастны все мыслящие люди, что вся Россия готова к возмущению, что арестовать всех невозможно и надо выслушать членов общества, желающих блага государству, выслушать и даровать народу конституционные права.

Торсон, не знавший, кто стоит во главе тайных обществ, тоже догадывался, что все нити, по крайней мере здесь, в Петербурге, сходились к дому Российско-Американской компании, к Рылееву. Ему был близок и понятен этот человек, жаждущий освобождения Рос-

сии от деспотизма. И теперь одно то, что Рылеев жив, что он цел и невредим, обрадовало и успокоило Торсона. Если Рылеев здесь, значит, никого не казнили, значит, готовится помилование.

Допрос начал Бенкендорф, взявший на себя право задавать основные вопросы, говорил он тихо и доказательно. Судя по его вопросам, получалось так: Рылеев замышлял царевубийство, Торсон знал об этом и соглашался не только на истребление монарха, но и на уничтожение всей царствующей фамилии.

— Так вот, внесите ясность, — продолжал Бенкендорф ровным тоном, обращаясь к Рылееву, — предлагал ли Торсон лишить всех жизни в Шлиссельбурге?

Рылеев молчал. Торсон вспомнил, как загорался в своих речах Рылеев, как умел он страстно воспламенить людей. Что же произошло?

— Нет, я не могу сего подтвердить, — наконец сказал Рылеев, — мы не хотели крови, царевубийство было крайней мерой, ускорением событий. Я действительно сказал Торсону, что мнение переменялось, и предложил отправить царствующую фамилию за границу, подобрав надежный фрегат... Был разговор и об оставлении в Шлиссельбурге...

— И вот тогда Торсон предложил лишить всех жизни, а вы сказали: зачем всех лишать, — вмешался Левашев.

— Торсон всегда доказывал необходимость в России императора, но был тоже согласен с обществом, он принял наши взгляды. И разве укажете вы на флоте человека мыслящего, который хотя бы в душе не был тех же убеждений? — Рылеев говорил медленно, с расстановкой.

Адлерберг что-то рисовал на листках бумаги. Бенкендорф следил за тем, чтобы сонные писари не прекращали скрипеть перьями. Вопросы Бенкендорфа сыпались один за другим.

— Признаете ли вы справедливыми показания Рылеева? — спросил он.

Торсон не сразу понял, что вопрос относится к нему, он недоуменно смотрел на Рылеева, пытаясь понять, что же хочет тот доказать полусонным сановникам.

— Признаете! — повторил Бенкендорф уже громко.

— Разговор такой о Шлиссельбурге был, — ответил Торсон.

— Чудно! Значит, вы знали сей умысел! И вы, Рылеев, извольте ознакомиться с показаниями Торсона, зачитайте опросные листы, Боровков, — Бенкендорф встал и, потирая пухлые ладони, медленно прошелся по комнате.

Боровков достал папку и стал бубнить, проглатывая слова: «...При восстании войск в Петербурге мне и Бестужеву ехать в Кронштадт, где при помощи членов возмутить матросов, сменить начальство и принять город и крепость под свою команду... отправить морем царскую фамилию, иметь надежный фрегат, положитьсь на капитана и офицеров...»

— Вы предлагали сие Торсону? — спросил Бенкендорф.

Рылеев молчал.

Торсон неотрывно смотрел на Рылеева, наконец взгляды их встретились. Глаза Рылеева были прежними, где-то внутри затаенно бился огонь его дум и стремлений. Торсон хотел бы многое сказать ему сейчас, но не перед комитетом, не при них!

— Я не раскаиваюсь, Кондратий, — произнес он.

Рылеев не расслышал его слов, но, как бы чувствуя, что сейчас решается судьба его товарища, сделал шаг вперед к столу и сказал отчетливо и громко, почти выкрикнул:

— Я вовлек его в это предприятие, только я, он ни в чем не виноват, будьте милосердны к нему!

— Поздно теперь каяться, Рылеев, — перебил его Левашев и сделал знак Боровкову, чтобы увели допрашиваемых.

Весь следующий день после вызова в комитет Торсон не мог писать. Он думал о Рылееве, о том страшном напряжении, в котором, должно быть, находится этот человек. Неужели не могут понять его предельную честность? Его высокие порывы?.. Для чего, кому нужны эти мучительные допросы? Наверное, те, в комитете, жаждут посеять недоверие друг к другу у всех узников, растоптать человеческое достоинство, заставить мучиться подозрениями... Это не удастся — что бы не говорили, какие бы очные ставки не устраивали...

За работой над записками о флоте он как-то отодвинул и нависшие угрозы обвинения, и продолжавшаяся там, в комендантском доме, следствие. И вот его вернули к действительности...

Теперь, в камере, анализируя суть вопросов и свои ответы на них, он понял: следствие ищет тех, кто был согласен с истреблением царской фамилии, кто, если даже и не действовал, то замыслил, знал и молчал, — а значит, виновен. Да, напрасно он обмолвился в опросных листах о разговоре с Рылеевым, но теперь поздно что-либо исправлять. Тяжело Рылееву, Бестужевым, всем тем, кто возглавил общество, кто взят с оружием в руках на Сенатской, — они лишены каких-либо надежд. И как помочь им? Как облегчить их участь? О, ежели, прочтя предложения о флоте, его соизволят выслушать, тогда можно все объяснить!.. Но, что бы не произошло, надо успеть закончить свои записи... Надо спешить.

На следующий день с утра он уже сидел за бумагами, ему удалось написать два раздела — о занятиях экипажей на берегу и о гребном флоте. В первом он

предлагал сделать из старого судна плавучую батарею, чтобы с нее стрелять в цель, причем стрелять в любых условиях, даже при сильной качке, готовя матросов-артиллеристов. Затем вооружить парусами старый корабль и на нем обучать матросов ставить паруса. Он настоятельно советовал сделать учения и маневры постоянными и при посещениях Кронштадта высокими комиссиями обращать на это особое внимание.

«Не гневайтесь, государь, — написал он, — если в нынешнем году, заставив делать такие маневры, найдете, что их худо выполняют, не гневайтесь на морских офицеров за сие, они совершенно не виноваты, потому что их вели не по этой дороге, их заставляли заниматься мелочами, требовали, чтобы к приезду монарха вычистить палубы, прикрыть сор, осветить коридор, и, если это было сделано, тогда хвалили порядок на корабле. А настоящего дела не требовали, отчего все привыкли к бездействию...»

Ему хотелось описать события, связанные с «Эмгейтеном», то, как готовил он корабль и как замыслил его уже почти осуществленные вдруг оборвались после осмотра. Но он откинул эту мысль — не стоило ворошить прошлое, к тому же «Эмгейтен» отобрали для самого Николая, и неизвестно, как сейчас тот воспримет упоминание о корабле.

Обучение, постоянное обучение — отсюда начинается флот, здесь основа победы. В офицере все закладывается еще в корпусе, с детских лет. «Ничто так сильно не остается в человеке на всю жизнь, как страсть, полученная к чему-либо в молодости», — написал Торсон на следующем листе.

Систему обучения кадетов в Морском корпусе надо пересмотреть! У англичан закон: никто не может быть произведен в лейтенанты, пока не пробудет шесть лет мичманом в море. Наши гардемарины делают три кампании, и плавание их ограничивается переходами из

Петербурга в Кронштадт и обратно. Этого явно недостаточно! Все кадеты должны быть как можно чаще на море, для этого — придать корпусу фрегаты и на них познавать морскую службу. Употребить все средства для вселения в кадетов привязанности к морю. Составить для них книги с полным описанием морских практических действий. Такие книги с успехом мог бы написать Василий Головнин.

России нужен большой флот! И необходим корабельный резерв на случай войны. Для этого надо заранее готовить все детали для нескольких десятков кораблей, чтобы при нужде можно было быстро эти корабли построить. И строить в Кронштадте, а не водить построенные суда из глубины страны по мелководным рекам. В Кронштадте же для строительства судов соорудить еще доки, для фундаментов которых доставить гранит из Финляндии.

Корабли можно построить — это выполнимо, но где взять матросов? Их ведь не обучить за несколько дней. А потому — развивать торговое мореплавание. Вот резерв — матросы торговых судов! Но как их мало сейчас, купеческих судов, за границу ходят от силы три-четыре корабля, а могут ходить тридцать-сорок. И чтобы возбудить стремление к мореходству, в первую очередь надо снизить пошлины наполовину. Запретительная система министра финансов ни к чему хорошему не привела, а, напротив, лишила нас торговли!

Чтобы привлечь людей в военный флот, надо облегчить им жизнь. Освободить матросов от тяжелых портовых работ, построить сухие казармы, дать удобную одежду. Больно видеть, в каком рубище матросы ходят на кораблях, ибо всякое платье в портовых работах быстро изнашивается.

«Матросы, получа от вас хорошее содержание, теплые и сухие казармы, довольные своим положением,

чего не выполнят? Если вы, государь, им поручите какое дело, оно будет для них легко... Вы получите привязанность войск морских, надежный оплот на море», — написал Торсон.

О своих предложениях по постройке судов он не стал писать подробно, его проект о новом способе вооружения кораблей рассмотрен в Адмиралтействе, одобрен, а значит, надо только дать ход переустройству, учесть все, что достигнуто на «Эмгейтене».

Он решил подробно изложить только мысли об использовании на нижней и верхней палубах пушек одного калибра. Сейчас, для остойчивости, на верхних деках ставят орудия меньшего калибра или короткоствольные карронады. В ближнем бою все это хорошо, а на дальней дистанции ядра карронад не долетают до противника, а значит, фактически вместо двух батарей действует одна, та, что на нижней палубе. В то же время, есть проект генерала Гогеля — лить пушки из чугуна со смесью меди, а значит, можно, не меняя длины и калибра, установить эти орудия на верхнем деке, сделав их равными с пушками нижних батарей. И лишней тяжестью корабль не обременен, и вооружен с двойной силой!

Перестали топить печи: в Петербург пришло лето. Теперь в камере было не столь душно, но сырость ощущалась сильнее. Не замечая окружающей обстановки, Торсон продолжал писать.

Его больше не тревожили вызовами в следственную комиссию. Прислали только новые опросные листы, стандартные вопросы, как и для всех узников. Почему-то в конце следствия решили выяснить у арестованных, где они воспитывались, в каких предметах усовершенствовались, с какого времени и откуда заимствовали свободный образ мыслей.

Торсон ответил на вопросы предельно кратко и лишь на последний, о происхождении свободного об-

раза мыслей, пояснил подробнее: «Занимаясь и любя особенно морскую службу, я сравнивал состояние иностранных флотов с нашими, ревнуя пользам отечества, я употребил все меры действовать к общему благу прямым и законным образом, видя во всем совершенно противное течение дел, испытав собственным опытом невозможность принести пользу и испытав полную несправедливость, мысли мои были доведены до того положения, что я вступил в общество».

Пусть узнают причину в этом, пусть прочтут и поймут, что надо взять меры для истребления несправедливости, чтобы другие не увидели того равнодушного отношения к своим деяниям, какое испытал он, Торсон!

Наконец-то он почти закончил изложение программы развития флота, некоторые листы пришлось переписать, уточнить, он добавил еще предложения по устройству крепостей, рекомендуя заменить в Кронштадте и Ревеле деревянные укрепления каменными. Отдельно он изложил мысли о корабельных заводах.

Надо было убедить в необходимости соединения заводов. Препятствием ко многим делам была их разбросанность: паруса шьют в одном месте, пушки льют — в другом, сам корабль — в Адмиралтействе. В первую очередь, объединить Ижорский завод и Новгородскую парусную фабрику, установив машины, чтобы прясть нитки и ткать парусину. И сменить там директора. Директор — англичанин Вильсон, его помощник — тоже англичанин. А если случится война с Англией, требуют паспорта и уедут! Коли нет своих мастеров, надо обучать! Послать учеников в ту же Англию, как это делал Петр Великий...

Торсон перечитал написанное, кажется, охвачено все, можно было бы конечно изложить подробнее, представить схемы, чертежи, но для этого нет времени.

«Пользуясь дозволением составить записки сии, —

заклучил он на последнем листе, — я спешил их приготовить. Не осудите их за неисправность штиля и письма, я поспешил посвятить вам, государь, мысли, а не образец красноречивого изложения, чему не время, не место не соответствуют».

Он передал записки Сукину и почувствовал какое-то облегчение. Что бы ни ждало впереди — он исполнил свой долг.

И снова потянулись томительные однообразные дни. Отбивали время крепостные куранты, сменялся караул, звякали ключи...

В один из дней обед в камеру подал солдат с обожженным лицом, тот самый, который приносил бумагу, а потом исчез неизвестно куда, во всяком случае Торсон не замечал его в инвалидной команде куртины.

— Признали, ваше высокоблагородие? — спросил солдат. — Иван я, Суздаев, помните?

— Еще тогда, когда бумагой снабдил, узнал, — ответил Торсон.

— А меня в Алексеевский рavelин назначили, гиблое место, не было потому случая до вас достигнуть, — объяснял Суздаев свое долгое отсутствие.

Он поставил миску с супом на стол, аккуратно положил рядом хлеб и продолжал стоять в камере, переминаясь с ноги на ногу.

Торсон понял, что Суздаев хочет что-то сообщить ему, и оттого, что это может быть весть из дома, в предчувствии этого весь напрягся.

Суздаев приоткрыл дверь, посмотрел, нет ли кого в коридоре, и осторожно сел на краешек кровати.

— Времени мало осталось, ваше высокоблагородие, — сказал Суздаев, — скоро приговор объявят, так вот понимаете, есть у меня одна дума, как избежать...

Торсон с недоумением посмотрел на него.

— Вряд ли можно избежать своей судьбы, — сказал он.

— Я давно все обдумал, — Суздальев теперь перешел на шепот, — я просился в Петровскую куртину, но фельдфебелю подозрительно стало, и сюда меня на пост не назначили, а сегодня случай вышел, подменил я одного...

Торсон вслушивался в слова солдата, смотрел на обожженное лицо, на жесткие, давно нестриженные волосы. Суздальев был старше его лет на десять, а выглядел уже совсем стариком. Но была в его словах уверенность, и, вероятно, план свой он обдумал детально.

— Так вот, — продолжал Суздальев, — я вас ночью выведу из крепости, у Иоановских ворот мой земляк стоит, а там, я договорился, лодка будет ждать нас с надежным человеком, на веслах мы по Неве пройдем к купеческим судам, там можно наняться...

— Кто же поверит без документа?

— Как не поверить? — настаивал Суздальев. — Я одежду приготовил вам простую, а не поверят, так что им мореходы сведущие не нужны? Кто от этого откажется?

— А ты потом под шпицрутены? — спросил Торсон.

— Да нет, я с вами...

— А как же здесь родных бросишь? Землю свою?

— Никто уж не ждет меня, а невесте нареченной я и показываться не хочу. Куда я в таком виде?

Предложение было вполне осуществимо: мало ли на Неве купеческих судов, царские законы для них не указ, поднимут все паруса — и через неделю берега Англии. И там можно достойно приложить свои силы. Там он сможет соединиться с Карин. Он будет счастлив! Но имеет ли он, Торсон, на это право?.. Здесь, в крепости, останутся товарищи, примут суровую кару, а он? Правилен ли будет сей побег? К тому же примут ли тогда во внимание его предложения и мысли, касающиеся флота? А мать и сестра? Они останутся

здесь без средств на существование, сумеет ли он потом вызволить их, помочь им? Сможет ли он жить без своего Отечества?

— Ничего не получится, — после долгого молчания произнес Торсон.

Суздаев нахмурился — вся его подготовка рушилась.

— Не обессудь и не держи обиды, — сказал Торсон, — я очень благодарен тебе. Но есть обстоятельства, говорить о которых долго, но от которых не уйти, — я не могу бросить товарищей...

— Вы им не помога! Еще два дня — и будет поздно, приговор объявят, закуют — и не миновать Сибири...

— Меня не пугает суд и приговор... И мне надо довершить дело, начатое здесь. Это долго объяснять. Но может быть, если меня выслушают, я помогу своим товарищам, я облегчу их участь... И на мне нет вины.

— Где суд, там и расправа. На тех разве была вина? — сказал Суздаев и вздохнул.

— На ком? — испуганно спросил Торсон.

— На солдатах, что стояли в каре на площади. По шесть, по десять тысяч шпицрутенов им дали. Многих насмерть засекали!

Торсон молчал. Жестокость расправы поразила его. Разве мало было жертв картечи... Теперь к сброшенным в проруби добавились еще. За что? В чем их вина, простых солдат и матросов?..

— После полуночи я зайду, — настаивал Суздаев.

— Не надо, — твердо сказал Торсон, — если хочешь помочь... подожди немного, я напишу два письма. Сестре. И еще в один дом. Я объясню, как разыскать. Сможешь?

— Не спешите, я зайду после полуночи, я на всю ночь отряжен сюда...

Ночью он отдал Ивану два письма — сестре и Карин, в которых, чтобы успокоить сердца близких ему, он постарался описать свою участь не столь печальной и

просил сестру через Головнина посодействовать тому, чтобы рассмотрели его записки о флоте. Карин он убеждал простить его — не ждать и постараться забыть.

Больше он не видел Суздалева, и судьба солдата беспокоила его.

Не подвел ли он Ивана своей просьбой?..

И вот наступил день объявления сентенции. В крепости царило необычайное оживление. Длинный ряд карет двинулся сюда из Сената, где в последний раз заседали члены Верховного суда. Эскадроны жандармов и кавалергардов сопровождали кареты.

В коридорах со скрипом отворялись засовы на дверях казематов, раздавались отрывистые команды — все пришло в движение.

Плац-майор, на удивление, трезвый, а потому неразговорчивый, принес Торсону мундир и просил поторопиться.

Два павловских гренадера повели Торсона в комендантский дом. Теперь уже без повязки, не узкими коридорами, а по широкой площади. Его поразило необычайное скопление народа у собора. В комендантском доме Торсона ввели в небольшое помещение, где уже сидели и стояли более десяти человек.

Какова же была радость, когда среди них он узнал Николая и Михаила Бестужевых. Бурные объятия. Знакомые родные голоса... Говорили, перебивая друг друга. Необычайно громко смеялись. Они не виделись почти семь месяцев, при этом внешне многие изменились невероятно: заросшие щетиной, синева под глазами, одежда пестрая, у одних мундиры сохранились, у других часть одежды была штатской. Но глаза — глаза были прежними, светились надеждой. Они были опьянены радостью встречи, они хотели в эти минуты вознаградить себя за долгие месяцы молчания.

— Где же вы были? Я в Свеаборге, совсем один!

— Мы в равелине, причем рядом, Михаил придумал азбуку, переговаривались друг с другом.

— Завидую вам!

— Говорят, приговор жесток...

— Сентенция — ерунда, есть милость государя, он все отменил!

— А где же Александр и Петр, их освободили?

— Нет, тоже должны быть здесь.

— Очевидно, нас разжалуют! Переживем и это! — воскликнул неунывающий Михаил Бестужев.

— Нас с тобой вряд ли, — заметил Николай, — но вот Константина должны помиловать и даже восставать в чине...

Сейчас в этой комнате собрали их потому, что они отнесены к одному и тому же разряду — второму. Семнадцать человек. Многих из них Торсон видел впервые. Это были члены общества Соединенных славян, с юга. Были здесь и северяне. Среди других выделялись: блещущий остроумиями подполковник Лунин — в ярком, расшитом шнуром гусарском доломане; расудительный Митьков — из московских; могучий увалень кавалергард Анненков, быстрый Норов...

Они не знали, что все уже решено. Следствие, длившееся пять с половиной месяцев, закончено. Боровков составил о каждом сводное заключение. Сперанский разработал систему разделения по разрядам. Он сделал все, чтобы своим рвением доказать непричастность к кругам тайного общества.* Пятеро были поставлены вне разрядов: душа восстания — Рылеев, организатор общества на юге — Пестель, возмущившие Черниговский полк Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин и стрелявший в Милорадовича Каховский. Несмотря на лицемерное провозглашение отмены смертной казни в России, Верховный суд проголосовал: пятерых четвертовать. Только адмирал Мордвинов открыто высказался против смертной казни.

Первому разряду — тоже смертная казнь. Тридцать один человек, среди них Сергей Трубецкой, Антон Арбузов, Александр Бестужев, Евгений Оболенский, Александр Сутгоф, Василий Дивов... Второму разряду — политическая смерть: положить голову на плаху и сослать навечно в каторжные работы. Всего было установлено одиннадцать разрядов.

При решении судьбы Торсона голоса членов суда разделились: шесть — смертная казнь, двадцать шесть — политическая смерть, шестнадцать — вечная каторга. Торсону вменялось в вину: знание умысла на царевубийство, соглашение на отнятие свободы у царской фамилии путем увоза за границу, участие в умысле бунта, прием одного члена в общество.

В решениях суда, по сценарию Сперанского, заранее было оставлено место для проявления «монаршей милости», то есть заведомо выносился более строгий приговор.

Николай I обещал удивить Европу своим милосердием, слухи об этом ходили по Петербургу и проникали в крепость.

И вот последовала его воля: судьбу пяти человек, поставленных вне разрядов, он предоставил право решать суду.

Дибич, исполняя волю царя, написал председателю суда, что, на случай сомнения в приговоре, следует принять во внимание, что государь не согласен ни на какую казнь, сопряженную с пролитием крови. Тем самым санкционировалась виселица. Далее разряды смещались: первому разряду вместо смертной казни — вечная каторга, второму — двадцать лет каторги.

Среди осужденных по второму разряду не последовало смягчения братьям Бестужевым.

...Они продолжали радоваться встрече, когда их наконец ввели в соседнюю комнату — самое просторное

помещение комендантского дома. Они увидели про-тоиерея, лекаря и двух цирюльников с препаратами для кровопускания (на случай, если потребуется помощь тем, кто не выдержит при чтении приговора).

В помещении было душно, пот катился по лбам гренадеров, стоящих с примкнутыми штыками у стены. Напротив, за большим столом, покрытым красным сукном, восседал Верховный суд. Более семидесяти человек с трудом разместились в несколько рядов. В середине — председатель суда, рядом — министр юстиции, по правую сторону от них — члены Государственного Совета. Слева от председателя — митрополиты, в шелковых рясах с бриллиантовыми крестами на черных клобуках; за ними на стульях и лавках во втором ряду — сенаторы в красных мундирах.

Торсон стоял между Михаилом Луниным и Николаем Бестужевым. Николай Бестужев смотрел поверх голов судей, на лице его не было ни волнения, ни страха. Лунин покручивал ус и кидал быстрые взгляды на знакомых сенаторов, которые стремились тотчас отвернуться или опустить головы, чтобы ничем не проявить свое знакомство с осужденным.

От жары становилось тяжело дышать, Торсон расстегнул верхнюю пуговицу мундира.

Посредине помещения, перед столом, стоял пюпитр, на нем толстая кипа бумаг, возле пюпитра переминался с ноги на ногу оберсекретарь Сената. Никто не заметил, как он начал читать приговор.

Слова сливались, смысл их терялся, Торсону казалось, что это не о нем, а о ком-то другом: обвинения в том, к чему он был не причастен, какая-то путаница — царевубийство, согласие с умыслом... побуждение к бунту... По лишении чинов и дворянства... К политической смерти, по указу 1753 года апреля 29, — положить голову на плаху... сослать вечно на каторжную работу... милосердие государя, проявление высочайшей воли —

соизволили смягчить участь... двадцать лет каторги с последующим поселением в Сибири навечно, сообразуясь с высоким монаршим милосердием, в сем деле явленном, смягчением казней и наказаний прочим преступникам... Верховный суд постановил... Приговорить Бестужева Николая, Бестужева Михаила, Ивана Анненкова, Константина Торсона, Николая Бассаргина, Михаила Митькова, Михаила Лунина...

Торсон вдруг осознал — вечная каторга, вечное поселение. Вечное, безысходное... до конца дней... Значит, не дано более — ни переустройства кораблей, ни дальних вояжей на них в вольном океанском просторе. И ни новому царю, ни сидящим здесь в зале никакого дела нет до могущества флота! Первенствовать на морях или прозябать в «маркизовой луже» — безразлично. И все его предложения... где они? И только ли флот безразличен?

Лица сановников сливались в одно — лоснящееся, потное. Он не знал почти никого из них, за исключением Мордвинова. Взгляды их на мгновение встретились. Старый адмирал потупил голову и судорожно смял белый платок, лежащий у него на коленях.

Судьи торопились, впереди было еще девять разрядов.

Торсона и его товарищей вывели по узкому коридору во двор. Высоко в небо возносился шпиль Петропавловского собора, невидимая за стенами куртин Нева несла свои воды к заливу, туда, к Кронштадту, где стоят на якорях корабли с зарифленными парусами. Его, Торсона, корабли, на шканцах которых уже не дано ни ему, ни его товарищам отдавать четкие команды... Если бы знать заранее, что такова будет сентенция... Но даже если знать заранее — можно ли быть в стороне, когда беззаконие и самодурство сдавливают народ? Пусть жестока расправа, но она не

остановит общих устремлений! Она не сможет стереть веяния века...

Вот они сейчас все вместе, они не сломлены! Будто и не было никакой сентенции. Будто не их судили, а они судили!

О чем-то оживленно говорит Михаил Бестужев, шутит Митьков, подталкивая Анненкова.

К Торсону подошел Николай Бестужев, положил руку на плечо, улыбнулся.

Кто-то крикнул: «И в Сибири есть солнце!»

— Мы не канем в безвестности, — отчетливо произнес Лунин. — Нас хотят отделить от людей, но от зароненных нами идей уже не отделить Россию!

...Их развели по камерам, а на исходе следующего дня опять подняли — и вся крепость наполнилась движением. На кронверке* жгли костры, раздавался стук топоров. Гулко и дробно ударили в ночи барабаны. В полумраке угадывалось движение войск, слышались голоса фельдфебелей, отдающих команды. Узников вывели на площадь к собору, моряков отделили от всех и собрали у стены Петровской куртины.

Торсон очутился рядом с Николаем Бестужевым. Друзья крепко обнялись. Совсем неожиданной была встреча с Петром Бестужевым. Необычайно оживленный, молодой мичман не отходил от старшего брата.

Никто не знал, зачем понадобилось поднимать их ночью, почему моряков собрали отдельно. Наконец командир караула объяснил, что их повезут в Кронштадт, где разжалуют в чинах по обрядам морской службы и объявят приговор на флагманском корабле.

В это время остальные узники были выведены на кронверк крепости, где на гласисе* был сооружен странный деревянный помост и за ним выстроены роты гвардейских полков.

Моряков было пятнадцать человек, их вывели через

ворота на берег Невы. Здесь на тихой воде приткнулись к набережной два двенадцативесельных баркаса с закрытыми каютами. В каютах было темно настолько, что даже нельзя было различить лица рядом сидящих. Маленькие окна с железными решетками тускло белели в бортах. Юный Василий Дивов и Александр Беляев задремали на скамьях, тесно прижавшись друг к другу. Слышались звонкие голоса матросов-гребцов наверху, потом привычный плеск весел и журчание воды обозначали начало движения. Знакомый путь — вниз по течению, навстречу водам залива, к фортам Кронштадта.

— Меня не страшит сентенция, — тихо сказал Николай Бестужев сидящему рядом Торсону, — я ожидал смерти, ведь это я вывел моряков на площадь... Теперь жизнь мне, как дар, пусть каторга, но жизнь. Жить значит действовать, мыслить. Я знаю, где бы мы не были с тобой — везде будем стремиться радеть на пользу общества! Да, самое страшное — ожидание, но теперь все позади!

— Ты прав, — согласился Торсон, — это ужасно — неизвестно чего ждать, не зная, что с твоими товарищами... Были мгновения, что мне казалось — не выдержу...

— Не ты один, — сказал Бестужев, — всем пришлось не легко. Всякое было... Жаль Булатова. Он был помощник Трубецкого, на него надеялись. Любимец гвардии. Он разбил голову о каменные стены каземата... Не выдержал, видно, его томило раскаяние: дав слово Рылееву и взяв на себя слишком многое, в последний момент он отступился...

— А что будет с Рылеевым, какова сентенция? — спросил Торсон.

— Говорят, их помилуют, — вмешался в разговор Петр Бестужев, — объявят казнь и тотчас же помилуют всех пятерых, поставленных вне разрядов! Я слышал это от плац-майора.

Их разговор разбудил Дивова. Мичман, исхудавший за время заключения, подвинулся поближе, все время пытался сказать что-то, потом повернулся к Николаю Бестужеву:

— Простите, братцы, меня! Я столько сказал лишнего...

Николай Бестужев взял его за руку, сказал:

— Зачем вспоминать то, что было, мы останемся все друзьями: ты — наш, ты — с нами, успокойся.

Дивов уткнулся лицом в плечо Бестужева. Торсон поднялся, пытаясь рассмотреть, куда двигаются баркасы.

За Исаакиевским мостом баркасы с узниками ждала министерская шхуна «Опыт». Было светло и прозрачно: сиреневатое мерцание воды, ни ветерка, теплая белая ночь. Паруса на шхуне беспомощно повисли. Невдалеке от ее борта пыхтели, изрыгая снопы искр, два парохода — «Проворный» и «Скорый». На «Проворном» матросы готовили буксирные концы. Шкипер вяло поругивал матросов, растаскивающих бухту тросов на пароходе.

Наконец буксир был подан, узники перешли по трапу на шхуну, пароход дал сиплый гудок, и кавалькада судов двинулась дальше по ночной, ровной глади Невы. Впереди — «Проворный», за ним — на буксире шхуна «Опыт» и два баркаса. Замыкал движение «Скорый».

В четыре часа они миновали брандвахту и вышли на простор залива. Мерно плескалась и журчала вода за обшивкой. Родная стихия встретила узников дымкой тумана и ранним летним рассветом.

Когда их вывели на палубу, они увидели в расходящейся дымке знакомые очертания Кронштадта: силуэт крепости, купола церквей за бастионами и корабли в гавани, стоявшие с зарифленными парусами.

С флагманского корабля адмирала Кроуна «Князь

Владимир» раздался пушечный выстрел, и по мачте пополз вверх черный флаг. Матросы на палубах всех кораблей всматривались в сторону приближающейся шхуны. Со всех сторон к борту «Князя Владимира» скользили катера. Шхуна «Опыт» и флагманский корабль медленно сближались в тишине утра.

Узники стояли на палубе, вдыхая свежий морской воздух. Перед ними предстала родная стихия — знакомые воды гаваней, откуда не раз отправлялись они в дальние вояжи; легкие бриги и корветы, на палубах которых они звучно отдавали команды; многопушечные громады, построенные с их участием.

Торсон почувствовал слабость в ногах, голова кружилась, он ухватился за леера. Лучше бы не видеть всего этого, всего, с чем уже давно распрощался и понял — возврата нет. Казалось, что все это снится — тихий дымчатый рейд, плеск волн... Дано ли в жизни увидеть еще раз море, дано ли снова встать на шканцы и ощутить упругость парусов? Вряд ли. Значит, сегодня в последний раз перед тобой морской простор, последние всплески свободной стихии.

Один за другим взошли они по трапу на борт флагманского корабля. Там на широкой палубе выстроились литые шеренги — матросы и офицеры «Князя Владимира», прибывшие на борт офицеры с других кораблей. Знакомые лица. Во взглядах офицеров нет осуждения, у многих на глазах слезы. Это друзья, каждого из узников они знают по совместным баталиям и плаваниям. Это не исполнение приговора, задуманное как позорное судилище. Это прощание с друзьями. Флот прощается со своими лучшими офицерами.

И вот они, мятежные офицеры, в потертых, измятых мундирах перед ровными застывшими рядами тех, кто когда-то был с ними плечо к плечу в едином строю, кто, может быть, и сейчас разделяет их мысли.

В тишине отчетливо прозвучали слова сентенции.

Осужденные уже слышали ее, а потому приговор, известный заранее, теперь воспринимался, как нечто не-реальное, отдаленное.

Ударили барабаны, протяжно взвизгнули флейты. Раздалась команда:

— Сорвать мундиры!

К Торсону подошел пожилой матрос, двое офицеров рядом: один из них держал саблю, которую он должен переломить над головой осужденного. Знак разжалования и лишения чинов. Лишение всего, что связывает с флотом. Рядом Николай Бестужев медленно и спокойно снимал свой мундир, аккуратно сложил его, как будто и не навсегда расстанется с ним.

Торсон сбросил мундир на палубу. Матрос подал ему простую шинель.

— Ну что вы там мешкаете, — крикнул один из адмиралов, — за борт, за борт!

Мундиры полетели за борт, ордена, добытые в баталиях, в дальних походах — тоже за борт.

Над десятью офицерами, поставленными на колени в центре каре, образованном шеренгами, переломили сабли.

Резкие, скрежещущие звуки в тишине утра.

В стороне плакал Борис Бодиско. Приговор ему самый мягкий — разжалование в матросы. Он расставался с товарищами — и столь ощутима черта, что разделила его и десятерых. Еще четырех — в солдаты: Петра Бестужева, Федора Вишневого, Епафродита Мусина-Пушкина и Николая Акулова. Они тоже стояли отдельно. Остальным, над которыми переломлены сабли, — кандалы и Сибирь.

И теперь в матросских шинелях стояли они на палубе. Мрачен и весь ушел в себя Антон Арбузов, улыбается Николай Бестужев.

— Господа, — сказал с пафосом Завалишин, запихивая полы длинной шинели, — господа, будет время,

когда вы будете гордиться этой одеждой больше, нежели каким бы то ни было знаком отличия!

Широкая улыбка осветила лицо Дивова.

— Прощай флот российский! — громко произнес Петр Беляев.

И вдруг будто ток волнения прошел по рядам офицеров и матросов, выстроившихся на шканцах. Офицеры не в силах были скрыть свое волнение, сочувствие к осужденным. Торсон увидел Михаила Сатина — его ученик был здесь, на глазах у Сатина слезы, а рядом Иван Завадовский, там дальше Аркадий Лесков, знакомые, родные лица...

У борта «Князя Владимира» хрипло и отрывисто гудел пароход «Скорый», готовый буксировать шхуну в обратном направлении, по тому же пути, через залив, вверх по течению Невы к Петропавловской крепости.

Узников торопили на пересадку.

В Петербург шхуна «Опыт» пришла днем. Июльское солнце слепило глаза. Толпы народа на набережных, узнавшие, что на шхуне находятся осужденные, все росли. Женщины махали платками, что-то кричали. Там, возможно, были и Екатерина Петровна, и сестры Бестужевы, и Карин. Но разглядеть их из трюма в небольшой, расположенный у подволока иллюминатор было невозможно.

Начальник Морского штаба Моллер, испуганный большим стечением народа, не решился дать команду на швартовку. Лишь глубокой ночью узников переправили на баркасы и доставили в Петропавловскую крепость.

И здесь, уже в крепости, Торсон и его друзья узнали о страшных событиях, происшедших прошлой ночью: Кондратий Рылеев, Павел Пестель, Сергей Муравьев-Апостол, Михаил Бестужев-Рюмин и Петр Каховский повешены на гласисе кронверка.

По случаю «свершения правосудия» были устроены «очистительные молебствия». Звонили колокола в церквях, гремели пушки крепостей.

Царь праздновал свою победу над лучшими и честнейшими людьми России.

До отправления в Сибирь многим узникам предстояло немало томительных месяцев провести в казематах крепостей.

Торсона, заковав в кандалы, отправили по этапу в декабре 1826 года.

Он так и не узнал тогда, что стало с его предложениями по развитию флота.

Он не знал, что был создан комитет образования флота, что его проекты обсуждались на трех заседаниях этого комитета. И были отвергнуты. Иначе и прозойти не могло.

Комитет не желал да и не мог признать правоту осужденного офицера.

Но жизнь диктовала свое, и, независимо от решений комитета, несмотря на общую тенденцию царских сатрапов, жаждущих зачеркнуть все, что было связано с делами участников декабрьских событий, предложенные Торсоном преобразования стали широко известны и постепенно вводились на флоте.

Флотские экипажи закрепили за кораблями. Командиров кораблей начали назначать с постройки на стапеле и старались не заменять.

Ежегодно эскадры кораблей выходили на морские просторы, русский флаг все чаще развевался на дальних широтах. Стали регулярно производиться боевые маневры с артиллерийскими стрельбами. Гидрографическое управление организовало промеры и составило подробные карты шхер заливов Балтийского моря. Сооружались новые доки и стапеля, и детали для постройки кораблей стали заготавливать заранее. Были

объединены разрозненные фабрики и заводы, подчиненные морскому ведомству.

Исчисленные Торсоном штаты и положения на постройку судов применялись почти повсеместно.

После ревизии, проведенной адмиралом Сенявным, начальник Кронштадтского порта Моллер был вынужден просить отставки.

В Наваринском сражении 1827 года в составе эскадры, запершей в бухте турецко-египетский флот, были боевые линейные корабли «Азов», «Гангут», «Александр Невский», «Иезикииль», построенные с применением новшеств, предложенных Торсоном. Сокрушительные залпы батарей этих кораблей решили исход сражения. В результате четырехчасового боя турецко-египетский флот прекратил свое существование.

Когда гремели пушки под Наварином, Торсон был в далеком Читинском остроге.

Начиналась новая глава его подвижнической жизни.



Послесловие

Сибирь. Забайкалье... Дикий и забытый край Российской империи. Более двух месяцев везли их сюда — закованных в кандалы, под охраной жандармов.

Иркутск, Читинский острог, Нерчинские рудники, Петровский завод. Глухие места поселений...

Сегодня до этих мест от Москвы — менее семи часов полета. Пронесется под крылом горы Урала, могучие сибирские реки, чаша Байкала — и вот уже огни аэродрома Улан-Удэ, столицы бурятского края.

Отсюда несколько часов автобусом до небольшого городка Повоселенгинска. Дорога петляет по желтым долинам, их окружают пологие холмы, и в светлом прозрачном воздухе далеко видно окрест.

Автобус делает остановку в Гусиноозерске. Это районный центр. В низине высокие дома, силикатный завод, крупная электростанция. Город расположен вдоль берегов вытянутого озера. И вспоминается очерк Николая Бестужева «Гусиное озеро». Николай не раз пробирался вдоль этих берегов, в те времена заросших непроходимыми чащами; он первый досконально изучил эти места, нанес на карту, обнаружил здесь залежи каменного угля, минеральные краски, горный хрусталь. Его исследованиям во многом обязан выросший в наше время промышленный город.

От Гусиного озера до Новоселенгинска уже совсем рукой подать. Недолгий путь по холмам, и вот за поворотом открывается городок, застроенный в виде правильного прямоугольника, сразу видно — по заранее намеченному плану.

Расположен он на берегу быстрой и полноводной Селенги, вокруг бескрайние степи и бурые горы. Изумруд низкорослых лесов у подножия, на склонах. Часто породы обнажены, видишь в разрезе коричневые слои глины, изредка среди них поблескивают вкрапления слюды и гранитов. На горизонте видны белые шапки снега на отдаленных вершинах. С гор стекают серые потоки — это стада овец возвращаются из соседних долин. Воздух сухой, целительный.

Константин Петрович Торсон увидел эти места весной 1837 года. Очевидно, в то время близ города он мог наблюдать многочисленные юрты, дым костров возле них, пастухов-бурят, лихо носящихся по склонам холмов на низкорослых лошадях.

Сегодня потомки этих бурят столь же лихо водят машины по крутым горным дорогам. Много переменялось. И край давно уже перестал быть далеким — пришли сюда и техника, и культура...

Торсон первым из «второразрядников» вышел на поселение. Очутился один в неизведанном крае. Позади десять лет каторги в Читинском остроге и на Петровском заводе. Там на каторге он был среди друзей. Рядом были Николай и Михаил Бестужевы, Сергей Трубецкой, Никита Муравьев... В Чите сложилась «каторжная академия» — они читали лекции по истории, философии, математике, физике. Совместное заключение соединило узников, дало опору друг в друге. «Каземат дал нам политическое существование за пределами политической смерти», — писал Михаил Бестужев в своих воспоминаниях.

В глухие темные вечера за стенами острога кипела

жизнь — бурные споры, поиски путей развития страны, постижение научных изысканий...

Обучали друг друга языкам. Торсон, например, учил соузников голландскому. Любили слушать товарищи и его увлекательные рассказы, о дальних вояжах. Николай Бестужев делился с друзьями своими знаниями в области гидрографии, механики, читал свою историю русского флота. Михаил Кюхельбекер рассказывал о кругосветном плавании на шлюпе «Аполлон». Морские офицеры, повидавшие мир, раскрывали товарищам его границы, вспоминали дальние берега, пытались здесь, вдали от морей, решить, как пойдет дальнейшее развитие флота. Что принесет пар, идущий на смену парусам? Вытеснит ли металл дерево?

Константин Петрович продолжал разрабатывать кораблестроительные проекты, по ночам в полутемном помещении острога он изо дня в день вычислял и чертил.

Он изобрел машину для выпиливания шпангоутов, способы опреснения морской воды и много других дельных, применимых при строительстве флота устройств и приспособлений.

По-презюмену вместе с ним разрабатывал эти проекты его верный ученик Михаил Бестужев, сохранивший в душе любовь к корабельным делам. Михаил, в отличие от Торсона, был ярким сторонником использования паровых судов. Он придумал оригинальный пароходный движитель на гидравлике.

На Петровском заводе Торсон и Николай Бестужев, к удивлению горных чиновников, отремонтировали и ладали водяную пильную мельницу, которая до этого десять лет стояла без употребления и к которой никто и не ведал, как подступиться.

Такие люди, как Николай Бестужев и Константин Торсон, были особенно необходимы товарищам. Ведь они умели все делать своими руками — и портняжничать, и столярничать, и тачать сапоги. Им разрешили

даже построить специальное помещение, где они занимались слесарным и токарным делом.

В Петровском заводе началось новое увлечение Торсона: он задумал механизировать сельскохозяйственные работы. Здесь он начал изготовление своей первой молотильной машины, и послал ее чертежи сестре в Петербург.

Долгие хождения Екатерины Петровны по инстанциям, ее попытки доказать пользу изобретения брата не принесли существенных результатов...

Срок каторжных работ был сокращен Торсону до десяти лет. В июне 1836 года он расстался с друзьями. Первый год поселения Торсон находился в Акшинской крепости, на самой границе России и Монголии. Местность в Акше была гористой, климат слишком сухой, и Торсон испросил разрешения переселиться в Селенгинск. Здесь он продолжил свои труды по постройке молотильной машины. В Селенгинске механизация сельскохозяйственных работ стала основной его заботой. Город Селенгинск тогда был расположен выше по течению реки, нежели теперешний Новоселенгинск. Из-за частых опустошительных наводнений и песчаных заносов город решено было перевести на левый, более возвышенный берег Селенги. Торсона этот перенос города не коснулся, он выстроил свой дом напротив старого города, в районе Нижней деревни. Земли для обработки ему отвели на противоположном берегу.

Местные жители, в основном скотоводы, не видели необходимости в применении машин. Торсон постоянно встречался с многочисленными препятствиями. Нанимать плотников было тяжело: прослышав, что машина будет давать большие прибыли, они требовали увеличения платы. А Торсону виделись не прибыли, просто он понимал, что молотить зерно цепями на льду реки неразумно и тяжело.

Селенгинск издавна был местом ссылки. Еще в 1727

году сюда был доставлен попавший в немилость арап Петра Великого Абрам Петрович Ганнибал. Прадед поэта, деятельный и неукротимый, построил здесь крепость и немало сделал для развития края и укрепления дальних границ России. Торсон наверняка слышал рассказы бурят, сохранивших память о неугомонном черном человеке.

Многие начинания Торсона тоже казались странными, но постепенно жители поняли, что поселенец жаждет принести им пользу.

Тюремная жизнь, каждодневные упорные занятия, одиночество, невозможность добиться признания своих проектов угнетали Торсона. Физические его силы иссякали. Надежды на освобождение и возвращение с каждым годом таяли. Он уверовал в то, что неудачи фатально преследуют его.

Николай Бестужев в письмах пытался отговорить друга от постройки молотильных машин, опасаясь, что очередная неудача может сломить Константина Петровича. Торсон писал в ответном письме: «Спорь или не спорь, это все равно, меня не переменишь, только вместо того, чтобы горячиться, я улыбнусь и скажу «увидишь»».

Чтобы поддержать Торсона, в Селенгинск в 1838 году приехали его сестра и престарелая мать: настойчивые хлопоты Екатерины Петровны пробили брешь в системе, стремящейся оторвать от мира декабристов, лишить их связи с родными. Ведь даже переписка была запрещена «государственным преступникам»!

Сестра и мать Торсона повторили подвиг жен декабристов, добравшись через всю страну в далекую Бурятию, чтобы разделить участь своего брата и сына.

Когда истек срок каторжных работ Николая и Михаила Бестужевых, они, имевшие возможность получить право на поселение в Тобольске или Кургане, желая поддержать своего друга и провести остаток жизни вме-

сте с ним, также добились разрешений на поселение в Селенгинске.

Можно представить ту радость, с которой встретили их приезд Торсоны. Быть вместе, получить опору и поддержку друг в друге — об этом можно было только мечтать. Рядом теперь были самые близкие люди, и казалось, все одолимо. Дни заполнились работой — пахота, сбор урожая, заготовка сена для овец, слесарные поделки...

Построили, оснастили механические мастерские, делали там все сами — и лемехи для плугов, и кастрюли, и затейливые перстни...

Наладили изготовление изобретенных Торсоном и Михаилом Бестужевым сидеек. Сидейки — легкие двухколесные повозки — как нельзя кстати пришлись для горных дорог. Чтобы повозки не трясло на крутых ухабах, жерди, на которых крепилось сидение, соединили под углом с оглоблями — упругое это крепление как бы заменило рессоры. И размером сидейки были небольшие, удобные. Они быстро распространились по всему краю.

Велика Сибирь, огромные расстояния отделяли Бестужевых и Торсона от мест поселений других декабристов. Но несмотря на эти расстояния и всяческие ограничения на переписку, декабристы постоянно поддерживали связь друг с другом.

В столице Восточной Сибири — Иркутске — образовался как бы центр, соединяющий всех. Здесь находилась на поселении Сергей Трубецкой, Никита Муравьев, Сергей Волконский. Как ни трудно было добиться перемещения даже в пределах Сибири, Николай Бестужев сумел несколько раз побывать в Иркутске. Только за одну поездку он сделал более семидесяти портретов.

Многие из ссыльных декабристов, в свою очередь, под разными предлогами добивались разрешения на поездку в Селенгинск. Побывали здесь Иван Пуштин, Ма-

рия Юшневская, Волконский с Женой, со всей семьей приезжал Трубецкой... Да и не только декабристы стремились в Селенгинск. Не раз был здесь выдающийся ученый и путешественник отец Иакинф (Никита Яковлевич Бичурин), посетил Николая Бестужева известный художник Карл Мазер, путешествовавший по Сибири, частым гостем в доме Торсона был бурятский ученый-ориенталист Доржи Банзаров.

Всех их интересовали общие проблемы и заботы — как с пользой для людей применить свои силы, что сделать, чтобы, люди этого края освободились от пут отсталости...

О многом рассказывают экспонаты музея, открытого в Новоселенгинске в 1975 году.

Музей декабристов расположен в бывшем доме купца Старцева, построенном, кстати, по проекту Николая Бестужева.

Дом этот светел и легок. Двухэтажный, с белыми колоннами, в прозрачном воздухе он кажется кораблем, плывущим среди одноэтажных бревенчатых домиков. Напротив дома — сквер, в нем памятник Николаю Бестужеву.

В музее тишина, ровный свет дневных ламп. Копии с акварелей Бестужева. Портреты, портреты... Сколько он успел их создать! Облик многих декабристов сохранился для нас только благодаря Николаю Бестужеву.

Наверняка не раз рисовал Николай своего друга Торсона, и его сестру Екатерину Петровну, и Шарлотту Карловну. Где теперь эти портреты? Куда исчезли они... Отыщутся ли? Увидим ли мы когда-нибудь подлинные черты лица Торсона? Пока же остались лишь словесные описания — в списке арестованных, содержащихся в Петропавловской крепости, и в найденном недавно списке, составленном в Акшинской крепости. Рост два аршина шесть вершков — это порядка ста семидесяти

сантиметров (по тем временам Торсон считался высоким), лицо белое, круглое, волосы светло-русые; в первом списке — глаза голубые, во втором — серые. Это уж кто как посмотрел...

Художник в нашей книге изобразил Торсона так, как он видится ему — может быть, внешне и не очень схож, да и сравнивать не с чем, но суть характера, устремленность, целенаправленность — переданы.

В музее много любовно подобранных подлинных вещей того времени. Сохранилась мебель Старцевых — массивные витые кресла. Мебель из дома Бестужевых — бюро, письменный стол, различные предметы быта, найденные на том месте, где стояли дома Бестужевых и Торсона. Выразительно выполнена рельефная панорама старого Селенгинска. На стене — карта мест поселения декабристов в Забайкалье. В Баргузине — Вильгельм и Михаил Кюхельбекеры, в Верхнеудинске — Яков Андреевич из общества соединенных славян, в Ялуторовске — Евгений Оболенский и Иван Пущин... О всех о них осталась в Бурятии добрая память.

Здесь, в Селенгинском музее, собраны экспонаты, отражающие подвижническую деятельность декабристов. Это и модель мельницы, построенной ими, и модель торсоновской молотилки, и знаменитые сидейки.

В залах музея понимаешь, сколь велик был вклад декабристов в развитие и освоение забайкальского края. Они развели здесь мериносовых овец, развернули хлебопашество. В парниках выращивали дыни и арбузы,, на огородах сажали картофель, капусту, морковь. Все это поначалу было в диковинку местным жителям.

И конечно, добрым волшебником представлялся им Николай Бестужев. Ведь этот морской офицер мог изобразить тебя на бумаге, починить ружье, сделать очки, да и чего только он не умел — и сапоги тачал, и был заправским кузнецом, мало этого, слыл в округе лучшим ювелиром, а токарные работы выполнял так, что

его изделия не отличались от изготовленных на казенных заводах. Славилась и часы, которые умел делать Николай Бестужев, казалось бы, из ничего — ни материалов, ни точного инструмента не было под рукой, а получались чудо-хронометры, шли четко — минута в минуту.

Под стать Николаю были и его помощники — Константин Торсон и Михаил Бестужев.

Декабристы принесли сюда культуру и просвещение. В доме Торсона была устроена школа, где обучались дети бурят и русских из всех окрестных селений.

Екатерина Петровна оказалась незаменимым лекарем, все восхищались ее познаниями в медицине.

Бурятка Анаева, вспоминая о жизни декабристов в Селенгинске, рассказывала, что они были очень отзывчивы. К ним шли за советом, шли за помощью — знали, не откажут, выручат в беде.

«Теперь бог не такой, как они были», — говорила Анаева. Она же поведала о том, как мололи хлеб на мельнице, устроенной Торсоном, как жалел Константин Петрович лошадей и завязывал им глаза, чтобы не падала пыль.

В домах Бестужева и Торсона были библиотеки; местные жители, постигшие грамоту, пользовались их книгами, одолевали поначалу казавшиеся мудреными тома. Новинки, получаемые из Петербурга, часто читали по вечерам вслух. Особенно выразительно читал Николай Бестужев — сказывались прошлые театральные увлечения.

Бестужевы и Торсон, оставшиеся в душе морскими офицерами, наряду со всей деятельностью, не оставляли без внимания и флотского поприща. Они постоянно следили за развитием флота, выписывали из Петербурга журналы «Морской сборник» и «Записки Адмиральтейского департамента», вели деятельную переписку с видными флотоводцами и корабельными мастерами.

В Селенгинске Торсон закончил свой труд с описанием плавания к берегам Антарктиды, не переставая продолжал он и работу над предложениями по развитию военного флота.

Можно предположить, сколько бы смогли они совершить для флота, если бы не были оторваны от него. Наверняка не раз блеснули бы их имена и в истории географических открытий, и в кораблестроении, и в развитии многих сопредельных наук — физике, механике, математике...

Но им не дано было другой судьбы — как самые передовые люди своего века, они не могли и не имели права остаться вне декабристского движения. И оно возвысило их не менее, а более, чем успех на любом ином пути... И к ним относятся сказанные о декабристах памятные слова А. И. Герцена: «Это какие-то богатыри, кованные из чистой стали с головы до ног, воины-пророки, вышедшие сознательно на явную гибель, чтобы разбудить к новой жизни молодое поколение и очистить детей, рожденных в среде палачества и рабелепия».

От музея декабристов дорога ведет к высоким холмам, там за ними, примерно в пяти километрах от города, когда-то стояли дома Бестужевых и Торсона.

Дорога эта проходит через горы, полноводная Селенга то открывается в промежутке между скалами, то исчезает. Горы подходят к самой реке, обрываются утесами с резкими уступами. С гор открывается вид на долину, где были расположены деревни.

Спускаешься вниз и выходишь опять на простор. Река в этом месте широка, у берега много островов, густо поросших зеленью. Один из них декабристы называли Чайным: летом выезжали туда на лодках, брали самовар, отдыхали среди нетронутой природы.

Дома декабристов не сохранились, в долине теперь

вообще нет ни одного строения, но видны остатки фундаментов, по ним можно представить, как были расположены постройки. Дом и флигель Бестужевых — слева, если смотреть от реки; напротив — дом Торсона. Их разделял глубокий овраг, через который друзья насыпали плотину, следы этой плотины тоже различимы. Из окон домов видна была Селенга, город на противоположном берегу. Сейчас от того старого города сохранился только собор, он отчетливо белеет на фоне пустыря, заросшего кустами. А тогда, чтобы попасть в город, шли на переправу, зимой же ездили в санях по застывшей реке... Потом этот город постепенно переводился на их берег, но ниже по течению реки. И тогда они запрягали свои сидейки и отправлялись в путь по горной дороге... Но чаще ездили к ним в гости, к ним тянулись, их общества искали все образованные люди края. Здесь, в этой долине, в домах декабристов, собирались в долгие вечера, засиживались до ночи. Ночи здесь непроглядные, это не Петербург, такие, что и дороги не различишь, только далеко в горах видно, как светятся костры у бурятских юрт...

В 1839 году в Селенгинск переехали сестры Бестужевы, после длительных ожиданий, прошений и отказов получившие наконец разрешение. Мать Бестужевых, Прасковья Михайловна, не дождалась встречи с сыновьями, она умерла за год до получения разрешения.

Жизнь в Селенгинске требовала упорного каждодневного труда. Торсон и Бестужевы продолжали работать по созданию молотилок, соломорезок, усовершенствовали мельницу.

Женой Торсона стала крепостная Прасковья Кондратьева, добрая и работающая женщина, у них родилась дочь Елизавета.

Торсон много писал, пытался проникнуть в тайны происхождения материи в своем труде «Опыт нату-

ральной философии о мироздании», несколько раз возвращался к своим запискам о путешествии к Антарктиде. Но силы покидали его, он сильно застудился, страдал несварением желудка.

Николай Бестужев не отходил от постели друга. Медицинские средства оказались бессильны. В 1851 году в возрасте пятидесяти восьми лет Константин Петрович скончался.

Богатейший его архив — три тюка рукописей, переданный сестрой в третьем отделении, был возвращен ей бездушными чиновниками для переписки. Средств на переписку у Екатерины Петровны не было, она отдала все бумаги декабристу Андрею Розену, и дальнейшая судьба архива, к сожалению, неизвестна.

В 1855 году в Селенгинске умер Николай Бестужев — один из талантливейших людей своего века. Он занемог после поездки в Иркутск, куда ездил, чтобы через генерал-губернатора отправить в Петербург изобретенный им ружейный замок. На обратном пути он уступил свое место в крытой повозке семье бедного чиновника, а сам в лютой мороз и сильный ветер весь путь по льду Байкала проделал на облучке.

В год его смерти русские моряки героически сражались на бастионах Севастополя. Предсмертными его словами были: «Держится ли Севастополь?»

Николай Бестужев и Константин Торсон. Вся жизнь их была примером чистом и бескорыстной дружбы. Их могилы рядом. Они в той же долине, где когда-то стояли дома декабристов.

В свое время Михаил Бестужев, дождавшийся освобождения, поставил на могилах брата и Торсона памятники из кирпича, прежде чем покинуть край своего заточения. Позднее друзья декабристов Белозеров, Пушкинов и Старцев установили чугунные колонны с бронзовыми крестами. Эти колонны и кресты были отлиты на Петровском заводе.

В наши дни здесь воздвигнута стела, на ней барельефы, отражающие просветительскую деятельность декабристов в Бурятии.

Чугунные колонны, стела из бетона далеко видны на фоне пологих холмов, окружающих чашу долины. Чистое небо, бескрайние просторы и быстрые воды Селенги неизменны...

И вечна память о людях высоких стремлений.

П Р И М Е Ч А Н И Я

Л а с т о в а я р о т а — предназначена для выполнения грузовых и вспомогательных работ.

Э к з е р ц и ц и и - упражнения, военные построения (*лат.*).

Г а л е т — двухмачтовый военный корабль 20—25 метров длиной, вооруженный 5—10 пушками.

Ш л ю п — трехмачтовое парусное судно с прямыми парусами и с одной открытой батареей, длиной порядка 40 метров.

Г а н г у т — русское название полуострова Ханко, у которого во время Северной войны в 1714 году русский флот под командованием Петра I разгромил шведскую эскадру, одержав первую в истории России крупную морскую победу.

Ч е с м а — в бухте Чесма на побережье Малой Азии в 1770 году во время русско-турецкой войны русский флот под командованием адмиралов Г. А. Спиридова и С. К. Грейга блокировал турецкий флот и уничтожил его.

П л а ш к о у т н ы й м о с т — наплавной мост; основанием для него служат несамостоятельные грузовые суда — плашкоуты.

К н и п п е л и — морские снаряды из двух дисков, посаженных на концы железного стержня. Посредством книппелей рвали паруса, разрушали оснастку кораблей.

Р е в о л ю ц и я в И с п а н и и 1820 г. — восстание Астурийского и Испанского батальонов, руководимых офицерами Рафаэлем дель Риэго и Антонио Квируга. Батальоны заняли остров Леон у берегов Испании, совершая оттуда рейды в глубь страны. Восставшие заставили короля восстановить конституцию.

Восстание в Неаполе 1820 г. и в Пьемонте 1821 г.— поднято с целью свержения династии Бурбонов и объединения Италии в демократическое государство. Подавлено австрийскими войсками.

Война за независимость Греции 1821—1829 гг. — национально-освободительное движение против турецкого владычества под предводительством А. Ипсиланти.

Эшафодаш — нагромождение, сооружение (*франц.*).

Форштеймейстер — лесничий, заведующий корабельными лесами.

Тимерман — старший корабельный плотник.

Резен-киль — брус, крепящийся на киль.

Фузилерная рота — стрелковая.

Мирович В. Я. (1740—1764) — подпоручик Смоленского полка, в 1764 году сделал попытку освободить из Шлиссельбургской крепости заключенного туда Ивана Антоновича (Иоанна VI), свергнутого Елизаветой. Стража имела приказ умертвить узника при попытке его освобождения. Когда Мирович проник в крепость, приказ был исполнен.

Куртина — участок крепости, соединяющий соседние бастионы.

Солдаты из инвалидной команды — солдаты-инвалиды, непригодные непосредственно к военной службе из-за преклонного возраста или ранений; обычно несли караульную службу.

Равелин — сооружение треугольной формы перед рвом в крепости в промежутке между бастионами.

Порты — отверстия в борту для корабельных пушек.

Кронверк — укрепление, возводимое перед крепостью.

Гласис — пологая земляная насыпь впереди наружного рва крепости.

О Г Л А В Л Е Н И Е

От автора	5
Часть I.....	9
Часть II.....	123
Часть III.....	227
Послесловие	287
Примечания	300

К Ч И Т А Т Е Л Ю

Издательство просит отзывы об этой книге
и пожелания присылать по адресу:
236000, г. Калининград, Советский проспект, 13,
Калининградское книжное издательства

Олег Борисович Глушкин

**НА БЛАГО
РОССИЙСКОГО
ФЛОТА**

Повесть

Редактор
Г. Н. Пашинская
Художественный редактор
С. И. Соболев
Технический редактор
М. С. Гайдукова
Корректор
Н. С. Гайдученок

ИБ №517

Сдано в набор 05.04.84. Подписано в печать 05.07.84. КУ 04493. Формат бумаги 70ХЮ8/32. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Банниковская». Печать высокая. Уел. печ. л. 13,30. Уел. кр.-отт. 207,60 т. Уч.-изд. л. 13,41. Тираж 15000. Заказ 879. Цена 1 р.

Калининградское книжное издательство,
236000, Калининград, Советский просп., 13.

Типография издательства
«Калининградская правда»,
236000, Калининград, ул. Карла Маркса, 18.





